ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1973

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1852—1856

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

Р 1
Т 53

Примечания
А. И. Шифмана

Оформление художника
И. Жихарева

7—3—1
Подп. изд.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

НАБЕГ

Рассказ волонтера

I

Двенадцатого июля капитан Хлопов, в эполетах и шашке, — форма, в которой со времени моего приезда на Кавказ я еще не видал его, — вошел в низкую дверь моей землянки.

— Я прямо от полковника, — сказал он, отвечая на вопросительный взгляд, которым я его встретил, — завтра батальон наш выступает.

— Куда? — спросил я.

— В NN. Там назначен сбор войскам.

— А оттуда, верно, будет какое-нибудь движение?

— Должно быть.

— Куда же? как вы думаете?

— Что думать? я вам говорю, что знаю. Прискакал вчера ночью татарин от генерала — привез приказ, чтобы батальону выступать и взять с собою на два дня сухарей; а куда, зачем, надолго ли? — этого, батюшка, не спрашивают: велено идти и — довольно.

— Однако если сухарей берут только на два дня, стало и войска продержат не долее.

— Ну, это еще ничего не значит...

— Да как же так? — спросил я с удивлением.

— Да так же! В Дарги ходили, на неделю сухарей взяли, а пробыли чуть не месяц!

— А мне можно будет с вами идти? — спросил я, помолчав немного.

— Можно-то можно, да мой совет лучше не ходить. Из чего вам рисковать?..

— Нет уж, позвольте мне не послушаться вашего совета: я целый месяц жил здесь только затем, чтобы

дождаться случая видеть дело, — и вы хотите, чтобы я пропустил его.

— Пожалуй, идите; только, право, не лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы; а мы бы пошли с богом. И славно бы! — сказал он таким убедительным тоном, что мне в первую минуту действительно показалось, что это было бы славно; однако я решительно сказал, что ни за что не останусь.

— И чего вы не видали там? — продолжал убеждать меня капитан. — Хочется вам узнать, какие сражения бывают? прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны» — прекрасная книга: там все подробно описано — и где какой корпус стоял, и как сражения происходят.

— Напротив, это-то меня и не занимает, — отвечал я.

— Ну, так что же? вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то... таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь.

Как мне ни совестно было, что капитан так дурно объяснял мое намерение, я и не покушался разуверять его.

— Что, он храбрый был? — спросил я его.

— А бог его знает: все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он.

— Так, стало быть, храбрый, — сказал я.

— Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают...

— Что же вы называете храбрым?

— Храбрый? храбрый? — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос. — *Храбрый тот, который ведет себя как следует,* — сказал он, подумав немного.

Я вспомнил, что Платон определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться,* и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон,

он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться,* а не того, *чего не нужно бояться.*

Мне хотелось объяснить свою мысль капитану.

— Да, — сказал я, — мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства, — трусость; поэтому человека, который из тщеславия, или из любопытства, или из алчности рискует жизнию, нельзя назвать храбрым, и, наоборот, человека, который под влиянием честного чувства семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, нельзя назвать трусом.

Капитан с каким-то странным выражением смотрел на меня в то время, как я говорил.

— Ну уж этого не умею вам доказать, — сказал он, накладывая трубку, — а вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет.

Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в России знал его. Мать его, Марья Ивановна Хлопова, мелкопоместная помещица, живет в двух верстах от моего имения. Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее: старушка очень обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку (как она называла старого, седого капитана) и — живая грамота — могу рассказать ему про ее житье-бытье и передать посылочку. Накормив меня славным пирогом и полотками, Марья Ивановна вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной, довольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же шелковая леночка.

— Вот это неопалимой купины наша матушка-заступница, — сказала она, с крестом поцеловав изображение божией матери и передавая мне в руки, — потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли: как он поехал на *Капказ,* я отслужила молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим, заказать этот образок божией матери. Вот уж восемнадцать лет, как заступница и угодники святые милуют его: ни разу ранен не был, а уж в каких, кажется, сражениях не был!.. Как мне Михайло, что с ним был, порассказал, так, верите ли, волос дыбом становится. Ведь я что и знаю про него, так только от чужих: он мне, мой голубчик, ничего про свои походы не пишет — меня напугать боится.

(Уже на Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был четыре раза тяжело ранен и, само собою разумеется, как о ранах, так и о походах ничего не писал своей матери.)

— Так пусть теперь он это святое изображение на себе носит, — продолжала она, — я его им благословляю. Заступница пресвятая защитит его! Особенно в сражениях, чтобы он всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать твоя так тебе велела.

Я обещался в точности исполнить поручение.

— Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку, — продолжала старушка, — он такой славный! Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не присылал, и Аннушке, моей дочери, тоже много помогает; а все из одного жалованья! Истинно век благодарю бога, — заключила она со слезами на глазах, — что дал он мне такое дитя.

— Часто он вам пишет? — спросил я.

— Редко, батюшка: нечто в год раз, и то когда с деньгами, так словечко напишет, а то нет. Ежели, говорит, маменька, я вам не пишу, значит, жив и здоров, а коли что, избави бог, случится, так и без меня напишут.

Когда я отдал капитану подарок матери (это было на моей квартире), он попросил оберточной бумажки, тщательно завернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях жизни его матери; капитан молчал. Когда я кончил, он отошел в угол и что-то очень долго накладывал трубку.

— Да, славная старуха, — сказал он оттуда несколько глухим голосом, — приведет ли еще бог свидеться.

В этих простых словах выражалось очень много любви и печали.

— Зачем вы здесь служите? — сказал я.

— Надо же служить, — отвечал он с убеждением. — А двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, много значит.

Капитан жил бережливо: в карты не играл, кутил редко и курил простой табак, который он, неизвестно почему, называл не тютюн, а *самброталический табак*. Капитан еще прежде нравился мне: у него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза; но после этого разговора я почувствовал к нему истинное уважение.

II

В четыре часа утра на другой день капитан заехал за мной. На нем были старый, истертый сюртук без эполет, лезгинские широкие штаны, белая папашка с опустившимся пожелтевшим курпеем[1] и незавидная азиатская шашка через плечо. Беленький маштачок[2], на котором он ехал, шел понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким хвостом. Несмотря на то, что в фигуре доброго капитана было не только мало воинственного, но и красивого, в ней выражалось так много равнодушия ко всему окружающему, что она внушала невольное уважение.

Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас сел на лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости.

Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался какой-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки и изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении. Дорога шла серединой глубокой и широкой балки[3], подле берега небольшой речки, которая в это время *играла,* то есть была в разливе. Стада диких голубей вились около нее: то садились на каменный берег, то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнца еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держи-дерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностию и выпуклостию на прозрачном, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощина, покрытая густым туманом, который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазури горизонта, с поражающей ясностью виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых

---

[1] Курпей на кавказском наречии значит овчина. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[2] Маштак на кавказском наречии значит небольшая лошадь. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[3] Балка на кавказском наречии значит овраг, ущелье. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом, — одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром. Капитан вырубил огня и закурил трубку; запах *самброталического табаку* и трута показался мне необыкновенно приятным.

Мы ехали стороной дороги, чтобы скорее догнать пехоту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом пятками поталкивал ногами свою лошадку, которая, перекачиваясь с боку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеленый след по мокрой высокой траве. Из-под самых ног ее с *тордоканьем*[1] и тем звуком крыльев, который невольно заставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и медленно стал подниматься кверху. Капитан не обратил на него ни малейшего внимания.

Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал мимо очень хорошенький и молоденький юноша в офицерском сюртуке и высокой белой папахе. Поравнявшись с нами, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью... Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно сидел на седле и держал поводья и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавшиеся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке можно было заключить, что он еще очень молод.

— И куда скачет? — с недовольным видом пробормотал капитан, не выпуская чубука изо рта.

— Кто это такой? — спросил я его.

— Прапорщик Аланин, субалтерн-офицер моей роты... Еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса.

— Верно, он в первый раз идет в дело? — сказал я.

— То-то и радешенек! — отвечал капитан, глубокомысленно покачивая головой. — Молодость!

— Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого офицера это должно быть очень интересно.

---

[1] Тордоканье — крик фазана. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

Капитан помолчал минуты две.

— То-то я и говорю: молодость! — продолжал он басом. — Чему радоваться, ничего не видя! Вот как походишь часто, так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь двадцать человек офицеров идет: кому-нибудь да убитым или раненым быть — уж это верно. Нынче мне, завтра ему, а послезавтра третьему: так чему же радоваться-то?

III

Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать долину, по которой мы шли, волнистые облака тумана рассеялись, и сделалось жарко. Солдаты с ружьями и мешками на плечах медленно шагали по пыльной дороге; в рядах слышались изредка малороссийский говор и смех. Несколько старых солдат в белых кителях — большею частию унтер-офицеры — шли с трубками стороной дороги и степенно разговаривали. Троечные навьюченные верхом повозки подвигались шаг за шагом и поднимали густую неподвижную пыль. Офицеры верхами ехали впереди; иные, как говорится на Кавказе, джигитовали [1], то есть, ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались песенниками, которые, несмотря на жар и духоту, неутомимо играли одну песню за другою.

Сажен сто впереди пехоты, на большом белом коне, с конными татарами, ехал известный в полку за отчаянного храбреца и такого человека, *который хоть кому правду в глаза отрежет,* высокий и красивый офицер в азиатской одежде. На нем были черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, новые, плотно обтягивающие ногу чувяки с чиразами [2], желтая черкеска и высокая, заломленная назад папаха. На груди и спине его лежали серебряные галуны, на которых надеты были натруска и пистолет за спиной; другой пистолет и кинжал в серебряной оправе висели на поясе. Сверх всего этого была опоясана

---

[1] Джигит — по-кумыцки значит храбрый; переделанное же на русский лад *джигитовать* соответствует слову «храбриться». *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[2] Чиразы значит галуны, на кавказском наречии. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

шашка в красных сафьянных ножнах с галунами и надета через плечо винтовка в черном чехле. По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов.

Поручик, например, любил, может быть, общество порядочных женщин и важных людей — генералов, полковников, адъютантов, — даже я уверен, что он очень любил это общество, потому что он был тщеславен в высшей степени, — но он считал своей непременной обязанностью поворачиваться своей грубой стороной ко всем важным людям, хотя грубил им весьма умеренно, и когда появлялась какая-нибудь барыня в крепости, то считал своей обязанностью ходить мимо ее окон с кунаками [1] в одной красной рубахе и одних чувяках на босую ногу и как можно громче кричать и браниться, — но все это не столько с желанием оскорбить ее, сколько с желанием показать, какие у него прекрасные белые ноги и как можно бы было влюбиться в него, если бы он сам захотел этого. Или, часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороги, чтоб подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он будто разочарован за что-то и которых он будто бы презирал и ненавидел. Он никогда не снимал с себя двух вещей: огромного образа на шее и кинжала сверх рубашки, с которым он даже спать ложился. Он искренно верил, что у него есть враги. Уверить себя, что ему надо отмстить кому-нибудь и кровью смыть обиду, было для него величайшим наслаждением. Он был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые

---

[1] Кунак — приятель, друг, на кавказском наречии. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

высокие поэтические чувства. Но любовница его, — черкешенка, разумеется, — с которой мне после случалось видеться, говорила, что он был самый добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграфленной бумаге и на коленях молился богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось. Раз, в одну из своих ночных экспедиций на дорогу с кунаками, ему случилось ранить пулей в ногу одного немирного чеченца и взять его в плен. Чеченец этот семь недель после этого жил у поручика, и поручик лечил его, ухаживал, как за ближайшим другом, и, когда тот вылечился, с подарками отпустил его. После этого, во время одной экспедиции, когда поручик отступал с цепью, отстреливаясь от неприятеля, он услыхал между врагами, что кто-то его звал по имени, и его раненый кунак выехал вперед и знаками приглашал поручика сделать то же. Поручик подъехал к своему кунаку и пожал ему руку. Горцы стояли поодаль и не стреляли; но как только поручик повернул лошадь назад, несколько человек выстрелили в него, и одна пуля попала вскользь ему ниже спины. Другой раз я сам видел, как в крепости ночью был пожар и две роты солдат тушили его. Среди толпы, освещенная багровым пламенем пожара, появилась вдруг высокая фигура человека на вороной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала к самому огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил с лошади и побежал в горящий с одного краю дом. Через пять минут поручик вышел оттуда с опаленными волосами и обожженным локтем, неся за пазухой двух голубков, которых он спас от пламени.

Фамилия его была *Розенкранц;* но он часто говорил о своем происхождении, выводил его как-то от варягов и ясно доказывал, что он и предки его были чистые русские.

IV

Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскаленный воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо было совершенно чисто; только подошвы снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками. Неподвижный воздух, казалось, был наполнен какою-то

прозрачною пылью: становилось нестерпимо жарко. Дойдя до небольшого ручья, который тек на половине дороги, войска сделали привал. Солдаты, составив ружья, бросились к ручью; батальонный командир сел в тени, на барабан, и, выразив на полном лице степень своего чина, с некоторыми офицерами расположился закусывать; капитан лег на траве под ротной повозкой; храбрый поручик Розенкранц и еще несколько молодых офицеров, поместясь на разостланных бурках, собрались кутить, как то заметно было по расставленным около них фляжкам и бутылкам и по особенному одушевлению песенников, которые, стоя полукругом перед ними, с присвистом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки:

Шамиль вздумал бунтоваться
В прошедшие годы...
Трай-рай, ра-та-тай...
В прошедшие годы.

В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик, который обогнал нас утром. Он был очень забавен: глаза его блестели, язык немного путался; ему хотелось целоваться и изъясняться в любви со всеми... Бедный мальчик! он еще не знал, что в этом положении можно быть смешным, что его откровенность и нежности, с которыми он ко всем навязывался, расположат других не к любви, которой ему так хотелось, а к насмешке, — не знал и того, что, когда он, разгоревшись, бросился наконец на бурку и, облокотясь на руку, откинул назад свои черные густые волосы, он был необыкновенно мил. Два офицера сидели под повозкой и на погребце играли в дурачки.

Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но решительно ни в ком я не мог заметить и тени того беспокойства, которое испытывал сам: шуточки, смехи, рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя и предположить, что некоторым уже не суждено вернуться по этой дороге!

V

В седьмом часу вечера, пыльные и усталые, мы вступили в широкие укрепленные ворота крепости NN. Солнце садилось и бросало косые розовые лучи на живописные

батарейки и сады с высокими раинами, окружавшие крепость, на засеянные желтеющие поля и на белые облака, которые, столпясь около снеговых гор, как будто подражая им, образовывали цепь не менее причудливую и красивую. Молодой полумесяц, как прозрачное облачко, виднелся на горизонте. В ауле, расположенном около ворот, татарин на крыше сакли сзывал правоверных к молитве; песенники заливались с новой удалью и энергией.

Отдохнув и оправясь немного, я отправился к знакомому мне адъютанту, с тем чтобы попросить его доложить о моем намерении генералу. По дороге от форштата [1], где я остановился, я успел заметить в крепости NN, то, чего никак не ожидал. Хорошенькая двухместная каретка, в которой видна была модная шляпка и слышался французский говор, обогнала меня. Из растворенного окна комендантского дома долетали звуки какой-то «Лизанька» или «Катенька-польки», играемой на плохом, расстроенном фортепьяно. В духане, мимо которого я проходил, с папиросами в руках, за стаканами вина сидели несколько писарей, и я слышал, как один говорил другому: «Уж позвольте... что насчет политики, Марья Григорьевна у нас первая дама». Сгорбленный жид, в изношенном сюртуке, с болезненной физиономией, тащил пискливую сломанную шарманку, и по всему форштату разносились звуки финала из «Лючии». Две женщины в шумящих платьях, повязанные шелковыми платками и с ярко-цветными зонтиками в руках, плавно прошли мимо меня по дощатому тротуару. Две девицы, одна в розовом, другая в голубом платье, с открытыми головами, стояли у завалинки низенького домика и принужденно заливались тоненьким смехом, с видимым желанием обратить на себя внимание проходящих офицеров. Офицеры, в новых сюртуках, белых перчатках и блестящих эполетах, щеголяли по улицам и бульвару.

Я нашел своего знакомого в нижнем этаже генеральского дома. Только что я успел объяснить ему свое желание и он — сказать мне, что оно очень может быть исполнено, как мимо окна, у которого мы сидели, простучала хорошенькая каретка, которую я заметил, и остановилась у крыльца. Из кареты вышел высокий, стройный мужчина в пехотном мундире с майорскими эполетами и прошел к генералу.

---

[1] предместья (*от нем.* Vorstadt).

— Ах, извините, пожалуйста, — сказал мне адъютант, вставая с места, — мне непременно нужно доложить генералу.

— Кто это приехал? — спросил я.

— Графиня, — отвечал он и, застегивая мундир, побежал наверх.

Через несколько минут на крыльцо вышел невысокий, но весьма красивый человек, в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке. За ним вышли майор, адъютант и еще каких-то два офицера. В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену.

— Bonsoir, madame la comtesse [1], — сказал он, подавая руку в окно кареты.

Ручка в лайковой перчатке пожала его руку, и хорошенькое, улыбающееся личико в желтой шляпке показалось в окне кареты.

Из всего разговора, продолжавшегося несколько минут, я слышал только, проходя мимо, как генерал, улыбаясь, сказал:

— Vous savez, que j'ai fait voeu de combattre les infidèles; prenez donc garde de le devenir [2].

В карете засмеялись.

— Adieu donc, cher général [3].

— Non, à revoir, — сказал генерал, всходя на ступеньки лестницы, — n'oubliez pas, que je m'invite pour le soirée de demain [4].

Карета застучала дальше.

«Вот еще человек, — думал я, возвращаясь домой, — имеющий все, чего только добиваются русские люди: чин, богатство, знатность, — и этот человек перед боем, который бог один знает чем кончится, шутит с хорошенькой женщиной и обещает пить у нее чай на другой день, точно так же, как будто он встретился с нею на бале!»

Тут же, у этого же адъютанта, я встретил одного человека, который еще больше удивил меня: это — молодой поручик К. полка, отличавшийся своей почти женской

---

[1] Добрый вечер, графиня *(франц.)*.

[2] Вы знаете, что я дал обет сражаться с неверными, так остерегайтесь, чтоб не сделаться неверной *(франц.)*.

[3] Ну, прощайте, дорогой генерал *(франц.)*.

[4] Нет, до свиданья, — не забудьте, что я напросился к вам завтра на вечер *(франц.)*.

кротостью и робостью, который пришел к адъютанту изливать свою досаду и негодование на людей, которые будто интриговали против него, чтобы его не назначили в предстоящее дело. Он говорил, что это гадость так поступать, что это не по-товарищески, что он будет это помнить ему и т. д. Сколько я ни вглядывался в выражение его лица, сколько ни вслушивался в звук его голоса, я не мог не убедиться, что он нисколько не притворялся, а был глубоко возмущен и огорчен, что ему не позволили идти стрелять в черкесов и находиться под их выстрелами; он был так огорчен, как бывает огорчен ребенок, которого только что несправедливо высекли... Я совершенно ничего не понимал.

VI

В десять часов вечера должны были выступить войска. В половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу; но, предполагая, что он и адъютант его заняты, я остановился на улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку, с тем чтобы, как только выедет генерал, догнать его.

Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи и неярким светом молодого месяца, который, образовывая около себя бледный светящийся полукруг на темной синеве звездного неба, начинал опускаться; в окнах домов и щелях ставень землянок засветились огни. Стройные раины садов, видневшиеся на горизонте из-за выбеленных, освещаемых луною землянок с камышовыми крышами, казались еще выше и чернее.

Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились красиво по светлой пыльной дороге... На реке без умолку звенели лягушки;[1] на улицах слышны были то торопливые шаги и говор, то скок лошади; с форштата изредка долетали звуки шарманки: то *виют витры*, то какого-нибудь «Aurora-Walzer»[2].

Я не скажу, о чем я задумался: во-первых, потому, что мне совестно было бы признаться в мрачных мыслях, которые неотвязчивой чередой набегали мне в душу, тогда как кругом себя я замечал только веселость и

[1] Лягушки на Кавказе производят звук, не имеющий ничего общего с кваканьем русских лягушек. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*
[2] «Аврора-вальс» *(нем.)*.

радость, а во-вторых, потому, что это нейдет к моему рассказу. Я задумался так, что даже не заметил, как колокол пробил одиннадцать и генерал со свитою проехал мимо меня.

Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд.

Арьергард еще был в воротах крепости. Насилу пробрался я по мосту между столпившимися орудиями, ящиками, ротными повозками и шумно распоряжающимися офицерами. Выехав за ворота, я рысью объехал чуть не на версту растянувшиеся, молчаливо двигающиеся в темноте войска и догнал генерала. Проезжая мимо вытянувшейся в одно орудие артиллерии и ехавших верхом между орудиями офицеров, меня, как оскорбительный диссонанс среди тихой и торжественной гармонии, поразил немецкий голос, кричавший: «Агхтингхист, падай паааальник!» — и голос солдатика, торопливо кричавший: «Шевченко! поручик огня спрашивают».

Бо̀льшая часть неба покрылась длинными темно-серыми тучами; только кое-где между ними блестели неяркие звезды. Месяц скрылся уже за близким горизонтом черных гор, которые виднелись направо, и бросал на верхушки их слабый и дрожащий полусвет, резко противоположный с непроницаемым мраком, покрывавшим их подошвы. В воздухе было тепло и так тихо, что казалось, ни одна травка, ни одно облачко не шевелились. Было так темно, что на самом близком расстоянии невозможно было определять предметы; по сторонам дороги представлялись мне то скалы, то животные, то какие-то странные люди, — и я узнавал, что это были кусты, только тогда, когда слышал их шелест и чувствовал свежесть росы, которою они были покрыты.

Перед собой я видел сплошную колеблющуюся черную стену, за которой следовало несколько движущихся пятен: это были авангард конницы и генерал со свитой. Сзади нас подвигалась такая же мрачная масса; но она была ниже первой: это была пехота.

Во всем отряде царствовала такая тишина, что ясно слышались все сливающиеся, исполненные таинственной прелести звуки ночи: далекий заунывный вой чакалок, похожий то на отчаянный плач, то на хохот, звонкие однообразные песни сверчка, лягушки, перепела, какой-то приближающийся гул, причины которого я никак не мог объяснить себе, и все те ночные, чуть слышные движения природы, которые невозможно ни понять, ни определить,

сливались в один полный прекрасный звук, который мы называем тишиною ночи. Тишина эта нарушалась или, скорее, сливалась с глухим топотом копыт и шелестом высокой травы, которые производил медленно двигающийся отряд.

Только изредка слышались в рядах звон тяжелого орудия, звук столкнувшихся штыков, сдержанный говор и фырканье лошади.

Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты и добра.

VII

Мы ехали уже более двух часов. Меня пробирала дрожь и начинало клонить ко сну. Во мраке смутно представлялись те же неясные предметы: в некотором отдалении черная стена, такие же движущиеся пятна; подле самого меня круп белой лошади, которая, помахивая хвостом, широко раздвигала задними ногами; спина в белой черкеске, на которой покачивалась винтовка в черном чехле и виднелась белая головка пистолета в шитом кобуре; огонек папиросы, освещающий русые усы, бобровый воротник и руку в замшевой перчатке. Я нагибался к шее лошади, закрывал глаза и забывался на несколько минут; потом вдруг знакомый топот и шелест поражали меня: я озирался, — и мне казалось, что я стою на месте, что черная стена, которая была передо мной, двигается на меня, или что стена эта остановилась, и я сейчас наеду на нее. В одну из таких минут меня поразил еще сильнее тот приближающийся непрерывный гул, причины которого я не мог отгадать. Это был шум воды. Мы входили в глубокое ущелье и приближались к горной реке, которая была в это время во всем разливе [1]. Гул усиливался, сырая трава становилась гуще и выше, кусты попадались чаще, и горизонт постепенно суживался. Изредка на мрачном

---

[1] Разлив рек на Кавказе бывает в июле месяце. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

фоне гор вспыхивали в различных местах яркие огни и тотчас же исчезали.

— Скажите, пожалуйста, что это за огни? — спросил я шепотом у татарина, ехавшего подле меня.

— А ты не знаешь? — отвечал он.

— Не знаю.

— *Это горской солома на таяк*[1] *связал и огонь махать будет.*

— Зачем же это?

— *Чтобы всякий человек знал, — русской пришел. Теперь в аулах,* — прибавил он, засмеявшись, — *ай-ай, томаша*[2] *идет, всякий хурда-мурда*[3] *будет в балка тащить.*

— Разве в горах уже знают, что отряд идет? — спросил я.

— *Эй! как можно не знает! всегда знает: наши народ такой!*

— Так и Шамиль теперь сбирается в поход? — сказал я.

— *Йок*[4], — отвечал он, качая головой в знак отрицания. — *Шамиль на похода ходить не будет; Шамиль наиб*[5] *пошлет, а сам труба смотреть будет, наверху.*

— А далеко он живет?

— *Далеко нету. Вот, левая сторона, верста десять будет.*

— Почему же ты знаешь? — спросил я. — Разве ты был там?

— *Был: наша все в горах был.*

— И Шамиля видел?

— *Пих! Шамиля наша видно не будет. Сто, триста, тысяча мюрид*[6] *кругом. Шамиль середка будет!* — прибавил он с выражением подобострастного уважения.

---

[1] Таяк значит шест, на кавказском наречии. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[2] Томаша значит хлопоты, на особенном наречии, изобретенном русскими и татарами для разговора между собой. Есть много слов на этом странном наречии, корень которых нет возможности отыскать ни в русском, ни в татарском языках. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[3] Хурда-мурда — пожитки, на том же наречии. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[4] Йок — по-татарски значит нет. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[5] Наибами называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[6] Слово мюрид имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

Взглянув кверху, можно было заметить, что выяснившееся небо начинало светлеть на востоке и Стожары опускаться к горизонту; но в ущелье, по которому мы шли, было сыро и мрачно.

Вдруг немного впереди нас, в темноте, зажглось несколько огоньков; в то же мгновение с визгом прожужжали пули, и среди окружающей тишины далеко раздались выстрелы и громкий пронзительный крик. Это был неприятельский передовой пикет. Татары, составлявшие его, гикнули, выстрелили наудачу и разбежались.

Все смолкло. Генерал подозвал переводчика. Татарин в белой черкеске подъехал к нему и о чем-то шепотом и с жестами довольно долго говорил с ним.

— Полковник Хасанов, прикажите рассыпать цепь, — сказал генерал тихим, протяжным, но внятным голосом.

Отряд подошел к реке. Черные горы ущелья остались сзади; начинало светать. Небосклон, на котором чуть заметны были бледные, неяркие звезды, казался выше; зарница начинала ярко блестеть на востоке; свежий, прохватывающий ветерок тянул с запада, и светлый туман, как пар, подымался над шумящей рекой.

VIII

Вожак показал брод, и авангард конницы, а вслед за ним и генерал со свитою стали переправляться. Вода была лошадям по груди, с необыкновенной силой рвалась между белых камней, которые в иных местах виднелись на уровне воды, и образовывала около ног лошадей пенящиеся, шумящие струи. Лошади удивлялись шуму воды, подымали головы, настораживали уши, но мерно и осторожно шагали против течения по неровному дну. Седоки подбирали ноги и оружие. Пехотные солдаты, буквально в одних рубахах, поднимая над водою ружья, на которые надеты были узлы с одеждой, схватясь человек по двадцати рука с рукою, с заметным, по их напряженным лицам, усилием старались противостоять течению. Артиллерийские ездовые с громким криком рысью пускали лошадей в воду. Орудия и зеленые ящики, через которые изредка хлестала вода, звенели о каменное дно; но добрые черноморки дружно натягивали уносы, пенили воду и с мокрым хвостом и гривой выбирались на другой берег.

Как скоро переправа кончилась, генерал вдруг выразил на своем лице какую-то задумчивость и серьезность, повернул лошадь и с конницей рысью поехал по широкой, окруженной лесом поляне, открывшейся перед нами. Казачьи конные цепи рассыпались вдоль опушек.

В лесу виднеется пеший человек в черкеске и папахе, другой, третий... Кто-то из офицеров говорит: «Это татары». Вот показался дымок из-за дерева... выстрел, другой... Наши частые выстрелы заглушают неприятельские. Только изредка пуля, с медленным звуком, похожим на полет пчелы, пролетая мимо, доказывает, что не все выстрелы наши. Вот пехота беглым шагом и орудия на рысях прошли в цепь; слышатся гудящие выстрелы из орудий, металлический звук полета картечи, шипение ракет, трескотня ружей. Конница, пехота и артиллерия виднеются со всех сторон по обширной поляне. Дымки орудий, ракет и ружей сливаются с покрытой росою зеленью и туманом. Полковник Хасанов подскакивает к генералу и на всем марш-марше круто останавливает лошадь.

— Ваше превосходительство! — говорил он, приставляя руку к папахе, — прикажите пустить кавалерию: показались значки [1], — и он указывает плетью на конных татар, впереди которых едут два человека на белых лошадях с красными и синими лоскутами на палках.

— С богом, Иван Михайлыч! — говорит генерал.

Полковник на месте поворачивает лошадь, выхватывает шашку и кричит: «Ура!»

«Урра! Урра! Урра!» — раздается в рядах, и конница несется за ним.

Все смотрят с участием: вон значок, другой, третий, четвертый...

Неприятель, не дожидаясь атаки, скрывается в лес и открывает оттуда ружейный огонь. Пули летают чаще.

— Quel charmant coup d'oeil! [2] — говорит генерал, слегка припрыгивая по-английски на своей вороной тонконогой лошадке.

— Charrmant! — отвечает, грассируя, майор и, ударяя плетью по лошади, подъезжает к генералу. — C'est un

[1] Значки между горцами имеют почти значение знамен, с тою только разницею, что всякий джигит может сделать себе значок и возить его. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[2] Какое прекрасное зрелище! *(франц.)*

vrrai plaisirr, que la guerre dans un aussi beau pays[1], — говорит он.

— Et surtout en bonne compagnie[2], — прибавляет генерал с приятной улыбкой.

Майор наклоняется.

В это время с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то; сзади слышен стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет для меня всю свою прелесть; но никто, кроме меня, как будто не замечает этого: майор смеется, как кажется, с большим увлечением; другой офицер совершенно спокойно повторяет начатые слова речи; генерал смотрит в противоположную сторону и со спокойнейшей улыбкой говорит что-то по-французски.

— Прикажете отвечать на их выстрелы? — спрашивает, подскакивая, начальник артиллерии.

— Да, попугайте их, — небрежно говорит генерал, закуривая сигару.

Батарея выстраивается, и начинается пальба. Земля стонет от выстрелов, огни беспрестанно вспыхивают, и дым, в котором едва можно различить движущуюся прислугу около орудий, застилает глаза.

Аул обстрелян. Снова подъезжает полковник Хасанов и, по приказанию генерала, летит в аул. Крик войны снова раздается, и конница исчезает в поднятом ею облаке пыли.

Зрелище было истинно величественное. Одно только для меня, как человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление, было то, что мне казалось лишним — и это движение, и одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который сплеча топором рубил бы воздух.

IX

Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприятельской души не оставалось в нем, когда генерал со свитою, в которую вмешался и я, подъехал к нему.

---

[1] Очаровательно! Истинное наслаждение — воевать в такой прекрасной стране *(франц.)*.

[2] И особенно в хорошей компании *(франц.)*.

Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река. С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычевыми[1] деревьями; ·с другой — торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами. (Это были могилы джигитов.)

Войска в порядке стояли за воротами.

Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву и выламывают дощатую дверь; тут загораются стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган[2] с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю.

Батальон, с которым я шел из крепости N., тоже был в ауле. Капитан сидел на крыше сакли и пускал из коротенькой трубочки струйки дыма *самброталического табаку* с таким равнодушным видом, что, когда я увидал его, я забыл, что я в немирном ауле, и мне показалось, что я в нем совершенно дома.

— А! и вы тут? — сказал он, заметив меня.

Высокая фигура поручика Розенкранца то там, то сям мелькала в ауле; он без умолку распоряжался и имел вид человека, чем-то крайне озабоченного. Я видел, как он с торжествующим видом вышел из одной сакли; вслед за ним двое солдат вели связанного старого татарина. Старик, всю одежду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый бешмет и лоскутные портки, был так хил, что туго стянутые за сгорбленной спиной костлявые руки его, казалось, едва держались в плечах, и кривые босые ноги насилу передвигались. Лицо его и даже часть бритой головы были изрыты глубокими морщинами;

---

[1] Лыча — мелкая слива. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*
[2] Кумган — горшок. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

искривленный беззубый рот, окруженный седыми подстриженными усами и бородой, беспрестанно шевелился, как будто жуя что-то; но в красных, лишенных ресниц глазах еще блистал огонь и ясно выражалось старческое равнодушие к жизни.

Розенкранц через переводчика спросил его, зачем он не ушел с другими.

— Куда мне идти? — сказал он, спокойно глядя в сторону.

— Туда, куда другие ушли, — заметил кто-то.

— Джигиты пошли драться с русскими, а я старик.

— Разве ты не боишься русских?

— Что мне русские сделают? Я старик, — сказал он опять, небрежно оглядывая кружок, составившийся около него.

Возвращаясь назад, я видел, как этот старик, без шапки, со связанными руками, трясся за седлом линейного казака и с тем же бесстрастным выражением смотрел вокруг себя. Он был необходим для размена пленных.

Я влез на крышу и расположился подле капитана.

— Неприятеля, кажется, было немного, — сказал я ему, желая узнать его мнение о бывшем деле.

— Неприятеля? — повторил он с удивлением, — да его вовсе не было. Разве это называется неприятель?.. Вот вечерком посмотрите, как мы отступать станем: увидите, как провожать начнут, что их там высыплет! — прибавил он, указывая трубкой на перелесок, который мы проходили утром.

— Что это такое? — спросил я с беспокойством, прерывая капитана и указывая на собравшихся недалеко от нас около чего-то донских казаков.

Между ними слышалось что-то похожее на плач ребенка и слова:

— Э, не руби... стой... увидят... Нож есть, Евстигнеич?.. Давай нож...

— Что-нибудь делят, подлецы, — спокойно сказал капитан.

Но в то же самое время с разгоревшимся, испуганным лицом вдруг выбежал из-за угла хорошенький прапорщик и, махая руками, бросился к казакам.

— Не трогайте, не бейте его! — кричал он детским голосом.

Увидев офицера, казаки расступились и выпустили из рук белого козленка. Молодой прапорщик совершенно

растерялся, забормотал что-то и со сконфуженной физиономией остановился перед ним. Увидав на крыше меня и капитана, он покраснел еще больше и, припрыгивая, подбежал к нам.

— Я думал, что это они ребенка хотят убить, — сказал он, робко улыбаясь.

X

Генерал с конницей поехал вперед. Батальон, с которым я шел из крепости N., остался в арьергарде. Роты капитана Хлопова и поручика Розенкранца отступали вместе.

Предсказание капитана вполне оправдалось: как только мы вступили в узкий перелесок, про который он говорил, с обеих сторон стали беспрестанно мелькать конные и пешие горцы, и так близко, что я очень хорошо видел, как некоторые, согнувшись, с винтовкой в руках, перебегали от одного дерева к другому.

Капитан снял шапку и набожно перекрестился; некоторые старые солдаты сделали то же. В лесу послышались гиканье, слова: «Иай гяур! Урус иай!» Сухие, короткие винтовочные выстрелы следовали один за другим, и пули визжали с обеих сторон. Наши молча отвечали беглым огнем; в рядах их только изредка слышались замечания вроде следующих: *«Он*[1] откуда палит, *ему* хорошо из-за леса, *орудию* бы нужно...» и т. д.

Орудия въезжали в цепь, и после нескольких залпов картечью неприятель, казалось, ослабевал, но через минуту и с каждым шагом, который делали войска, снова усиливал огонь, крики и гиканье.

Едва мы отступили сажен на триста от аула, как над нами со свистом стали летать неприятельские ядра. Я видел, как ядром убило солдата... Но зачем рассказывать подробности этой страшной картины, когда я сам дорого бы дал, чтобы забыть ее!

Поручик Розенкранц сам стрелял из винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплым голосом кричал на солдат и во весь дух скакал с одного конца цепи на другой. Он был несколько бледен, и это очень шло к его воинственному лицу.

---

[1] Он — собирательное название, под которым кавказские солдаты разумеют вообще неприятеля. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался; он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься *на ура.*

— Мы их отобьем, — убедительно говорил он, — право, отобьем.

— Не нужно, — кротко отвечал капитан, — надо отступать.

Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстреливалась от неприятеля. Капитан в своем изношенном сюртуке и взъерошенной шапочке, опустив поводья белому маштачку и подкорчив на коротких стременах ноги, молча стоял на одном месте. (Солдаты так хорошо знали и делали свое дело, что нечего было приказывать им.) Только изредка он возвышал голос, прикрикивая на тех, которые подымали головы.

В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр», — сказалось мне невольно.

Он был *точно таким же, каким я всегда видал его:* те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом. Легко сказать: *таким же, как и всегда.* Но сколько различных оттенков я замечал в других: один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно; по лицу же капитана заметно, что он и не понимает, зачем казаться.

Француз, который при Ватерлоо сказал: «La garde meurt, mais ne se rend pas» [1], — и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действительно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что, когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему

[1] «Гвардия умирает, но не сдается» *(франц.).*

мнению, особенная и высокая черта русской храбрости; и как же после этого не болеть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французские пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устарелому французскому рыцарству?..

Вдруг в той стороне, где стоял хорошенький прапорщик со взводом, послышалось недружное и негромкое «ура». Оглянувшись на этот крик, я увидел человек тридцать солдат, которые с ружьями в руках и мешками на плечах насилу-насилу бежали по вспаханному полю. Они спотыкались, но всё подвигались вперед и кричали. Впереди их, выхватив шашку, скакал молодой прапорщик.

Все скрылось в лесу...

Через несколько минут гиканья и трескотни из лесу выбежала испуганная лошадь, и в опушке показались солдаты, выносившие убитых и раненых; в числе последних был молодой прапорщик. Два солдата держали его под мышки. Он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который одушевлял ее за минуту перед этим, как-то страшно углубилась между плеч и спустилась на грудь. На белой рубашке под расстегнутым сюртуком виднелось небольшое кровавое пятнышко.

— Ах, какая жалость! — сказал я невольно, отворачиваясь от этого печального зрелища.

— Известно, жалко, — сказал старый солдат, который с угрюмым видом, облокотясь на ружье, стоял подле меня. — Ничего не боится: как же этак можно! — прибавил он, пристально глядя на раненого. — Глуп еще — вот и поплатился.

— А ты разве боишься? — спросил я.

— А то нет!

XI

Четыре солдата на носилках несли прапорщика; за ними форштатский солдат вел худую, разбитую лошадь, с навьюченными на нее двумя зелеными ящиками, в которых хранилась фельдшерская принадлежность. Дожидались доктора. Офицеры подъезжали к носилкам и старались ободрить и утешить раненого.

— Ну, брат Аланин, не скоро опять можно будет поплясать с ложечками, — сказал с улыбкой подъехавший поручик Розенкранц.

Он, должно быть, полагал, что слова эти поддержат бодрость хорошенького прапорщика; но, сколько можно было заметить по холодно-печальному выражению взгляда последнего, слова эти не произвели желанного действия.

Подъехал и капитан. Он пристально посмотрел на раненого, и на всегда равнодушно-холодном лице его выразилось искреннее сожаление.

— Что, дорогой мой Анатолий Иваныч? — сказал он голосом, звучащим таким нежным участием, какого я не ожидал от него, — видно, так богу угодно.

Раненый оглянулся; бледное лицо его оживилось печальной улыбкой.

— Да, вас не послушался.

— Скажите лучше: так богу угодно, — повторил капитан.

Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому.

— Что, видно, и вам сделали дырочку на целом месте, — сказал он шутливо-небрежным тоном, — покажите-ка.

Прапорщик повиновался; но в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, были удивление и упрек, которых не заметил этот последний. Он принялся зондировать рану и осматривать ее со всех сторон; но выведенный из терпения раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку...

— Оставьте меня, — сказал он чуть слышным голосом, — все равно я умру.

С этими словами он упал на спину, и через пять минут, когда я, подходя к группе, образовавшейся подле него, спросил у солдата: «Что прапорщик?», мне отвечали: *«Отходит»*.

XII

Уже было поздно, когда отряд, построившись широкой колонной, с песнями подходил к крепости.

Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи на длинное, тонкое облако, остано-

вившееся на ясном, прозрачном горизонте. Снеговые горы начинали скрываться в лиловом тумане; только верхняя линия их обозначалась с чрезвычайной ясностью на багровом свете заката. Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. Зелень травы и деревьев чернела и покрывалась росою. Темные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и, исполненные чувства и силы, звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху.

ЗАПИСКИ МАРКЁРА

Рассказ

Так часу в третьем было дело. Играли господа: гость большой (так его наши прозвали), князь был (что с ним все ездит), усатый барин тоже был, гусар маленький, Оливер, что в актерах был, *Пан* были. Народу было порядочно.

Гость большой с князем играли. Только вот я себе с машинкой круг бильярда похаживаю, считаю: девять и сорок восемь, двенадцать и сорок восемь. Известно, наше дело маркёрское: у тебя еще во рту куска не было, и не спал-то ты две ночи, а все знай покрикивай да шары вынимай. Считаю себе, смотрю: новый барин какой-то в дверь вошел, посмотрел, да и сел на диванчик. Хорошо.

«Кто, мол, это такой будет? из каких то есть», — думаю про себя.

Одет чисто, уж так чисто, что как с иголочки все платье на нем: брюки триковые, клетчатые, сюртучок модный, коротенький, жилет плюшевый и цепь золотая, а на ней всякие штучки висят.

Одет чисто, а уж из себя еще того чище: тонкий, высокий, волоса завиты наперед, по-модному, и с лица белый, румяный, — ну, сказать, молодец.

Оно известно, наше дело такое, что народу всякого видим: и самого что ни есть важного и дряни-то много бывает, так все хотя и маркёл, а к людям приноровишься, то есть в том разе, что в политике-то кое-что смыслишь.

Посмотрел я на барина, — вижу, сидит тихо, ни с кем не знаком, и платье-то на нем новехонько; думаю себе: али из иностранцев, англичан будет, али из графов каких приезжих. И даром что молодой, вид имеет в себе. Подле него Оливер сидел, так посторонился даже.

Кончили партию. Большой проиграл, кричит на меня:

— Ты, — говорит, — все врешь: не так считаешь, по сторонам смотришь.

Бранится, кий шваркнул и ушел. Вот поди ты! По вечерам с князем по пятидесяти целковых партию играют, а тут бутылку *макону* проиграл и сам не в себе. Уж такой характер! Другой раз до двух часов играют с князем, денег в лузу не кладут, и уж знаю, денег нет ни у того, ни у другого, а все форсят.

— Идет, — говорит, — от двадцати пяти угол?

— Идет!

Зевни только али шара не так поставь — ведь не каменный человек! — так еще норовит в морду заехать.

— Не на щепки, — говорит, — играют, а на деньги.

Уж этот пуще всех меня донимает.

Ну, хорошо. Только князь и говорит новому барину-то, как большой ушел:

— Не угодно ли, — говорит, — со мной сыграть?

— С удовольствием, — говорит.

Сидел он, так таким фофаном смотрит, что ну! Куражный то есть из себя; ну, а как встал, подошел к бильярду, и не то: заробел. Заробел не заробел, а видно, что уж не в своем духе. В платье, что ли, в новом неловко, али боится, что смотрят все на него, только уж форцу того нет. Ходит боком как-то, карманом за лузы цепляет, станет кий мелить — мел уронит. Где бы и сделал шара, так все оглядывается да краснеет. Не то, что князь: тот уж привык — намелит, намелит себе руку, рукава засучит, да как пойдет садить, так лузы трещат, даром что маленький.

Сыграли две ли три партии, уж не помню, князь кий положил, говорит:

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нехлюдов, — говорит.

— Ваш, — говорит, — батюшка корпусом командовал?

— Да, — говорит.

Тут по-французски что-то часто заговорили; уж я не понял. Должно, все родство вспоминали.

— А ревуар [1], — говорит князь, — очень рад с вами познакомиться.

Вымыл руки и ушел кушать; а тот стоит с кием у бильярда, шарики поталкивает.

---

[1] До свидания (*от франц.* au revoir).

Наше дело, известно, с новым человеком что грубей быть, то лучше: я взял шары, да и собираю. Он покраснел, говорит:

— Можно еще сыграть?

— Известно, — говорю, — на то бильярд стоит, чтоб играть. — А сам на него не смотрю, кии уставляю.

— Хочешь со мной играть?

— Извольте, — говорю, — сударь!

Шары поставил.

— На пролаз угодно?

— Что такое значит, — говорит, — на пролаз?

— Да так, — я говорю, — вы мне полтинничек, а я под бильярд пролезу.

Известно, ничего не видамши, чудно ему показалось, смеется.

— Давай, — говорит.

Хорошо. Я говорю:

— Мне вперед сколько пожалуете?

— Разве, — говорит, — ты хуже меня играешь?

— Как можно, — я говорю, — у нас против вас игроков мало.

Стали играть. Уж он и точно думает, что мастер: стучит так, что беда; а *Пан* сидит да все приговаривает:

— Вот так шар! вот так удар!

А какой!.. ударишка точно был, да расчету ничего не знает. Ну, как водится, проиграл я первую партию: полез, кряхчу. Тут Оливер, *Пан* с местов пососкочили, киями стучат.

— Славно! Еще, — говорят, — еще!

А уж чего «еще»! Особенно *Пан*-то за полтинник рад бы не то под бильярд, под Синий мост пролезть. А то туда же, кричит:

— Славно, — говорит, — пыль не всю еще вытер.

Петрушка-маркёл, я чай, всем известен. Тюрин был да Петрушка-маркёл.

Только игры, известно, не открыл: проиграл другую.

— Мне, — говорю, — с вами, сударь, так и так не сыграть.

Смеется. Потом как выиграл я три партии — у них сорок девять было, у меня никого, — я положил кий на бильярд, говорю:

— Угодно, барин, на всю?

— Как на всю? — говорит.

— Либо три рубля за вами, либо ничего, — говорю.

— Как, — говорит, — разве я с тобой на деньги играю? Дурак!

Покраснел даже.

Хорошо. Проиграл он партию.

— Довольно, — говорит.

Достал бумажник, новенький такой, в аглицком магазине куплен, открыл, уж я вижу, пофорсить хотел. Полнехонек денег, да все сторублевые.

— Нет, — говорит, — тут мелочи нет.

Достал из кошелька три рубля.

— Тебе, — говорит, — два, да за партии, а остальное возьми на водку.

Благодарю, мол, покорно. Вижу, барин славный! Для такого можно полазить. Одно жаль: на деньги не хочет играть; а то, думаю, уж я бы изловчился: глядишь, рублей двадцать, а то и сорок потянул бы.

Как *Пан* увидел деньги у молодого барина-то: «Не угодно ли, говорит, со мной партийку? Вы так отлично играете». Такой лисой подъехал. «Нет, говорит, извините: мне некогда». И ушел.

И черт его знает, кто он такой был, *Пан* этот. Прозвал его кто-то *Паном,* так и пошло. День-деньской, бывало, сидит в бильярдной, все смотрит. Уж его и били-то, и ругали, и в игру ни в какую не принимали, все сидит себе, принесет трубку и курит. Да уж и играл чисто... бестия!

Хорошо. Пришел Нехлюдов в другой раз, в третий, стал часто ходить. И утром и вечером, бывало, ходит. В три шара, алагер, пирамидку — все узнал. Смелей стал, познакомился со всеми и играть стал порядочно. Известно, человек молодой, большой фамилии, с деньгами, так уважал каждый. Только с одним с гостем с большим раз как-то повздорил.

И из-за пустяков дело вышло.

Играли алагер князь, гость большой, Нехлюдов, Оливер и еще кто-то. Нехлюдов стоит около печки, говорит с кем-то, а большому играть, — он же крепко выпимши был в тот раз. Только шар его и придись как раз против самой печки: тесненько там, да и любит он размахнуться.

Вот он, не видал, что ли, Нехлюдова, али нарочито, как размахнется в шара, да Нехлюдова в грудь турником ка-ак стукнет! Охнул даже сердечный. Так что ж? Нет того, чтоб извиниться — грубый такой! пошел себе дальше, на него и не посмотрел; да еще бормочет: «Чего,

говорит, тут суются? От этого шара не сделал. Разве нет места?»

Тот подошел к нему, побледнел весь, а говорит как ни в чем не был, учтиво так:

— Вы бы прежде, сударь, должны извиниться: вы меня толкнули, — говорит.

— Не до извинений мне теперь: я бы, — говорит, — должен выиграть, а теперь, — говорит, — вот моего шара сделают.

Тот ему опять говорит:

— Вы должны, — говорит, — извиниться.

— Убирайтесь вы, — говорит. — Вот пристал! — А сам все на своего шара смотрит.

Нехлюдов подошел к нему еще ближе да за руку его.

— Вы невежа, — говорит, — милостивый государь!

Даром что тоненький, молоденький, как девушка красная, а какой задорный: глазенки горят, вот так съесть его хочет. Большой-то гость мужчина здоровый, высокий — куда Нехлюдову!

— Что-о? — говорит, — я невежа!

Да как закричит, да как замахнется на него. Тут подскочили, кто был, за руки их поймали обоих, растащили.

Тары да бары, Нехлюдов говорит:

— Пусть он мне удовлетворенье даст, он меня оскорбил, дескать, — то есть дуэль хотел с ним иметь. Известно, господа: уж у них такое заведение... нельзя!.. ну, одно слово, господа!

— Никакого, — говорит, — удовлетворения знать не хочу! Он мальчишка, больше ничего. Я его за уши выдеру.

— Ежели вы, — говорит, — не хотите драться, так вы не благородный человек.

А сам чуть не плачет.

— А ты, — говорит, — мальчишка: я от тебя ничем не обижусь.

Ну, развели их, как водится, по разным комнатам. Нехлюдов с князем дружны были.

— Поди, — говорит, — ради бога, уговори его, чтобы он, то есть, на дуэль согласие сделал. Он, — говорит, — пьян был; может, он опомнится. Нельзя, — говорит, — этому так кончиться.

Пошел князь. Большой говорит:

— Я, — говорит, — и на дуэли, и на войне дрался. Не стану, — говорит, — с мальчишкой драться. Не хочу, да и шабаш.

Что ж, поговорили, поговорили, да и замолчали; только гость большой перестал к нам ездить.

Насчет этого, то есть конфузу, какой петушок был, амбиционный был... то есть Нехлюдов-то... а уж что касается чего другого прочего, так вовсе не смыслил. Помню раз.

— Кто у тебя здесь есть? — говорит князь Нехлюдову-то.

— Никого, — говорит.

— Как же, — говорит, — никого?

— Зачем? — говорит.

— Как зачем?

— Я, — говорит, — до сих пор так жил, так отчего же нельзя?

— Как: так жил? Не может быть!

И заливается-хохочет, и усатый барин тоже хохочет. Совсем на смех подняли.

— Так никогда? — говорят.

— Никогда.

Помирают со смеху. Я, известно, сейчас понял, что они так над ним смеются. Смотрю: что, мол, будет из него?

— Поедем, — говорит князь, — сейчас.

— Нет, ни за что! — говорит.

— Ну, полно! Это смешно, — говорит. — Выпей для куражу, да и поедем.

Принес я им бутылку шампанского. Выпили, повезли молодчика.

Приехали часу в первом. Сели ужинать, и собралось их много, что ни есть самые лучшие господа: Атанов, князь Разин, граф Шустах, Мирцов. И все Нехлюдова поздравляют, смеются. Меня позвали. Вижу — веселы порядочно.

— Поздравляй, — говорят, — барина.

— С чем? — говорю.

Как бишь он сказал? *с посвещением ли, с просвящением ли,* не помню уж хорошенько.

— Честь имею, — говорю, — поздравить.

А он красный сидит; улыбается только. То-то смеху-то было!

Хорошо. Приходят потом в бильярдную, веселы все, а уж Нехлюдов на себя не похож: глаза посоловели,

губами водит, икает все и уж слова не может сказать хорошенько. Известно, ничего не видамши, его и сшибло. Подошел он к бильярду, облокотился, да и говорит:

— Вам, — говорит, — смешно, а мне грустно. Зачем, — говорит, — я это сделал; и тебе, — говорит, — князь, и себе в жизнь свою этого не прощу.

Да как зальется, заплачет. Известно, выпил: сам не знает, что говорит. Подошел к нему князь, улыбается сам.

— Полно, — говорит, — пустяки! Поедем домой, Анатолий.

— Никуда, — говорит, — не поеду. Зачем я это сделал?

А сам-то заливается. Нейдет от бильярда, да и шабаш. Что значит человек молодой, непривычный.

Таким-то родом езжал он к нам часто. Приезжают раз с князем и с усатым господином, который все с князем ходил. Из чиновников или из отставных каких он был, бог его знает, только *Федоткой* его все господа звали. Скуластый, дурной такой, а ходил чисто и в карете езжал. За что его господа так любили, бог их ведает, *Федотка, Федотка,* а глядишь — его и кормят, и поят, и деньги за него платят. Да уж и шельма же был! проиграет — не платит; а выиграет, так небось! Уж его и ругали-то, и бил в глазах моих гость большой, и на дуэль вызывал... все с князем под ручку ходит.

— Ты, — говорит, — пропадешь без меня. Я *Федот,* — говорит, — да не тот.

Шутник такой! Ну, ладно. Приехали, говорят:

— Давай алагер втроем составим.

— Давай, — говорит.

Стали играть по три рубля ставку. Нехлюдов с князем тары да бары.

— Ты, — говорит, — посмотри, какая у нее ножка. Нет, — говорит, — что ножка! у нее коса, — говорит, — хороша.

Известно, на игру не смотрят; только всё промеж себя разговаривают. А *Федотка* свое дело помнит: знай с накатцем сыграет, а те промах али вовсе на себя. И зашиб по шести рублей с брата. С князем-то у них бог знает какие счеты были, никогда друг другу денег не платили, а Нехлюдов достал две зелененьких, подает ему.

— Нет, — говорит, — я не хочу с тебя денег брать. Давай простую сыграем: китудубль то есть: либо вдвое, либо ничья.

Поставил я шаров. *Федотка* вперед взял, и стали играть. Нехлюдов-то бьет, чтоб пофорсить; другой раз на партии стоит: нет, говорит, не хочу, легко, мол, слишком; а *Федотка* свое дело не забывает, знай себе подбирает. Известно, игру скрыл, да как будто невзначай и выиграй партию.

— Давай, — говорит, — еще на все.

— Давай.

Опять выиграл.

— С пустяков, — говорит, — началось. Я не хочу у тебя много выигрывать. Идет на все?

— Идет.

Оно как бы ни было, пятидесяти-то рублей жалко. Уж Нехлюдов просит: «Давай на всю». Пошла да пошла, дальше да больше, двести восемьдесят рублей на него и набил. *Федотка* сноровку знает: простую проиграет, а угол выиграет. А князь сидит, видит, что дело всерьез пошло.

— *Асе* [1], — говорит, — *асе*.

Какой! всё куш прибавляют.

Наконец тому дело вышло, за Нехлюдовым пятьсот с чем-то рублей. *Федотка* кий положил, говорит:

— Не довольно ли? Я устал, — говорит.

А сам до зари готов играть, только б денежки были... политика, известно. Тому еще пуще хочется: давай да давай.

— Нет, — говорит, — ей-богу, устал. Пойдем, — говорит, — наверх; там реванш возьмешь.

А наверху у нас в карты играли господа. Сначала преферансик, а там глядишь — *любишь не любишь* пойдет.

Вот с того самого числа так его *Федотка* окрутил, что начал он к нам каждый день ездить. Сыграет партию-другую, да и наверх, да и наверх.

Уж что там у них бывало, бог их знает; только что совсем другой человек стал, и с *Федоткой* все пошло заодно. Прежде, бывало, модный, чистенький, завитой, а нынче только с утра еще в настоящем виде; а как наверху побывал, придет взъерошенный, сюртук в пуху, в мелу, руки грязные.

Раз этаким манером приходит оттуда с князем, бледный, губы трясутся, и спорит что-то.

---

[1] Довольно (*от франц.* assez).

— Я мол, не позволю *ему* говорить мне (как бишь он сказал?)... что я не *великатен,* что ли, и что *он* моих карт не будет бить. Я, — говорит, — *ему* десять тысяч заплатил, так *он* мог бы при других-то быть осторожнее.

— Ну, полно, — говорит князь, — стоит ли на *Федотку* сердиться?

— Нет, — говорит, — я этого так не оставлю.

— Перестань, — говорит, — как можно до того унижаться, что с *Федоткой* иметь историю!

— Да ведь тут были посторонние.

— Что ж, — говорит, — посторонние? Ну хочешь, я его сейчас заставлю у тебя прощенья просить?

— Нет, — говорит.

И забормотали что-то по-французски, уж я не понял. Что ж? тот же вечер с *Федоткой* вместе ужинали, и опять дружба пошла.

Хорошо. Придет другой раз один.

— Что, — говорит, — хорошо я играю?

Наше дело, известно: потрафлять каждому надо; скажешь: хорошо, — а какой хорошо! стучит дуром, а расчету ничего нет. И с того самого время, как с *Федоткой* связался, все на деньги играть стал. Прежде не любил ни на что — ни на кушанье, ни на шампанское. Бывало, князь скажет:

— Давай на бутылку шампанского.

— Нет, — говорит, — я лучше так велю принести... Гей! Дай бутылку.

А нынче все на интерес стал играть. Ходит, бывало, день-деньской у нас, или с кем в бильярд играет, или наверх пойдет. Я себе и думаю: что же другим, а не мне все будет доставаться?

— Что, — говорю, — сударь, со мной давно не играли? Вот и стали играть.

Как набил я на него полтинников десять, — на квит, говорю, хотите, сударь?

Молчит. Не то что прежде *дурака* сказал. Вот и стали играть на квит да на квит. Я на него рублей восемьдесят и набил. Так что ж? Каждый день со мной играть стал. Того и ждет, бывало, чтобы не было никого, а то, известно, при других стыдно ему с *маркёлом* играть. Раз как-то погорячился он, а рублей уж за ним с шестьдесят было.

— Хочешь, — говорит, — на все?

— Идет, — говорю.

Выиграл я.

— Сто двадцать на сто на двадцать?

— Идет, — говорю.

Опять выиграл.

— Двести сорок на двести на сорок?

— Не много ли будет? — говорю.

Молчит. Стали играть: опять моя партия.

— Четыреста восемьдесят на четыреста на восемьдесят?

Я говорю:

— Что ж, сударь, мне вас обижать. Сто-то рубликов пожалуйте; а то пусть так будут.

Так он как крикнет! А ведь какой тихий был.

— Я, — говорит, — тебя исколочу. Играй или не играй.

Ну, вижу, делать нечего.

— Триста восемьдесят, — говорю, — извольте.

Известно, хотел проиграть.

Дал я сорок вперед. У него пятьдесят два было, у меня тридцать шесть. Стал он желтого резать, да и положи на себя восемнадцать очков, а мой — на перекате стоял.

Ударил я так, чтоб выскочил шар. Не тут-то было, он дуплетом и упади. Опять моя партия.

— Послушай, — говорит, — *Петр* (Петрушкой не назвал), я тебе сейчас не могу отдать всех, а через два месяца хоть три тысячи могу заплатить.

А сам весь кра-асный стал, дрожит ажно голос у него.

— Хорошо, — говорю, — сударь.

Да и поставил кий. Он походил, походил, пот так с него и льет.

— Петр, — говорит, — давай на все.

А сам чуть не плачет.

Я говорю:

— Что, сударь, играть!

— Ну, давай, пожалуйста.

И сам кий мне подает. Я взял кий да шары на бильярд так шваркнул, что на пол полетели: известно, нельзя не пофорсить; говорю:

— *Давай, сударь!*

А уж он так заторопил, что сам шар поднял. Думаю себе: «Не получить мне семисот рублей; все равно проиграю». Стал нарочно играть. Так что же?

— Зачем, — говорит, — нарочно дурно играешь?

А у самого руки дрожат; а как шар к лузе бежит, так пальцы растаращит, рот скривит да все к лузе и головой-то и руками тянет. Уж я говорю:

— Этим не поможешь, сударь.

Хорошо. Как выиграл он эту партию, я говорю:

— Сто восемьдесят рубликов за вами будет да полтораста партий; а я, мол, ужинать пойду.

Поставил кий и ушел.

Сел я себе за столик против двери, а сам смотрю: что, мол, из него будет? Так что ж? Походит, походит — чай, думает: никто на него не глядит — да за волосы себя как дернет, и опять ходит, бормочет все что-то, да опять как дернет.

После того дней с восемь не видать его было. Пришел в столовую раз, угрюмый такой, и в бильярдную не зашел. Увидал его князь.

— Пойдем, — говорит, — сыграем.

— Нет, — говорит, — я больше играть не буду.

— Да полно! пойдем.

— Нет, — говорит, — не пойду. Тебе, — говорит, — добра не сделает, что я пойду, а мне дурно от этого будет.

Так и не ходил дней с десять еще, а потом на праздниках как-то заехал, во фраке, видно, в гостях был, и целый день пробыл: все играл; на другой день приехал, на третий... Пошло по-старому. Хотел я было с ним еще поиграть, так нет, говорит: с тобой играть не стану. А сто восемьдесят рублей, что я тебе должен, приди ко мне через месяц: получишь.

Хорошо. Пришел к нему через месяц.

— Ей-богу, — говорит, — нет, а в четверг приди.

Пришел я в четверг. Славную такую квартерку занимал.

— Что, — говорю, — дома?

— Почивает, — говорят.

Хорошо, подожду.

Камердин у него из своих был — старичок такой седенький, простой, ничего политики не знал. Вот и поразговорились мы с ним.

— Что, — говорит, — мы тут живем с барином! Совсем замотались, и никакой им ни чести, ни пользы нет от Петербургу от этого. Из деревни ехали, думали: будем как при покойнике барине, царство небесное, по князьям,

по графам да по генералам ездить; думали: возьмем себе какую из графинь кралю, с приданым, да и заживем подворянски; а выходит на поверку, что мы только по трахтирам бегаем — совсем плохо! Княгиня-то Ртищева ведь нам тетка родная, а князь Воротынцев тятенька хресный. Что ж? только на рождество был раз, да и носу не кажет. Уж ихние люди и то смеются мне: что, мол, ваш барин-то, видно, не в папеньку пошел. Я раз и говорю ему: «Что, сударь, к тетеньке не изволите ездить? Они скучают, что вас давно не видали». — «Скучно, говорит, там, Демьяныч!»

Поди ты! только и веселья нашел, что в трахтире. Хоть бы служил, что ли, а то нет: занялся картами да прочим, а уж евти дела никогда к добру не поведут... Э-эх! пропадаем мы, так, ни за грош пропадаем!.. У нас от барыни-покойницы, царство небесное, богатейшее именье осталось: тысяча душ с лишком, тысяч на триста лесу было. Все заложил теперь, лес продал, мужичков разорил, и все нет ничего. Без господина, известно, управляющий сам больше господина... дерет с мужика последнюю шкуру, да и шабаш. Ему что? набить бы только карман, а там хоть с голоду все помирай. Намедни пришли два мужичка, жалобы принесли от всей вотчины. «Разорил, говорят, вконец мужиков». Что ж? прочитал жалобы, дал по десяти рублей мужичкам. «Я, говорит, сам скоро буду. Получу деньги, говорит, расплачусь, тогда уеду».

А где расплатиться, когда мы всё долги делаем! Ведь много ли, мало ли, тут зиму прожили, тысяч восемьдесят спустили; а теперь в доме рубля серебром нету! А все от добродетели своей. Уж такой простой барин, что и сказать нельзя. От этого самого и пропадает, так вот ни за что пропадает.

И сам чуть не плачет, старик-то. Такой старик смешной.

Проснулся часу в одиннадцатом, позвал меня.

— Не прислали мне, — говорит, — денег, только я не виноват. Затвори, — говорит, — дверь.

Я затворил.

— Вот, — говорит, — возьми часы или булавку брильянтовую и заложи их. Тебе, — говорит, — за них больше ста восьмидесяти рублей дадут, а когда я получу деньги, то выкуплю, — говорит.

— Что ж, — я говорю, — сударь, коли денег у вас нет, нечего делать: пожалуйте хоть часы. Я для вас могу уважить.

А сам вижу, что часы рублей триста стоят.

Хорошо. Заложил я часы за сто рублей, а записку ему принес.

— Восемьдесят, — говорю, — рублей за вами будут; а часы сами извольте выкупить.

Так и по сие время восемьдесят рублей моих денег за ним осталось.

Таким-то родом стал он к нам опять каждый день ходить. Уж не знаю, какие у них промеж себя расчеты были, только всё вместе с князем езжали. Или с *Федоткой* наверх пойдут играть. И тоже какие-то у них втроем мудреные счеты были: тот тому дает, тот тому дает; а кто кому должен, не разберешь никак.

И бывал он таким манером у нас два года, почитай что каждый день, только вид уж свой потерял: бойкой стал и другой раз до того доходил, что у меня по целковому занимал извозчику отдать; а по сту рублей с князем партию играли.

Скучный, худой, желтый стал. Приедет, бывало, абсинту сейчас рюмочку велит подать, *канапе* закусит да портвейном запьет; ну, и повеселей как будто.

Приезжает раз перед обедом, на масленице дело было, и стал с каким-то гусаром играть.

— Хотите, — говорит, — заинтересовать партию?

— Извольте, — говорит. — На что?

— Бутылку Клодвужо, хотите?

— Идет.

Хорошо. Гусар выиграл, и пошли кушать. Сели за стол; только Нехлюдов и говорит:

— Simon! бутылку Клодвужо; да смотри, согреть хорошенько.

Simon ушел, приносит кушанье, бутылки нет.

— Что ж, — говорит, — вино?

Simon побежал, приносит жаркое.

— Подавай же вино, — говорит.

Simon молчит.

— Что ты, с ума сошел! мы уж кончаем обедать, а вина нет. Кто ж его пьет с десертом?

Побежал Simon.

— Хозяин, — говорит, — вас просит.

Покраснел весь, выскочил из-за стола.

— Что, — говорит, — ему надо?

А хозяин стоит у двери.

— Я, — говорит, — не могу вам больше верить, коли вы мне по счету не заплатите.

— Да я, — говорит, — вам сказал, что я в первых числах отдам.

— Как вам угодно, — говорит, — будет; а я в долг не могу беспрестанно давать и ничего не получать. У меня и так, — говорит, — десятки тысяч в долгах пропадают.

— Ну, полно, *моншер* [1], — говорит, — уж мне-то можно поверить. Пришлите бутылку, а я постараюсь вам поскорее отдать.

И убежал сам.

— Что это, вас зачем вызывали? — гусар говорит.

— Так, — говорит, — просил меня об одной вещи.

— А славно бы, — говорит гусар, — теперь винца тепленького стакан выпить.

— Simon, что же?!

Побежал мой Simon. Опять нет ни вина, ничего. Плохо. Вышел из-за стола, прибежал ко мне.

— Ради бога, — говорит, — Петруша, дай мне шесть целковых.

А на самом лица нет.

— Нету, — говорю, — сударь, ей-богу, да уж и так за вами моих много.

— Я тебе, — говорит, — сорок целковых за шесть через неделю отдам.

— Коли бы были, — говорю, — я бы не смел отказать, а то, ей-ей, нету.

Так что же? выскочил, зубы стиснул, кулаки сжал, как шальной по колидору бегает, да по лбу себя как треснет.

— Ах, — говорит, — господи! Что это?

Даже не зашел в столовую, вскочил в карету и ускакал.

То-то смеху было. Гусар говорит:

— Где, мол, барин, что со мной обедал?

— Уехал, — говорят.

— Как уехал? Что ж он сказать велел?

— Ничего, — говорят, — не велели сказывать: сели да и уехали.

— Хорош, — говорит, — гусь!

Ну, думаю себе, теперь долго ездить не будет, после то есть сраму такого. Так нет. На другой день ввечеру приезжает. Пришел в бильярдную и ящик какой-то с собой принес. Снял пальто.

---

[1] мой дорогой (*от франц.* mon cher).

— Давай играть, — говорит.

Глядит исподлобья, сердитый такой.

Сыграли партийку.

— Довольно, — говорит, — поди принеси мне перо и бумаги: письмо нужно написать.

Я ничего не думамши, не гадамши, принес бумаги, положил на стол в маленькую комнату.

— Готово, — говорю, — сударь.

Хорошо. Сел за стол. Уж он писал, писал, бормотал все что-то, вскочил потом нахмуренный такой.

— Поди, — говорит, — посмотри, приехала ли моя карета?

Дело в пятницу на масленой было, так никого из гостей не было: все по балам.

Я пошел было узнать о карете, только за дверь вышел.

— Петрушка! Петрушка! — кричит, точно испужался чего.

Я вернулся. Смотрю, он белый, вот как полотно, стоит, на меня смотрит.

— Звать, — говорю, — изволили, сударь?

Молчит.

— Что, — говорю, — вам угодно?

Молчит.

— Ах, да! давай еще играть, — говорит.

Хорошо. Выиграл он партию.

— Что, — говорит, — хорошо я научился играть?

— Да, — я говорю.

— То-то. Поди, — говорит, — теперь узнай, что карета?

А сам по комнате ходит.

Я себе, ничего не думая, вышел на крыльцо: вижу, кареты никакой нет, иду назад.

Только иду назад, слышу, кием ровно стукнул кто-то. Вхожу в бильярдную: пахнет что-то чудно́.

Глядь: а он на полу лежит, ве-есь в крови, и пистоль подле брошена. Так я до того испужался, что слова сказать не мог.

А он дрыгнет, дрыгнет ногой, да и потянется, захрапел потом, да и растянулся вот этаким родом.

И отчего такой грех с ними случился, что душу свою загубил, то есть бог его знает; только что бумагу эту оставил, да и то я никак не соображу.

Уж чего не делают господа!.. Сказано, господа... Одно слово — господа.

«Бог дал мне все, что может желать человек: богатство, имя, ум, благородные стремления. Я хотел наслаждаться и затоптал в грязь все, что было во мне хорошего.

Я не обесчещен, не несчастен, не сделал никакого преступления; но я сделал хуже: я убил свои чувства, свой ум, свою молодость.

Я опутан грязной сетью, из которой не могу выпутаться и к которой не могу привыкнуть. Я беспрестанно падаю, падаю; чувствую свое падение — и не могу остановиться.

Мне легче бы было быть обесчещенным, несчастным или преступным: тогда было бы какое-то утешительное, угрюмое величие в моем отчаянии. Ежели бы я был обесчещен, я бы мог подняться выше понятий чести нашего общества и презирать его. Ежели бы я был несчастлив, я бы мог роптать. Ежели бы я сделал преступление, я бы мог раскаянием или наказанием искупить его; но я просто низок, гадок, знаю это — и не могу подняться.

И что погубило меня? Была ли во мне какая-нибудь сильная страсть, которая бы извиняла меня? Нет.

Семерка, туз, шампанское, желтый в середину, мел, серенькие, радужные бумажки, папиросы, продажные женщины — вот мои воспоминания!

Одна ужасная минута забвения, низости, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидел, какая неизмеримая пропасть отделяла меня от того, чем я хотел и мог быть. В моем воображении возникли надежды, мечты и думы моей юности.

Где те светлые мысли о жизни, о вечности, о боге, которые с такою ясностию и силой наполняли мою душу? Где беспредметная сила любви, отрадной теплотой согревавшая мое сердце? Где надежда на развитие, сочувствие ко всему прекрасному, любовь к родным, к ближним, к труду, к славе? Где понятие об обязанности?

Меня — оскорбили — я вызывал на дуэль и думал, что вполне удовлетворил требованиям благородства. Мне нужны были деньги для удовлетворения своих пороков и тщеславия — я разорил тысячи семейств, вверенных мне богом, и сделал это без стыда, — я, который так хорошо понимал эти священные обязанности. Бесчестный человек сказал мне, что у меня нет совести, что я хочу красть, — и я остался его другом, потому что он бесчестный человек и сказал мне, что он не хотел меня обидеть. Мне сказали, что смешно жить скромником, — и я отдал

без сожаления цвет своей души — невинность — продажной женщине. Да, никакой убитой части моей души мне так не жалко, как любви, к которой я так был способен. Боже мой! Любил ли хоть один человек так, как я любил, когда еще не знал женщин!

А как я мог быть хорош и счастлив, ежели бы шел по той дороге, которую, вступая в жизнь, открыли мой свежий ум и детское, истинное чувство! Не раз пробовал я выйти из грязной колеи, по которой шла моя жизнь, на эту светлую дорогу. Я говорил себе: употреблю все, что есть у меня воли, — и не мог. Когда я оставался один, мне становилось неловко и страшно с самим собой. Когда я был с другими, я забывал *невольно* свои убеждения, не слыхал более внутреннего голоса и снова падал.

Наконец я дошел до страшного убеждения, что не могу подняться, перестал думать об этом и хотел забыться; но безнадежное раскаяние еще сильнее тревожило меня. Тогда мне в первый раз пришла страшная для других и отрадная для меня мысль о самоубийстве.

Но и в этом отношении я был низок и подл. Только вчерашняя глупая история с гусаром дала мне довольно решимости, чтобы исполнить свое намерение. Во мне не осталось ничего благородного — одно тщеславие, и из тщеславия я делаю единственный хороший поступок в моей жизни.

Я думал прежде, что близость смерти возвысит мою душу. Я ошибался. Через четверть часа меня не будет, а взгляд мой нисколько не изменился. Я так же вижу, так же слышу, так же думаю; та же странная непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях, столь противоположная тому единству и ясности, которые, бог знает зачем, дано воображать человеку. Мысли о том, что будет за гробом и какие толки будут завтра о моей смерти у тетушки Ртищевой, с одинаковой силой представляются моему уму.

Непостижимое создание человек!»

РУБКА ЛЕСА

Рассказ юнкера

I

В середине зимы 185. года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером четырнадцатого февраля, узнав, что взвод, которым я командовал за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь лег на свою построенную на колышках постель, надвинул на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела назавтра привело меня в это состояние.

В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза.

«Извольте вставать», — сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул. «Извольте вставать», — повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. «Пехота выступает». Я вдруг вспомнил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк (место, где стоят орудия). Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым светом. Вблизи слышался равномерный спокойный храп, вдали движение, говор и бряцанье ружей пехоты, готовившейся к выступлению; пахло дымом, навозом, фитилем и туманом;

по спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ощупывали друг друга.

Только по фырканью и редкому топоту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников — где стоят орудия. Со словами: «С богом», зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотою, взвод остановился и с четверть часа дожидался сбора всей колонны и выезда начальника.

— А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович! — сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова.

— Кого?

— Веленчука нет-с. Как запрягали, он все тут был — я его видал, — а теперь нет.

Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысило несколько конных: это был начальник со свитой; а вслед за тем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы, — а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас.

— Где он был? — спросил я у Антонова.

— В парке спал.

— Что, он хмелен, что ли?

— Никак нет.

— Так отчего же он заснул?

— Не могу знать.

Часа три мы медленно двигались по каким-то непаханым, бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде послышались отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбудительно подействовали на всех. Отряд как бы проснулся: в рядах послышались говор, движение и смех. Солдаты кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или, для препровождения времени, *отбивал* на караул и к ноге. Притом туман заметно начинал белеть на востоке, сырость становилась

ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытую туманной сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами.

Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелись крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища; слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес.

Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев.

Артиллеристы с некоторым соперничеством перед пехотными разложили свой костер, и хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли, и помертвелая белая трава оттаивала кругом костра. Солдатам все казалось мало: они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували все больше и больше.

Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук, и всегда хлопотун, но теперь, как провинившийся, больше всех старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раза два из руки в руку и бросил на землю.

«Ты форостинку зажги да подай», — сказал другой. «Пальник, братцы, подайте», — сказал третий. Когда я наконец без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда наконец ему показалось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем, в виде епанчи, на задней пуговице, расставил ноги, выставил

вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился.

— Эхма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности.

II

В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск; кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.

Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие:

1) Покорных.

2) Начальствующих и

3) Отчаянных.

Покорные подразделяются на a) покорных хладнокровных, b) покорных хлопотливых.

Начальствующие подразделяются на a) начальствующих суровых и b) начальствующих политичных.

Отчаянные подразделяются на a) отчаянных забавников и b) отчаянных развратных.

Чаще других встречающийся тип, — тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле божьей, — есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем не сокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливого — ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием.

Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т. д., и, по первому подразделению начальствующих суровых, есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключающий высоких поэтических порывов (к этому-то типу принадлежал ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя). Второе подразделение

составляют начальствующие политичные, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующий политичный бывает всегда красноречив, грамотен, ходит в розовой рубашке, не ест из общего котла, курит иногда Мусатов табак, считает себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующие первого разряда.

Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении — отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль, — и так же ужасно дурен во втором подразделении — отчаянных развратных, которые, однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским. Неверие и какое-то удальство в пороке — главные черты характера этого разряда.

Веленчук принадлежал к разряду покорных хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже пятнадцать лет на службе и хотя невидный и не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большей частью некстати, и чрезвычайно честный. Я говорю: чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, в котором он показал весьма очевидно это характеристическое свойство. Надобно заметить, что почти каждый из солдат имеет мастерство. Более распространенные мастерства: портняжное и сапожное. Веленчук сам научился первому и даже, судя по тому, что сам Михаил Дорофеич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошел до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Веленчук взялся шить тонкую шинель Михаилу Дорофеичу; но в ту самую ночь, когда он, скроив сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под голову, с ним случилось несчастие: сукно, которое стоило *семь рублей,* в ночь пропало! Веленчук со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыданиями объявил о том фельдфебелю. Михаил Дорофеич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному, но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Веленчука возвращения ценности шинели. Как ни хлопотал хлопотливый Веленчук, как ни плакал, рассказывая про свое несчастие, вор не нашелся. Хотя и были сильные подозрения на одного

отчаянного развратного солдата, Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальствующий политичный Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастия. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы: так сильно на него подействовало это несчастие. Он не пил, не ел, работать даже не мог и все плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. «Ей-богу, последние, Михаил Дорофеич, — и те у Жданова занял, — сказал он, снова всхлипывая, — а еще два рубля, ей-ей, отдам, как заработаю. Он (кто был *он*, не знал и сам Веленчук) меня перед вашими глазами плутом сделал. Он — ехидная его мерзкая душа — у своего брата-солдата последнее из души взял; а я, пятнадцать лет служа...» К чести Михаила Дорофеича, должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их.

III

Кроме Веленчука, около костра грелись еще пять человек солдат моего взвода.

На лучшем месте, за ветром, на баклаге, сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В позе, во взгляде и во всех движениях этого человека заметны были привычки повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти, и крытом нанкой полушубке.

Когда я подошел, он повернул голову ко мне; но глаза его оставались устремленными на огонь, и только гораздо после взгляд его, вслед за направлением головы, обратился на меня. Максимов был из однодворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учености. Он был ужасно богат и ужасно учен, как говорили солдаты. Я помню, как раз на практической навесной стрельбе с квадрантом он объяснял собравшимся вокруг него солдатам, что ватерпас *не что иное есть, как происходит,*

что атмосферическая ртуть свое движение имеет. В сущности, Максимов был далеко не глуп и отлично знал свое дело; но у него была несчастная странность говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его и что, я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова «происходит» и «продолжать», и когда, бывало скажет: «происходит» или «продолжая», то уже я вперед знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же, напротив, сколько я мог заметить, любили слушать его «происходит» и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но непонимание это они относили только к своей глупости и тем более уважали Федора Максимыча. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный.

Второй солдат, переобувавший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов, — тот самый бомбардир Антонов, который еще в тридцать седьмом году, втроем оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его. «Давно бы уж ему быть фейерверкером, коли бы не карахтер его», — говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер: в трезвом виде не было человека покойнее, смирнее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком: не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда не годным солдатом. Не дальше как неделю тому назад он запил на масленице и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязыванья к орудию, пьянствовал и буянил до самого чистого понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надобно было видеть эту невысокую, сбитую, как железо, фигуру с короткими, выгнутыми ножками и глянцевитой усатой рожей, когда он, бывало, под хмельком возьмет в жилистые руки балалайку, и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет «барыню» или, с шинелью внакидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдется по улице, — надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему несолдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять, каким образом не подраться в такие ми-

нуты с загрубившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще неартиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем.

Третий солдат, с серьгой в ухе, щетинистыми усиками, птичьей рожицей и фарфоровой трубочкой в зубах, на корточках сидевший около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был *забавник*. В трескучий ли мороз, по колено в грязи, два дня не евши, в походе, на смотру, на ученье, милый человек всегда и везде корчил гримасы, выделывал ногами коленцы и отливал такие штуки, что весь взвод покатывался со смеху. На привале или в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он или затевал «Фильку» [1], или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского милорда, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирали со смеху. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот; но действительно в нем много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что другим и в голову не приходило, и главное — способность эта во всем видеть смешное не уступала никаким испытаниям.

Четвертый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, в первый еще раз бывший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что казалось, истертый полушубочек его сейчас загорится; но, несмотря на это, по его распахнутым полам, спокойной, самодовольной позе с выгнутыми икрами видно было, что он испытывал большое удовольствие.

И, наконец, пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра и строгавший какую-то палочку, был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал еще рекрутами, и все по старой привычке называли его дяденькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил, не играл в карты (даже в носки), не бранился дурным словом. Все свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по

---

[1] Солдатская игра в карты. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

праздникам ходил в церковь, где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал псалтырь, единственную книгу, по которой он умел читать. С солдатами он водился мало, — со старшим чином, хотя и младшими летами, он был холодно-почтителен, с равными, как непьющий, он имел мало случаев сходиться; но особенно он любил рекрутов и молодых солдат: их он всегда покровительствовал, читал им наставления и помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей двадцать пять, которыми охотно ссужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что, когда, десять лет тому назад, он рекрутом пришел и старые пьющие солдаты пропили с ним деньги, которые у него были, Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочел наставление, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которых уже не было у Максимова, и полтину денег. «Он из меня человека сделал», — говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Веленчуку, которого он вообще покровительствовал с самого рекрутства, во время несчастия пропажи шинели и многим, многим другим во время своей двадцатипятилетней службы.

По службе нельзя было желать лучше знающего дело, храбрее и исправнее солдата; но он был слишком смирен и невиден, чтобы быть произведенным в фейерверкеры, хотя уже был пятнадцать лет бомбардиром. Одна радость и даже страсть Жданова были песни; особенно некоторые он очень любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат и, хотя сам не умел петь, стоял с ними и, заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал свое сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул под ушами, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выраженья. Белая как лунь голова, нафабренные черные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему на первый взгляд выражение строгое и суровое; но, вглядевшись ближе в его большие круглые глаза, особенно когда они улыбались (губами он никогда не смеялся), что-то необыкновенно кроткое, почти детское вдруг поражало вас.

IV

— Эхма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — повторил Веленчук.

— А ты бы *сихарки* курил, милый человек! — заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая. — Я так всё сихарки дома курю: она слаще!

Разумеется, все покатились со смеху.

— То-то, трубку забыл, — перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически-гордо выбивая трубку о ладонь левой руки. — Ты где там пропадал? а, Веленчук?

Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее.

— Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят.

— Разорви меня на сем месте, Федор Максимыч, коли у меня капля во рту была; а я и сам не знаю, что со мной сделалось, — отвечал Веленчук. — С какой радости напился! — проворчал он.

— То-то; а из-за вашего брата ответствуешь перед начальством своим, а вы этак продолжаете — вовсе безобразно, — заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном.

— Ведь вот чудо-то, братцы мои, — продолжал Веленчук после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращаясь ни к кому в особенности, — право, чудо, братцы мои! Шестнадцать лет служу — такого со мной не бывало. Как сказали к расчету строиться, я собрался как следует — ничего не было, да вдруг у парке как *она* схватит меня... схватила, схватила, повалила меня наземь, да и все... И как заснул, сам не слыхал, братцы мои! Должно, она самая спячка и есть, — заключил он.

— Ведь и то насилу я тебя разбудил, — сказал Антонов, натягивая сапог, — уж я тебя толкал, толкал... ровно чурбан какой!

— Вишь ты, — заметил Веленчук, — добро уж пьяный бы был...

— Так-то у нас дома баба была, — начал Чикин, — так с печи, почитай, два года не сходила. Стали ее будить раз, думали, что спит, а уж она мертвая лежит, — так тоже все на нее сон находил. Так-то, милый человек!

— А расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе, — сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на

меня, как будто говоря: «Не угодно ли тоже послушать глупого человека?»

— Какой тон, Федор Максимыч! — сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд, — известно, рассказывал, какой такой Капказ есть.

— Ну да, как же, как же! Ты не модничай... расскажи, как ты им *предводительствовал?*

— Известно, как предводительствовал: спрашивали, как мы живем, — начал Чикин скороговоркой, с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое, — я говорю, живем хорошо, милый человек: провиянт сполна получаем, утро и вечер по чашке *щиколата* идет на *солдата,* а в обед идет господский *суп* из перловых *круп,* а замест водки *модера* полагается по крышке. Модера Дивирье, что без посуды, мол, сорок две!

— Важная модера! — громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук, — вот так модера!

— Ну, а про эзиятов как рассказывал? — продолжал допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько.

Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку, и молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда наконец он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал:

— Тоже спрашивают, какой, говорит, там малый, черкес, говорит, или турка у вас на Капказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни замест хлеба едят. Те большие, говорю, ровно как колода добрая, по одном глазу во лбу, и шапки на них красные, вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек! — прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором действительно была уморительная шапочка с красным верхом.

Рекрутик при этом неожиданном обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался и раскашлялся до того, что едва мог выговорить задыхающимся голосом: «Вот так тавлинцы!»

— А то еще, говорю, мумры есть, — продолжал Чикин, движением головы надвигая на лоб свою шапочку, — те другие — двойнешки маленькие, вот такие. Всё по парочкам, говорю, рука с рукой держатся и так-то бегают,

говорю, швытко, что ты его на коне не догонишь. «Как же, говорит, милый, как же они, мумры-то рука с рукой так и родятся, что ли? — воображая передразнивать мужика, сказал он горловым басом. — «Да, говорю, милый человек, он такой от природии. Ты им руки разорви, так кровь пойдет, все равно что китаец: шапку с него сними, она, кровь, пойдет». — «А кажи, малый как они бьют-то?» — говорит. «Да так, говорю, поймают тебя, живот распорят, да кишки тебе на руку и мотают и мотают. Они мотают, а ты смеешься; дотелева смеешься, что дух вон...»

— Ну, что ж, и имели к тебе доверие, Чикин? — сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху.

— И такой, право, народ чудной, Федор Максимыч: верют всему, ей-богу, верют. А стал им про гору *Кизбек* сказывать, что на ней все лето снег не тает, так вовсе на смех подняли, милый человек! «Что ты, говорит, малый, фастаешь? Видано ли дело: большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас, малый, в ростопель так какой бугор, и то прежде растает, а в лощине снег лежит». Поди ты! — заключил Чикин, подмигивая.

V

Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко; серо-лиловый горизонт постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но также резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана.

Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстилался где черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар, и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров, их винтовок и орудия.

«Это еще было не дело, а одна потеха-с», — как говорил добрый капитан Хлопов.

Командир девятой егерской роты, бывшей у нас в прикрытии, подошел к моим орудиям и, указывая на трех верховых татар, ехавших в это время под лесом на расстоянии от нас более шестисот сажен, просил, по

свойственной всем вообще пехотным офицерам любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату.

— Видите, — говорил он, с доброй и убедительной улыбкой протягивая руку из-за моего плеча, — где два большие дерева, так впереди один на белой лошади и в черной черкеске, а вон сзади еще два. Видите. Нельзя ли их, пожалуйста...

— А вон еще трое едут, по-под лесом, — прибавил Антонов, отличавшийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спину трубку, которую курил в это время, — еще передний винтовку из чехла вынул. Знатко видать, вашбородие!

— Вишь, выпалил, братцы мои! вон дымок забелелся, — сказал Веленчук в группе солдат, стоявших немного сзади нас.

— Должно, в нашу цепь, прохвост! — заметил другой.

— Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят — орудию поставить хотят, — добавил третий. — Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-то бы заплевали...

— А как думаешь, как раз дотолева фатит, милый человек? — спросил Чикин.

— Пятьсот либо пятьсот двадцать сажен, больше не будет, — как будто говоря сам с собой, хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было, что ему, так же как и другим, ужасно хотелось выпалить, — коли сорок пять линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно.

— Знаете, теперь коли в эту кучку направить, непременно в кого-нибудь попадете. Вот-вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорей велите выстрелить, — продолжал упрашивать меня ротный командир.

— Прикажете навести орудие? — отрывистым басом вдруг спросил Антонов с видом какой-то угрюмой злобы.

Признаюсь, мне и самому этого очень хотелось, и я велел навести второе орудие.

Едва я успел сказать, как граната была распудрена, дослана, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстых пальца, уже командовал хобот вправо и влево.

— Чуть-чуть влево... самую малость вправо... еще, еще трошки... так ладно, — сказал он, с гордым видом отходя от орудия.

Пехотный офицер, я, Максимов, один за другим приложились к прицелу и все подали свои разнообразные мнения.

— Ей-богу, перенесет, — заметил Веленчук, пощелкивая языком, несмотря на то, что он только смотрел чрез плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это. — Е-е-ей-богу, перенесет, прямо в ту дереву попанет, братцы мои!

— Второе! — скомандовал я.

Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полет снаряда, трубка вспыхнула, и зазвенела медь. В то же мгновение нас обдало пороховым дымом, и из поразительного гула выстрела отделился металлический, жужжащий, с быстротою молнии удалявшийся звук полета, посреди всеобщего молчания замерший в отдалении.

Немного позади группы верховых показался белый дымок, татары расскакались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва.

«Вот важно-то! Эк поскакали! Вишь, черти, не любят!» — послышались одобрения и смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат.

— Коли бы трошки ниже пустить, в самую его бы попало, — заметил Веленчук, — говорил, в дереву попанет: оно и есть — взяло вправо.

VI

Оставив солдат рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их еще в лесу есть, я отошел с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Болхов был один из офицеров, называемых в полку *бонжурами*. Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски. Но, несмотря на это, товарищи любили его. Он был довольно умен и имел достаточно такта, чтобы носить петербургский сюртук, есть хороший обед и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. Поговорив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах и убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи в удовлетворительности понятий один другого,

мы невольно перешли к разговору более короткому. Притом же на Кавказе между встречающимися одного круга людьми хотя невысказанно, но весьма очевидно проявляется вопрос: зачем вы здесь? — и на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить.

— Когда этот отряд кончится? — сказал он лениво, — скучно!

— Мне не скучно, — сказал я, — ведь в штабе еще скучнее.

— О, в штабе в десять тысяч раз хуже, — сказал он со злостью. — Нет! когда все это совсем кончится?

— Что же вы хотите, чтоб кончилось? — спросил я.

— Все, совсем!.. Что же, готовы битки, Николаев? — спросил он.

— Для чего же вы пошли служить на Кавказ, — сказал я, — коли Кавказ вам так не нравится?

— Знаете, для чего, — отвечал он с решительной откровенностью, — по преданию. В России ведь существует престранное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей.

— Да, это почти правда, — сказал я, — бóльшая часть из нас...

— Но что лучше всего, — перебил он меня, — что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройства дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками, — все это страшное что-то, а в сущности, ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д. ...

— Да, — сказал я, смеясь, — мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Как читать стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?..

— Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ, — перебил он меня.

— Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе...

— Может быть, и хорош, — продолжал он с какою-то раздражительностью, — знаю только то, что я не хорош на Кавказе.

— Отчего же так? — сказал я, чтоб сказать что-нибудь.

— Оттого, что во-первых, *он* обманул меня. Все то, от чего я, по преданию, поехал лечиться на Кавказ, все приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде все это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязненькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей, оскорблений; во-вторых, оттого, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже, и главное — то, что чувствую себя неспособным к здешней службе: я не могу переносить опасности... просто, я не храбр... — Он остановился и посмотрел на меня. — Без шуток.

Хотя это непрошеное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил, как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого опровержения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях.

— Знаете, я в нынешний отряд в первый раз в деле, — продолжал он, — и вы не можете себе представить, что со мной вчера было. Когда фельдфебель принес приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел как полотно и не мог говорить от волнения. А как я провел ночь, ежели бы вы знали! Если правда, что седеют от страха, то я бы должен быть совершенно белый нынче, потому что, верно, ни один приговоренный к смерти не пострадал в одну ночь столько, как я; даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот что идет, — прибавил он, вертя кулак перед своей грудью. — И что смешно, — продолжал он, — что здесь ужаснейшая драма разыгрывается, а сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело. Вино есть, Николаев? — прибавил он, зевая.

— Это *он,* братцы мои! — послышался в это время встревоженный голос одного из солдат, — и все глаза обратились на опушку дальнего леса.

Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понял, что это

был против нас выстрел неприятеля, все, что было на моих глазах в эту минуту, все вдруг приняло какой-то новый величественный характер. И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева — все это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в это мгновение в пространстве, может быть, направлено прямо в мою грудь.

— Вы где брали вино? — лениво спросил я Болхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один — господи, приими дух мой с миром, другой — надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро, — и в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас шлепнулось ядро.

— Вот если бы я был Наполеон или Фридрих, — сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне, — я бы непременно сказал какую-нибудь любезность.

— Да вы и теперь сказали, — отвечал я, с трудом скрывая тревогу, произведенную во мне прошедшей опасностью.

— Да что ж, что сказал: никто не запишет.

— А я запишу.

— Да вы ежели и запишете, так в критику, как говорит Мищенков, — прибавил он, улыбаясь.

— Тьфу ты, проклятый! — сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону, — трошки по ногам не задела.

Все мое старанье казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания.

VII

Неприятель действительно поставил два орудия на том месте, где разъезжали татары, и каждые минут двадцать или тридцать посылал по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперед на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист, и ядро падало сзади или впереди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо, и потери не было.

Артиллеристы, как и всегда, вели себя превосходно, проворно заряжали, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокойно шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом бездействии лежало около нас, дожидая своей очереди. Рубщики леса делали свое дело: топоры звучали по лесу быстрее и чаще; только в то время, как слышался свист снаряда, все вдруг замолкало, средь мертвой тишины раздавались не совсем спокойные голоса: «Сторонись, ребята!» — и все глаза устремлялись на ядро, рикошетировавшее по кострам и срубленным сучьям.

Туман уже совершенно поднялся и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в темно-голубой синеве неба; открывшееся солнце ярко светило и бросало веселые отблески на сталь штыков, медь орудий, оттаивающую землю и блестки инея. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца; тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глянцевитой дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов.

Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны, с развевающимися флюгерами пик, выехали вперед; в пехотных ротах послышались песни, и обоз с дровами стал строиться в арьергард. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас ружейным огнем. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, потом другая, третья... Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, взяло ружья и заняло цепь. Ружейные выстрелы усиливались, и пули стали летать чаще и чаще. Началось отступление и, следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе.

По всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядра — пехотным. Антонов принахмурился. Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними; но видно было, что они ему не нравились. Про одну говорил он: «как торопится», другую называл «пчелкой», третью, которая, как-то медленно и жалобно визжа, пролетела над нами, назвал «сиротой», чем произвел общий хохот.

Рекрутик с непривычки при каждой пуле сгибал набок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло смеяться солдатиков. «Что, знакомая, что ли, что кланяешься?» — говорили ему. И Веленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии: его, видимо, сердило то, что мы не стреляем картечью по тому направлению, откуда летали пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил: «Что ж *он* нас даром-то бьет? Кабы туда орудию поворотить да картечью бы дунуть, так затих бы небось».

Действительно, пора было это сделать: я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить картечью.

— Картечь! — крикнул Антонов, лихо в самом дыму подходя с банником к орудию, только что заряд был выпущен.

В это время недалеко сзади себя я услыхал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. «Кажется, кого-то из наших задело», — подумал я, но вместе с тем боясь оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и «о-о-о-ой» — раздирающий стон раненого. «Задело, братцы мои!» — проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. Сума, которую он нес, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови; лоб же он разбил о пень во время падения.

Все это я разобрал гораздо после; в первую же минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови.

Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова, — только рекрутик пробормотал что-то, вроде: «Вишь ты как, в кровь», — и Антонов, нахмурившись, крякнул сердито; но по всему заметно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с большей деятельностью принялись за дело. Орудие было заряжено в одно мгновение и вожатый, принося картечь, шага на два обошел то место, на котором, продолжая стонать, лежал раненый.

VIII

Каждый бывший в деле, верно, испытывал то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял под мышки и поднял его. «Что стали! берись!» — крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять, даже ненужных, помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать ужасно и рваться.

— Что кричишь, как заяц! — сказал Антонов грубо, удерживая его за ногу, — а не то бросим.

И раненый затих действительно, только изредка приговаривая: «Ох, смерть моя! о-ох, братцы мои!»

Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товарищами — должно быть, прощался — тихим, но внятным голосом.

В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорей везти его на перевязочный пункт и отошел к орудиям; но через несколько минут мне сказали, что Веленчук зовет меня, и я подошел к повозке.

На дне ее, ухватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое, широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось: он как будто похудел и постарел несколькими годами, губы его были тонки, бледны и сжаты с видимым напряжением; торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти.

Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок [1] с деньгами.

Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес.

---

[1] Черес — кошелек в виде пояска, который солдаты носят обыкновенно под коленом. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

— Тут три монеты и полтинник, — сказал он мне в то время, как я брал в руки черес, — уж вы их сберегёте.

Повозка было тронулась, но он остановил ее.

— Я поручику Сулимовскому шинель работал. О-они мне две монеты дали. На полторы я пуговиц купил, а полтина у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте.

— Хорошо, хорошо, — сказал я, — выздоравливай, братец!

Он не отвечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе это облегчение.

IX

— Ты куда? Вернись! Куда ты идешь? — закричал я рекрутику, который, положив под мышку свой запасный пальник, с какой-то палочкой в руках прехладнокровно отправлялся за повозкой, повезшей раненого.

Но рекрутик только лениво оглянулся на меня, пробормотал что-то и пошел дальше, так что я должен был послать солдат, чтобы привести его. Он снял свою красную шапочку и, глупо улыбаясь, глядел на меня.

— Куда ты шел? — спросил я.

— В лагерь.

— Зачем?

— А как же — Веленчука-то ранили, — сказал он, опять улыбаясь.

— Так тебе-то что? ты должен здесь оставаться.

Он с удивлением посмотрел на меня, потом хладнокровно повернулся, надел шапку и пошел к своему месту.

Дело вообще было счастливо: казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела; пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными; в артиллерии выбыли из строя всего один Веленчук и две лошади. Зато вырубили леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было: вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась огромная поляна, покрытая дымящимися

кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой. Несмотря на то, что неприятель не переставал преследовать нас артиллерийским и ружейным огнем до самой речки с кладбищем, которую мы переходили утром, отступление сделано было счастливо. Уже я начинал мечтать о щах и бараньем боке с кашей, ожидавших меня в лагере, когда пришло известие, что генерал приказал построить на речке редут и оставить в нем до завтра третий батальон К. полка и взвод четырехбатарейной. Повозки с дровами и ранеными, казаки, артиллерия, пехота с ружьями и дровами на плечах — все с шумом и песнями прошли мимо нас. На всех лицах видны были одушевление и удовольствие, внушенные минувшей опасностью и надеждой на отдых. Только мы с третьим батальоном должны были ожидать этих приятных чувств еще до завтра.

X

Покуда мы, артиллеристы, хлопотали около орудий: расставляли передки, ящики, разбивали коновязь, пехота уже составила ружья, разложила костры, построила из сучьев и кукурузной соломы балаганчики и варила кашицу.

Начинало смеркаться. По небу ползли сине-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели; горизонт суживался, и вся окрестность принимала мрачные тени. Сырость, которую я чувствовал сквозь сапоги, за шеей, неумолкаемое движение и говор, в которых я не принимал участия, липкая грязь, по которой раскатывались мои ноги, и пустой желудок наводили на меня самое тяжелое, неприятное расположение духа после дня физической и моральной усталости. Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению.

Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту.

— Ваше здоровье, — сказал мне подошедший Николаев, — пожалуйте к капитану, просят чай кушать.

Кое-как пробираясь между козлами и кострами, я вслед за Николаевым пошел к Болхову, с удовольствием мечтая о стакане горячего чая и веселой беседе, которая бы разогнала мои мрачные мысли. «Что, нашел?» — послышался голос Болхова из кукурузного шалаша, в котором светился огонек.

— Привел, ваше благородие! — басом отвечал Николаев.

В балагане на сухой бурке сидел Болхов, расстегнувшись и без папахи. Подле него кипел самовар, стоял барабан с закуской. В землю был воткнут штык со свечкой. «Каково?» — с гордостью сказал он, оглядывая свое уютное хозяйство. Действительно, в балагане было так хорошо, что за чаем я совсем забыл про сырость, темноту и рану Веленчука. Мы разговорились про Москву, про предметы, не имеющие никакого отношения с войной и Кавказом.

После одной из тех минут молчания, которые прерывают иногда самые оживленные разговоры, Болхов с улыбкой посмотрел на меня.

— А я думаю, вам очень странным показался наш разговор утром? — сказал он.

— Нет. Отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, но которых никогда говорить не надо.

— Отчего? Нет! Ежели бы была какая-нибудь возможность променять эту жизнь хоть на жизнь самую пошлую и бедную, только без опасностей и службы, я бы ни минуты не задумался.

— Отчего же вы не перейдете в Россию? — сказал я.

— Отчего? — повторил он. — О! я давно уже об этом думал. Я не могу теперь вернуться в Россию до тех пор, пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора, как и предполагал, ехавши сюда.

— Отчего же, ежели вы чувствуете себя неспособным, как вы говорите, к здешней службе?

— Но когда я еще более чувствую себя неспособным к тому, чтобы вернуться в Россию тем, чем я поехал. Это тоже одно из преданий, существующих в России, которое утвердили Пассек, Слепцов и другие, что на Кавказ стоит приехать, чтобы осыпаться наградами. И от нас все ожидают и требуют этого; а я вот два года здесь, в двух экспедициях был и ничего не получил. Но все-таки у меня столько самолюбия, что я не уеду отсюда ни за

что до тех пор, пока не буду майором с Владимиром и Анной на шее. Я уж втянулся до того, что меня всего коробит, когда Гнилокишкину дадут награду, а мне нет. И потом, как я покажусь на глаза в России своему старосте, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке московской и всем этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды? Правда, что я этих господ знать не хочу и, верно, они тоже очень мало обо мне заботятся; но уж так устроен человек, что я их знать не хочу, а из-за них гублю лучшие года, все счастие жизни, всю будущность свою погублю.

XI

В это время послышался снаружи голос батальонного командира: «С кем это вы, Николай Федорыч?»

Болхов назвал меня, и вслед за тем в балаган влезли три офицера: майор Кирсанов, адъютант его батальона и ротный командир Тросенко.

Кирсанов был невысокий, полный мужчина, с черными усиками, румяными щеками и маслеными глазками. Глазки эти были самой замечательной чертой в его физиономии. Когда он смеялся, то от них оставались только две влажные звездочки, и звездочки эти вместе с натянутыми губами и вытянутой шеей принимали иногда престранное выражение бессмысленности. Кирсанов в полку вел и держал себя лучше всякого другого: подчиненные не бранили, а начальники уважали его, хотя общее мнение о нем было, что он очень недалек. Он знал службу, был исправен и усерден, всегда был при деньгах, имел коляску и повара и весьма натурально умел притворяться гордым.

— О чем это толкуете, Николай Федорыч? — сказал он, входя.

— Да вот о приятностях здешней службы.

Но в это время Кирсанов заметил меня, юнкера, и потому, чтобы дать почувствовать мне свое значение, как будто не слушая ответа Болхова и глядя на барабан, спросил:

— Что, устали, Николай Федорыч?

— Нет, ведь мы... — начал было Болхов.

Но опять, должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебить и сделать новый вопрос:

— А ведь славное дело было нынче?

Батальонный адъютант был молодой прапорщик, недавно произведенный из юнкеров, скромный и тихий мальчик, со стыдливым и добродушно-приятным лицом. Я видал его прежде у Болхова. Молодой человек часто приходил к нему, раскланивался, садился в уголок и по нескольку часов молчал, делал папиросы, курил их, потом вставал, раскланивался и уходил. Это был тип бедного русского дворянского сына, выбравшего военную карьеру, как одну возможную при своем образовании, и ставящего выше всего в мире свое офицерское звание, — тип простодушный и милый, несмотря на смешные неотъемлемые принадлежности: кисет, халат, гитару и щеточку для усов, с которыми мы привыкли воображать его. В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что он с своим денщиком справедлив, но строг, будто он говорил: «Я редко наказываю, но уж когда меня доведут до этого, то беда», и что, когда пьяный денщик обокрал его совсем и стал даже ругать своего барина, будто он привел его на гауптвахту, велел приготовить все для наказания, но при виде приготовлений до того смутился, что мог только говорить: «Ну, вот видишь... ведь я могу...» — и, совершенно растерявшись, убежал домой и с той поры боялся смотреть в глаза своему Чернову. Товарищи не давали ему покоя, дразнили его этим, и я несколько раз слышал, как простодушный мальчик отговаривался и, краснея до ушей, уверял, что это неправда, а совсем напротив.

Третье лицо, капитан Тросенко, был старый кавказец в полном значении этого слова, то есть человек, для которого рота, которою он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб, — родиной, а песенники — единственными удовольствиями жизни, — человек для которого все, что не было Кавказ, было достойно презрения, да и почти недостойно вероятия; все же, что было Кавказ, разделялось на две половины: нашу и не нашу; первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей души, и главное — он был человек закаленной, спокойной храбрости, редкой доброты в отношении к своим товарищам и подчиненным и отчаянной прямоты и даже дерзости в отношении к ненавистным для него почему-то адъютантам и бонжурам. Входя в балаган, он чуть не пробил головой крыши, потом вдруг опустился и сел на землю.

— Ну, что? — сказал он и, вдруг заметив мое незнакомое для него лицо, остановился, вперил в меня мутный, пристальный взгляд.

— Так о чем это вы беседовали? — спросил майор, вынимая часы и глядя на них, хотя, я твердо уверен, ему совсем не нужно было делать этого.

— Да вот спрашивал меня, зачем я служу здесь.

— Разумеется, Николай Федорыч хочет здесь отличиться и потом — восвояси.

— Ну, а вы скажите, Абрам Ильич, зачем вы служите на Кавказе?

— Я потому, знаете, что, во-первых, мы все обязаны по своему долгу служить. Что? — прибавил он, хотя все молчали. — Вчера я получил письмо из России, Николай Федорыч, — продолжал он, видимо, желая переменить разговор, — мне пишут, что... такие вопросы странные делают.

— Какие же вопросы? — спросил Болхов.

Он засмеялся.

— Право, странные вопросы... мне пишут, что может ли быть ревность без любви... Что? — спросил он, оглядываясь на всех нас.

— Вот как! — сказал, улыбаясь, Болхов.

— Да, знаете, в России хорошо, — продолжал он, как будто фразы его весьма натурально вытекали одна из другой. — Когда я в пятьдесят втором году был в Тамбове, то меня принимали везде как флигель-адъютанта какого-нибудь. Поверите ли, на балу у губернатора, как я вошел, так знаете... очень хорошо принимали. Сама губернаторша, знаете, со мной разговаривала и спрашивала про Кавказ, и все так... что я не знал... Мою золотую шашку смотрят, как редкость какую-нибудь, спрашивают: за что шашку получил, за что Анну, за что Владимира, и я им так рассказывал... Что? Вот этим-то Кавказ хорош, Николай Федорыч! — продолжал он, не дожидаясь ответа, — там смотрят на нашего брата, кавказца, очень хорошо. Молодой человек, знаете, штаб-офицер с Анной и Владимиром — это много значит в России... Что?

— Вы и прихвастнули-таки, я думаю, Абрам Ильич? — сказал Болхов.

— Хи-хи! — засмеялся он своим глупым смехом. — Знаете, это нужно. Да и поел я славно эти два месяца!

— А что, хорошо там, в России-то? — сказал Тросенко, спрашивая про Россию, как про какой-то Китай или Японию.

— Да-с, уж что мы там шампанского выпили в два месяца, так это страх!

— Да что вы! Вы, верно, лимонад пили. Вот я так уж бы треснул там, что знали бы, как кавказцы пьют. Недаром бы слава прошла. Я бы показал, как пьют... А, Болхов? — прибавил он.

— Да ведь ты, дядя, уж за десять лет на Кавказе, — сказал Болхов, — а помнишь, что Ермолов сказал; а Абрам Ильич только шесть...

— Какой десять! скоро шестнадцать.

— Вели же, Болхов, *шолфею* дать. Сыро, бppp!.. А? — прибавил он, улыбаясь, — выпьем, майор!

Но майор был недоволен и первым обращением к нему старого капитана, теперь же, видимо, съежился и искал убежища в собственном величии. Он запел что-то и снова посмотрел на часы.

— Вот я так уж никогда туда не поеду, — продолжал Тросенко, не обращая внимания на насупившегося майора, — я и ходить и говорить-то по-русскому отвык. Скажут: что за чудо такая приехало? Сказано, Азия. Так, Николай Федорыч?.. Да и что мне в России! Все равно тут когда-нибудь подстрелят. Спросят: где Тросенко? — подстрелили. Что вы тогда с восьмой ротой сделаете... а? — прибавил он, обращаясь постоянно к майору.

— Послать дежурного по батальону! — крикнул Кирсанов, не отвечая капитану, хотя, я опять уверен был, ему не нужно было отдавать никаких приказаний.

— А вы, я думаю, теперь рады, молодой человек, что на двойном окладе? — сказал майор после нескольких минут молчания батальонному адъютанту.

— Как же-с, очень-с.

— Я нахожу, что наше жалованье теперь очень большое, Николай Федорыч, — продолжал он, — молодому человеку можно жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь маленькую.

— Нет, право, Абрам Ильич, — робко сказал адъютант, — хоть оно и двойное, а только что так... ведь лошадь надо иметь...

— Что вы мне говорите, молодой человек! я сам прапорщиком был и знаю. Поверьте, с порядком жить очень

можно. Да вот вам, сочтите, — прибавил он, загибая мизинец левой руки.

— Всё вперед жалованье забираем — вот вам и счет, — сказал Тросенко, выпивая рюмку водки.

— Ну, да ведь на это что же вы хотите... что?

В это время в отверстие балагана всунулась белая голова со сплюснутым носом, и резкий голос с немецким выговором сказал:

— Вы здесь, Абрам Ильич? а дежурный ищет вас.

— Заходите, Крафт! — сказал Болхов.

Длинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки.

— А, милый капитан! и вы тут? — сказал он, обращаясь к Тросенке.

Новый гость, несмотря на темноту, пролез до него и, к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и неудовольствию капитана, поцеловал его в губы.

«Это немец, который хочет быть хорошим товарищем», — подумал я.

XII

Предположение мое тотчас же подтвердилось. Капитан Крафт попросил водки, назвав ее *горилкой,* и ужасно крякнул и закинул голову, выпивая рюмку.

— Что, господа, поколесовали мы нынче по равнинам Чечни... — начал было он, но, увидав дежурного офицера, тотчас замолчал, предоставив майору отдавать свои приказания.

— Что, вы обошли цепь?

— Обошел-с.

— А секреты высланы?

— Высланы-с.

— Так вы передайте приказание ротным командирам, чтоб были как можно осторожнее.

— Слушаю-с.

Майор прищурил глаза и глубокомысленно задумался.

— Да скажите, что люди могут теперь варить кашу.

— Они уж варят.

— Хорошо. Можете идти-с.

— Ну-с, так вот мы считали, что нужно офицеру, —

продолжал майор, со снисходительной улыбкой обращаясь к нам. — Давайте считать.

— Нужно вам один мундир и брюки... так-с?

— Так-с.

— Это, положим, пятьдесят рублей на два года, стало быть, в год двадцать пять рублей на одежду; потом на еду, каждый день по два абаза... так-с?

— Так-с; это даже много.

— Ну, да я кладу. Ну, на лошадь с седлом для ремонта тридцать рублей — вот и всё. Выходит всего двадцать пять, да сто двадцать, да тридцать = сто семьдесят пять. Все вам остается еще на роскошь, на чай и на сахар, на табак рублей двадцать. Изволите видеть?.. Правда, Николай Федорыч!

— Нет-с. Позвольте, Абрам Ильич! — робко сказал адъютант, — ничего-с на чай и сахар не останется. Вы кладете одну пару на два года, а тут по походам панталон не наготовишься; а сапоги? я ведь почти каждый месяц пару истреплю-с. Потом-с белье-с, рубашки, полотенца, подвертки — все ведь это нужно купить-с. А как сочтешь, ничего не останется-с. Это, ей-богу-с, Абрам Ильич!

— Да, подвертки прекрасно носить, — сказал вдруг Крафт после минутного молчания, с особенной любовью произнося слово «подвертки», — знаете, просто, по-русски.

— Я вам скажу, — заметил Тросенко, — как ни считай, все выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем. Послужишь с мое, — продолжал он, обращаясь к прапорщику, — тоже выучишься жить. Ведь знаете, господа, как он с денщиками обращается.

И Тросенко, помирая со смеху, рассказал нам всю историю прапорщика с своим денщиком, хотя мы все ее тысячу раз слышали.

— Да ты что, брат, таким розаном смотришь? — продолжал он, обращаясь к прапорщику, который краснел, потел и улыбался, так что жалко было смотреть на него. — Ничего, брат, и я такой же был, как ты, а теперь, видишь, молодец стал. Пусти-ка сюда какого молодчика из России, — видали мы их, — так у него тут и спазмы и ревматизмы какие-то сделались бы; а я вот сел тут — мне здесь и дом, и постель, и всё. Видишь...

При этом он выпил еще рюмку водки.

— А? — прибавил он, пристально глядя в глаза Крафту.

— Вот это я уважаю! вот это истинно старый кавказец! Позвольте вашу руку.

И Крафт растолкал всех нас, продрался к Тросенко и, схватив его руку, потряс ее с особенным чувством.

— Да, мы можем сказать, что испытали здесь всего, — продолжал он, — в сорок пятом году... ведь вы изволили быть там, капитан? Помните ночь с двенадцатого на тринадцатое, когда по коленки в грязи ночевали, а на другой день пошли на завалы? Я тогда был при главнокомандующем, и мы пятнадцать завалов взяли в один день. Помните, капитан?

Тросенко сделал головой знак согласия и, выдвинув вперед нижнюю губу, зажмурился.

— Изволите видеть... — начал Крафт чрезвычайно одушевленно, делая руками неуместные жесты и обращаясь к майору.

Но майор, должно быть, неоднократно слышавший уже этот рассказ, вдруг сделал такие мутные, тупые глаза, глядя на своего собеседника, что Крафт отвернулся от него и обратился ко мне и Болхову, попеременно глядя то на того, то на другого. На Тросенку же он ни разу не взглянул во время всего своего рассказа.

— Вот изволите видеть, как вышли мы утром, главнокомандующий и говорит мне: «Крафт! возьми эти завалы». Знаете, наша военная служба, без рассуждений — руку к козырьку. «Слушаю, ваше сиятельство!» — и пошел. Только как мы подошли к первому завалу, я обернулся и говорю солдатам: «Ребята! не робеть! в оба смотреть! Кто отстанет, своей рукой изрублю». С русским солдатом, знаете, надо просто. Только вдруг граната... я смотрю, один солдат, другой солдат, третий солдат, потом пули... вжинь! вжинь! вжинь!.. Я говорю: «Вперед, ребята, за мной!» Только мы подошли, знаете, смотрим, я вижу тут, как это... знаете... как это называется? — и рассказчик замахал руками, отыскивая слово.

— Обрыв, — подсказал Болхов.

— Нет... Ах, как это? Боже мой! ну, как это?.. обрыв, — сказал он скоро. — Только ружья наперевес... ура! та-ра-та-та-та! Неприятеля ни души. Знаете, все удивились. Только хорошо: идем мы дальше — второй завал. Это совсем другое дело. У нас уж ретивое закипело, знаете,

Только подошли мы, смотрим, я вижу, второй завал — нельзя идти. Тут... как это, ну, как называется этакая... Ах! как это...

— Опять обрыв, — подсказал я.

— Совсем нет, — продолжал он с сердцем, — не обрыв, а... ну, вот, как это называется, — и он сделал рукой какой-то нелепый жест. — Ах, боже мой! как это...

Он, видимо, так мучился, что невольно хотелось подсказать ему.

— Река, может, — сказал Болхов.

— Нет, просто обрыв. Только мы туда, тут, поверите ли, такой огонь, ад...

В это время за балаганом кто-то спросил меня. Это был Максимов. А так как за прослушанием разнообразной истории двух завалов мне оставалось еще тринадцать, я рад был придраться к этому случаю, чтобы пойти к своему взводу. Тросенко вышел вместе со мной. «Все врет, — сказал он мне, когда мы на несколько шагов отошли от балагана, — его и не было вовсе на завалах», — и Тросенко так добродушно расхохотался, что и мне смешно стало.

XIII

Уже была темная ночь, и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошел к своим солдатам. Большой пень, тлея, лежал на углях. Вокруг него сидели только трое: Антонов, поворачивавший в огне котелок, в котором варился *рябко* [1], Жданов, хворостинкой задумчиво разгребавший золу, и Чикин с своей вечно нераскуренной трубочкой. Остальные уже расположились на отдых — кто под ящиками, кто в сене, кто около костров. При слабом свете углей я различал знакомые мне спины, ноги, головы; в числе последних был и рекрутик, который, придвинувшись к самому огню, казалось, спал уже. Антонов дал мне место. Я сел подле него и закурил папиросу. Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла сыпалась с мрачного неба.

Подле нас слышались мерное храпенье, треск сучьев в огне, легкий говор и изредка бряцанье ружей пехоты.

---

[1] Солдатское кушанье — моченые сухари с салом. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

Везде кругом пылали костры, освещая в небольшом круге вокруг себя черные тени солдат. Около ближайших костров я различал на освещенных местах фигуры голых солдат, над самым пламенем махающих своими рубахами. Еще много людей не спало, двигалось и говорило на пространстве пятнадцати квадратных сажен; но мрачная, глухая ночь давала свой особенный таинственный тон всему этому движению, как будто каждый чувствовал эту мрачную тишину и боялся нарушить ее спокойную гармонию. Когда я заговорил, я почувствовал, что мой голос звучит иначе; на лицах всех солдат, сидевших около огня, я читал то же настроение. Я думал, что до моего прихода они говорили о раненом товарище; но ничуть не бывало: Чикин рассказывал про приемку вещей в Тифлисе и про тамошних школьников.

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом полушубке, ездового, вылезающего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы, и фейерверкер двум солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я еще, в отряде 1852 года, один из молодых солдат к чему-то сказал во время дела, что уж, кажется, взводу не выйти отсюда, и как весь взвод со злобой напустился на него за такие

дурные слова, которые они и повторять не хотели. Вот теперь, когда у каждого в душе должна была быть мысль о Веленчуке и когда всякую секунду мог быть по нас залп подкравшихся татар, все слушали бойкий рассказ Чикина, и никто не упомянул ни о нынешнем деле, ни о предстоящей опасности, ни о раненом, как будто это было бог знает как давно или вовсе никогда не было. Но мне показалось только, что лица их были несколько пасмурнее обыкновенного; они не слишком внимательно слушали рассказ Чикина, и даже Чикин чувствовал, что его не слушают, но говорил уж так себе.

К костру подошел Максимов и сел подле меня. Чикин дал ему место, замолчал и снова начал сосать свою трубочку.

— Пехотные в лагерь за водкой посылали, — сказал Максимов после довольно долгого молчания, — сейчас воротились. — Он плюнул в огонь. — Унтер-офицер сказывал, нашего видали.

— Что, жив еще? — спросил Антонов, поворачивая котелок.

— Нет, помер.

Рекрутик вдруг поднял над огнем свою маленькую голову в красной шапочке, с минуту пристально посмотрел на Максимова и на меня, потом быстро опустил ее и закутался шинелью.

— Вишь, смерть-то недаром к нему поутру приходила, как я будил его в парке, — сказал Антонов.

— Пустое! — сказал Жданов, поворачивая тлеющий пень, — и все замолчали.

Среди общей тишины сзади нас послышался выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его и заиграли зорю. Когда затихла последняя дробь, Жданов первый встал и снял шапку. Мы все последовали его примеру.

Среди глубокой тишины ночи раздался стройный хор мужественных голосов:

— «Отче наш, иже еси на небесех! да святится имя твое; да приидет царствие твое; да будет воля твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

— Так-то у нас в сорок пятом году солдатик один в это место контужен был,— сказал Антонов, когда мы

надели шапки и сели опять около огня, — так мы его два дня на орудии возили... помнишь Шевченку, Жданов?.. да так и оставили там под деревом.

В это время пехотный солдат, с огромными бакенбардами и усами, с ружьем и сумкой подошел к нашему костру.

— Позвольте, землячки, огоньку, закурить трубочку, — сказал он.

— Что ж, закуривайте: огню достаточно, — заметил Чикин.

— Это, верно, про Дарги, земляк, сказываете? — обратился пехотный к Антонову.

— Про сорок пятый год, про Дарги, — ответил Антонов.

Пехотный покачал головой, зажмурился и присел около нас на корточки.

— Да уж было там всего, — заметил он.

— Отчего ж бросили? — спросил я Антонова.

— От живота крепко мучился. Как стоим, бывало, ничего, а как тронемся, то криком кричит. Богом просил, чтоб оставили, да все жалко было. Ну, а как *он* стал нас уж крепко донимать, трех людей у нас убил в орудии, офицера убил, да и от батареи своей отбились мы как-то. Беда! совсем не думали орудия увезти. Грязь же была.

— Пуще всего, что под Индейской горой грязно было, — заметил какой-то солдат.

— Да, вот там-то ему пуще хуже стало. Подумали мы с Аношенкой, — старый фирверкин был, — что ж в самом деле, живому ему не быть, а богом просит — оставим, мол, его здесь. Так и порешили. Древо росла там ветлеватая такая. Взяли мы сухариков моченых ему положили — у Жданова были, — прислонили его к древу к этому, надели на него рубаху чистую, простились как следует, да так и оставили.

— И важный солдат был?

— Ничего солдат был, — заметил Жданов.

— И что с ним сталось, бог его знает, — продолжал Антонов. — Много там всякого нашего брата осталось.

— В Даргах-то? — сказал пехотный, вставая и расковыривая трубку и снова зажмурившись и покачивая головой, — уж было там всего.

И он отошел от нас.

— А что, много еще у нас в батарее солдат, которые в Дарго были? — спросил я.

— Да что? вот Жданов, я, Пацан, что в отпуску теперь, да еще человек шесть есть. Больше не будет.

— А что, Пацан-то наш загулял в отпуску? — сказал Чикин, спуская ноги и укладываясь головой на бревно. — Почитай, год скоро, что его нет.

— А что, ты ходил в годовой? — спросил я у Жданова.

— Нет, не ходил, — отвечал он неохотно.

— Ведь хорошо идти, — сказал Антонов, — от богатого дома али когда сам в силах работать, так и идти лестно, и тебе дома рады будут.

— А то что идти, когда от двух братьев! — продолжал Жданов, — самим только бы прокормиться, а не нашего брата солдата кормить. Подмога плохая, как уж двадцать пять лет прослужил. Да и живы ли, кто е знает.

— А разве ты не писал? — спросил я.

— Как не писать! два письма послал, да все в ответ не присылают. Али померли, али так не посылают, что, значит, сами в бедности живут: так где тут!

— А давно ты писал?

— Пришедши с Даргов, писал последнее письмо.

— Да ты «березушку» спел бы,— сказал Жданов Антонову, который в это время, облокотясь на колени, мурлыкал какую-то песню.

Антонов запел «березушку».

— Эта что ни на есть самая любимая песня дяденьки Жданова, — сказал мне шепотом Чикин, дернув меня за шинель, — другой раз, как заиграет ее Филипп Антоныч, так он ажно плачет.

Жданов сидел сначала совершенно неподвижно, с глазами, устремленными на тлевшие уголья, и лицо его, освещенное красноватым светом, казалось чрезвычайно мрачным; потом скулы его под ушами стали двигаться все быстрее и быстрее, и наконец он встал и, разостлав шинель, лег в тени сзади костра. Или он ворочался и кряхтел, укладываясь спать, или же смерть Веленчука и эта печальная погода так настроили меня, но мне действительно показалось, что он плачет.

Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова, с его седыми усами, красной рожей и орденами на накинутой шинели, чьи-нибудь сапоги, голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная

мгла, в воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова; а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря — храпения, бряцания ружей часовых и тихого говора вторили ей.

— Вторая смена! Макатюк и Жданов! — крикнул Максимов.

Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям.

15 июня 1855 г.

СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет — все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая стклянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п. — кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами, — причаливают и отчаливают от пристани.

— На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте, — предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди — старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырики, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

— Ваше благородие! прямо под Кистентина[1] держите, — скажет вам старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке, — вправо руля.

— А на нем пушки-то еще все, — заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

— А то как же: он новый, на нем Корнилов жил, — заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

— Вишь ты, где разорвало! — скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

— Это *он* с новой батареи нынче палит, — прибавит старик, равнодушно поплевывая на руку. — Ну, навались, Мишка, баркас перегоним. — И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то

[1] Корабль «Константин». *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристает между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: *сбитень горячий,* и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядры, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные ко́злы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки, — везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудия, — так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидающихся на крыльце бывшего Собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает чрез улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы

будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, — ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида и звуков с Северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками, — вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, — это дурное чувство, — идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли *смотреть* на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посредине постелей и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

— Ты куда ранен? — спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенесет их.

— В ногу, — отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена. — Слава богу теперь, — прибавляет он, — на выписку хочу.

— А давно ты уже ранен?

— Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

— Что же, болит у тебя теперь?

— Нет, теперь не болит, ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

— Как же ты это был ранен?

— На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

— Неужели больно не было в эту первую минуту?

— Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

— Ну, а потом?

— И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много:* как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

— Это хозяйка моя, ваше благородие! — замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы ее извините. Известно, бабье дело — глупые слова говорит».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, — и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

— Ну, дай бог тебе поскорее поправиться, — говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который

лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

— Что̀, он без памяти? — спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

— Нет, еще слышит, да уж очень плох, — прибавляет она шепотом. — Я его нынче чаем поила — что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь, — так уж не пил почти.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

— У сердце гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она вылущена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец.

— Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, — скажет вам ваша путеводительница, — она мужу на бастион обедать носила.

— Что ж, отрезали?

— Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом

ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы...

«Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки — весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннею жизнью часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров. Купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры — все говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут

рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

— Черт возьми, как нынче у нас плохо! — говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

— Где у нас? — спрашивает его другой.

— На четвертом бастионе, — отвечает молоденький офицер, и вы непременно с бо́льшим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на четвертом бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя», — скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило», — скажет другой. «Кого это? Митюхина?» — «Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот канальи! — прибавит он к трактирному слуге. — Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой — в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордо», сидят два пехотных офицера: один, молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «Я иду на четвертый

бастион», — непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «Тебя бы поставить на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «Откуда?» — большей частью отвечают: «С четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин-камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадаются капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда ранен?» — носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или

сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас, — вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались в гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более что вы видите, *все идут по дороге*. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребами, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагороженным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи. Но везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль — жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, — слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» — думаете вы себе,

испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут — место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папиросу из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам, — но только, ежели вы его расспросите, — про бомбардированье пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро, шестого, он *палил*[1] из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразуры батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь как в тридцати — сорока саженях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на

---

[1] Моряки все говорят палить, а не стрелять. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель — *он,* как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке», — и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, — простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные о́рганы, но все существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть, — это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую *абразуру* попало; кажись, убило двух... вон понесли», — услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда», — скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «Пу-ушка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вкруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «Пушка!» — и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «Маркела!» [1] —

[1] Мортира. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, ощутительный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще поближе упали около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистыванье, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше; и в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!» — еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему орудию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь», — говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги...

. . . .

Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра, — идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, — это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа, — и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они всё могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, — о временах, когда этот герой, достойный древней Греции, — Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», — и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем! ура!» — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в Рос-

сии великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Севастополь. 1855 года, 25 апреля.

СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ

1

Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и с траншей на бастионы и ангел смерти не переставал парить над ними.

Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же — с невольным трепетом и суеверным страхом — смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту.

А вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью.

Мне часто приходила странная мысль: что̀, ежели бы одна воюющая сторона предложила другой — выслать из каждой армии по одному солдату? Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его? Потом выслать другого, с каждой стороны, потом третьего, четвертого и т. д., до тех пор, пока осталось бы по одному

солдату в каждой армии (предполагая, что армии равносильны и что количество было бы заменяемо качеством). И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы между разумными представителями разумных созданий должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата — один бы осаждал город, другой бы защищал его.

Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между восемьюдесятью тысячами воюющих против восьмидесяти тысяч? Отчего не сто тридцать пять тысяч против ста тридцати пяти тысяч? Отчего не двадцать тысяч против двадцати тысяч? Отчего не двадцать против двадцати? Отчего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать.

2

В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город — на Николаевскую казарму и, одинаково радостно светя для всех, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском.

Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, настроенных на левой стороне Морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен — длинноног, неловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лиловатого цвета шинель, из-под борта которой виднелась

золотая цепочка часов; панталоны со штрипками и чистые, блестящие, хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги, — но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны, опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартермистр полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии. Он действительно был перешедший из кавалерии и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспомнил одно место письма, в котором товарищ пишет:

«Когда приносят нам «Инвалид», то *Пупка* (так отставной улан называл жену свою) бросается опрометью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на *эс* в *беседку,* в *гостиную* (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе), и с таким жаром читает *ваши* геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: «Вот Михайлов, — говорит она, — так это *душка человек*, я готова расцеловать его, когда увижу, — он *сражается на бастионах* и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут», и т. д., и т. д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе». В другом месте он пишет: «До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе *барышни с музыкой* рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга (он у министра, по особым порученьям, премилый человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас *рисурс,* что ты себе представить не можешь) — так он говорит наверно, что наши заняли Евпаторию, *так что французам нет уже сообщения с Балаклавой,* и что у нас при этом убито двести человек, а у французов до пятнадцати тысяч. Жена была в таком восторге по этому случаю, что *кутила* целую ночь, и говорит,

что ты, наверное, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился...»

Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель, верно, составил себе истинное и невыгодное понятие в отношении порядочности о самом штабс-капитане Михайлове, на стоптанных сапогах, о товарище его, который пишет *рисурс* и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на *эсе* (может быть, даже и не без основания вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями), и вообще о всем этом праздном грязненьком провинциальном презренном для него круге, штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге и как он сиживал, бывало, с ним по вечерам в беседке и говорил о *чувстве,* вспомнил о добром товарище-улане, как он сердился и ремизился, когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним, — вспомнил о дружбе к себе этих людей (может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга): все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно-сладком, отрадно-розовом цвете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана, в котором лежало это *милое* для него письмо. Эти воспоминания имели тем большую прелесть для штабс-капитана Михайлова, что тот круг, в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде, как кавалерист и дамский кавалер, везде хорошо принятый в городе Т.

Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда в минуты откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодушно-недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное — «пускай говорит», мол, и что ежели он не выказывал явного презрения к кутежу товарищей — водкой, к игре по четверти копейки на старые карты, и вообще к грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера.

От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. «Каково будет удивление

и радость Наташи, — думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулочку, — когда она вдруг прочтет в «Инвалиде» описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк... подполковник... Анну на шею... полковник...» — и он был уже генералом, удостаивающим посещения Наташу, вдову товарища, который, по его мечтам, умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки яснее долетели до его слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс-капитаном, ничего не значащим, неловким и робким.

3

Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо пюпитров другие солдаты того же полка, раскрывши, держали ноты и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офицеры в *старых* шинелях. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины, изредка в шляпках, большей частью в платочках (были и без платочков и без шляпок), но ни одной не было старой, а замечательно, что все молодые. Внизу по тенистым пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы.

Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитанов Обжогова и Сусликова, которые с горячностью пожали ему руку, но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шинели и с таким красным, вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках, из которых с одним — с адъютантом — штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим — штаб-офицером — мог бы

кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого. Притом же, что веселого ему было гулять с этими господами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел *на музыку*.

Ему бы хотелось подойти к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими господами совсем не для того, чтобы капитаны Обжогов и Сусликов, и поручик Паштецкий, и другие видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости — порассказали бы...

Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается подойти к ним? «Что, ежели они вдруг мне не поклонятся, — думает он, — или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между *аристократами?»* Слово *аристократы* (в смысле высшего отборного круга, в каком бы то ни было сословии) получило у нас в России, где бы, кажется, вовсе не должно было быть его, с некоторого времени большую популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времени и обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка?), — между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратов, в Мамадыши, в Винницы, везде, где есть люди. А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславия много, то есть и *аристократы,* несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого *аристократа и неаристократа*.

Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов *аристократ,* потому что у него чистая шинель и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного; для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин *аристократ,* потому что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом, и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нордов *аристократ,* и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасное слово *аристократ*. Зачем подпоручик Зобов так принужденно смеется, хотя ничего нет смешного, проходя мимо своего товарища, который сидит с штаб-офицером? Чтобы доказать этим, что, хотя он и не *аристократ,* но все-таки нисколько не хуже их. Зачем штаб-офицер говорит таким сла-

бым, лениво-грустным, не своим голосом? Чтоб доказать своему собеседнику, что он *аристократ* и очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем юнкер так размахивает руками и подмигивает, идя за барыней, которую он в первый раз видит и к которой он ни за что не решится подойти? Чтоб показать всем офицерам, что, несмотря на то, что он им шапку снимает, он все-таки *аристократ* и ему очень весело. Зачем артиллерийский капитан так грубо обошелся с добродушным ординарцем? Чтобы доказать всем, что он никогда не заискивает и в *аристократах* не нуждается, и т. д., и т. д., и т. д.

Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде — даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей: одних — принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других — принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих — бессознательно, рабски действующих под его влиянием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть «Снобсов» и «Тщеславия»?

Штабс-капитан Михайлов два раза в нерешительности прошел мимо кружка *своих аристократов,* в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли четыре офицера: адъютант Калугин, знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко *аристократом* для самого Калугина, подполковник Нефердов, один из так называемых *ста двадцати двух* светских людей, поступивших на службу из отставки под влиянием отчасти патриотизма, отчасти честолюбия и, главное, того, что *все* это делали; старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, ничего не делающих, ничего не понимающих и осуждающих все распоряжения начальства, и ротмистр Праскухин, тоже один из ста двадцати двух героев. К счастию Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа (генерал только что поговорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петер-

бурга, остановился у него), он счел не унизительным подать руку штабс-капитану Михайлову, чего не решился, однако, сделать Праскухин, весьма часто встречавшийся на бастионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку и даже должный ему по преферансу двенадцать рублей с полтиной. Не зная еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотелось изобличить перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном; он слегка поклонился ему.

— Что, капитан, — сказал Калугин, — когда опять на баксиончик? Помните, как мы с вами встретились на Шварцовском редуте, — жарко было? а?

— Да, жарко, — сказал Михайлов, с прискорбием вспоминая о том, какая у него была печальная фигура, когда он в ту ночь, согнувшись, пробираясь по траншее на бастион, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей.

— Мне, по-настоящему, приходится завтра идти, но у нас болен, — продолжал Михайлов, — один офицер, так... — Он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир восьмой роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшитшетского и потому шел нынче на бастион. Калугин не дослушал его.

— А я чувствую, что на днях что-нибудь будет, — сказал он князю Гальцину.

— А что, не будет ли нынче чего-нибудь? — робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. Князь Гальцин только сморщился как-то, пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав немного, сказал:

— Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее не знаете, капитан?

— Это около моей квартиры дочь одного матроса, — отвечал штабс-капитан.

— Пойдемте посмотрим ее хорошенько.

И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо.

Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился большим развратником, чему, видимо,

не верили князь Гальцин и Калугин и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошка. Праскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке; но так как вчетвером нельзя было идти по дорожке, он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известно храброго морского офицера Сервягина, желавшего тоже присоединиться к кружку *аристократов*. И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую, честную руку за локоть, всем и самому Сервягину хорошо известному за не слишком хорошего человека, Праскухину. Но когда Праскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с *этим* моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин, бывший вчера на четвертом бастионе и видевший от себя в двадцати шагах лопнувшую бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагая, что весьма много репутаций приобретается задаром, не обратил на Сервягина никакого внимания.

Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про *милое* письмо из Т., про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на бастион и, главное, про то, что в семь часов ему надо было быть дома. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и, наконец, совсем ушли от него. Но штабс-капитан все-таки был доволен и, проходя мимо юнкера барона Песта, который был особенно горд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже пятого бастиона, и считал себя вследствие этого героем, он нисколько не огорчился подозрительно-высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку.

4

Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидал свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою

старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную, с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним; увидал своего Никиту, который с взбудораженными сальными волосами, почесываясь, встал с полу; увидал свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион, и с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь идти с ротой в ложементы.

«Наверное, мне быть убитым нынче, — думал штабс-капитан, — я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшитшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, а непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то, верно, представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшитшетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира наверно. Ведь я уж тринадцатый раз иду на бастион. Ох, тринадцать! скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют; но надо же было кому-нибудь идти, нельзя с прапорщиком роте идти, а что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой *долг* был идти... да, *долг*. А есть предчувствие». Штабс-капитан забывал, что это предчувствие, в более или менее сильной степени, приходило ему каждый раз, как нужно было идти на бастион, и не знал, что то же, в более или менее сильной степени, предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через десять минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал (потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться богу), стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матушки и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из

сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук (старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен).

— Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать, этакой! — сердито сказал Михайлов.

— Чего спать? — проворчал Никита. — День-деньской бегаешь, как собака: умаешься небось, — а тут не засни еще.

— Ты опять пьян, я вижу.

— Не на ваши деньги напился, что попрекаете.

— Молчи, скотина! — крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже и с которым жил уже двенадцать лет.

— Скотина! скотина! — повторял слуга. — И что ругаетесь скотиной, сударь? Ведь теперь время какое? нехорошо ругать.

Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало.

— Ведь ты хоть кого выведешь из терпенья, Никита, — сказал он кротким голосом. — Письмо это к батюшке, на столе оставь так и не трогай, — прибавил он, краснея.

— Слушаю-с, — сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которое он выпил, как говорил, *«на свои деньги»*, и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами.

Когда же на крыльце штабс-капитан сказал: «Прощай, Никита!» — то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин!» — всхлипывая, говорил он.

Старуха матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что господа, и те какие муки принимают, и что она, бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе: как ее мужа убили еще в первую *бандировку* и как ее домишко весь разбили (тот, в котором она жила, принадлежал не ей), и т. д., и т. д. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а напротив,

побранился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила.

«А может быть, только ранят, — рассуждал сам с собою штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону. — Но куда? как? сюда или сюда? — думал он, мысленно указывая на живот и на грудь. — Вот ежели бы сюда, — он думал о верхней части ноги, — да кругом бы обошла. Ну, а как сюда да осколком — кончено!»

Штабс-капитан, однако, сгибаясь, по траншеям благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером, уже в совершенной темноте, людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая; только изредка вспыхивали то у нас, то у *него* молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолившись богу, хотел заснуть немного.

5

Князь Гальцин, подполковник Нефердов, юнкер барон Пест, который встретил их на бульваре, и Праскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, все с бульвара пошли пить чай к Калугину.

— Ну так ты мне не досказал про Ваську Менделя, — говорил Калугин, сняв шинель, сидя около окна на мягком, покойном кресле и расстегивая воротник чистой крахмальной голландской рубашки, — как же он женился?

— Умора, братец! Je vous dis, il y avait un temps où on ne parlait que de ça à Pétersbourg [1], — сказал, смеясь, князь Гальцин, вскакивая от фортепьян, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина, — просто умора. Уж я все это знаю подробно. — И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим потому, что она для нас не интересна.

Но замечательно то, что не только князь Гальцин,

[1] Я вам говорю, что одно время только об этом и говорили в Петербурге *(франц.)*.

но и все эти господа, расположившись здесь кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепьянами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре: не было этой смешной надутости, высокомерности, которые они выказывали пехотным офицерам; здесь они были между своими в натуре, и особенно Калугин и князь Гальцин, очень милыми, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых.

— Что Масловский?

— Который? лейб-улан или конногвардеец?

— Я их обоих знаю. Конногвардеец при мне мальчишка был, только что из школы вышел. Что старший — ротмистр?

— О! уж давно.

— Что, все возится с своей цыганкой?

— Нет, бросил, — и т. д. в этом роде.

Потом князь Гальцин сел к фортепьянам и славно спел цыганскую песенку. Праскухин, хотя никто не просил его, стал вторить, и так хорошо, что его уж просили вторить, чему он был очень доволен.

Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе.

— Подай князю, — сказал Калугин.

— А ведь странно подумать,— сказал Гальцин, взяв стакан и отходя к окну,— что мы здесь в осажденном городе: *фортаплясы,* чай со сливками, квартира такая, что я, право, желал бы такую иметь в Петербурге.

— Да уж ежели бы еще этого не было, — сказал всем недовольный старый подполковник, — просто было бы невыносимо это постоянное ожидание чего-то... видеть, как каждый день бьют, бьют — и все нет конца, ежели при этом бы жить в грязи и не было бы удобств.

— А как же наши пехотные офицеры, — сказал Калугин, — которые живут на бастионах с солдатами, в блиндаже и едят солдатский борщ, — как им-то?

— Вот этого я не понимаю и, признаюсь, не могу верить, — сказал Гальцин, — чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, cette belle bravoure de gentilhomme [1], — не может быть.

— Да они и не понимают этой храбрости, — сказал Праскухин.

---

[1] этой прекрасной храбрости дворянина *(франц.)*.

— Ну что ты говоришь пустяки, — сердито перебил Калугин, — уж я видел их здесь больше тебя и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры хоть, правда, во вшах и по десять дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди.

В это время в комнату вошел пехотный офицер.

— Я... мне приказано... я могу ли явиться к ген... к его превосходительству от генерала NN.? — спросил он, робея и кланяясь.

Калугин встал, но, не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой спросил офицера, не угодно ли *им* подождать, и, не попросив его сесть и не обращая на него больше внимания, повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посередине комнаты, решительно не знал, что делать с своей персоной и руками без перчаток, которые висели перед ним.

— По крайне нужному делу-с, — сказал офицер после минутного молчания.

— А! так пожалуйте, — сказал Калугин с той же оскорбительной улыбкой, надевая шинель и провожая его к двери.

— Eh bien, messieurs, je crois que cela chauffera cette nuit[1], — сказал Калугин, выходя от генерала.

— А? что? что? вылазка? — стали спрашивать все.

— Уж не знаю — сами увидите, — отвечал Калугин с таинственной улыбкой.

— Да ты мне скажи, — сказал барон Пест, — ведь ежели есть что-нибудь, так я должен идти с Т. полком на первую вылазку.

— Ну, так и иди с богом.

— И мой принципал на бастионе, стало быть, и мне надо идти, — сказал Праскухин, надевая саблю, но никто не отвечал ему: он сам должен был знать, идти ли ему или нет.

— Ничего не будет, уж я чувствую, — сказал барон Пест, с замиранием сердца думая о предстоящем деле, но лихо набок надевая фуражку и громкими твердыми шагами выходя из комнаты вместе с Праскухиным и Нефердовым, которые тоже с тяжелым чувством страха торопились к своим местам. «Прощайте, господа». — «До свиданья, господа! еще нынче ночью увидимся», — прокричал

[1] Ну, господа, нынче ночью, кажется, будет жарко *(франц.)*.

Калугин из окошка, когда Праскухин и Пест, нагнувшись на луки казачьих седел, должно быть, воображая себя казаками, прорысили по дороге.

— Да, немножко! — прокричал юнкер, который не разобрал, что ему говорили, и топот казачьих лошадок скоро стих в темной улице.

— Non, dites moi, est-ce qu'il y aura véritablement quelque chose cette nuit? [1] — сказал Гальцин, лежа с Калугиным на окошке и глядя на бомбы, которые поднимались над бастионами.

— Тебе я могу рассказать, видишь ли, ведь ты был на бастионах? (Гальцин сделал знак согласия, хотя он был только раз на четвертом бастионе.) Так против нашего люнета была траншея, — и Калугин, как человек неспециальный, хотя и считавший свои военные суждения весьма верными, начал, немного запутанно и перевирая фортификационные выражения, рассказывать положение наших и неприятельских работ и план предполагавшегося дела.

— Однако начинают попукивать около ложементов. Ого! Это наша или *его?* вон лопнула, — говорили они, лежа на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающиеся в воздухе, на молнии выстрелов, на мгновение освещавшие темно-синее небо, и белый дым пороха и прислушиваясь к звукам все усиливающейся и усиливающейся стрельбы.

— Quel charmant coup d'oeil! [2] а? — сказал Калугин, обращая внимание своего гостя на это действительно красивое зрелище. — Знаешь, звезды не различишь от бомбы иногда.

— Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась, вот лопнула, а эта большая звезда — как ее зовут? — точно как бомба.

— Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что, я уверен, в России в звездную ночь мне будет казаться, что это всё бомбы: так привыкнешь.

— Однако не пойти ли мне на эту вылазку? — сказал князь Гальцин после минутного молчания, содрогаясь при одной мысли быть *там* во время такой страшной канонады и с наслаждением думая о том, что его ни в каком случае не могут послать туда ночью.

---

[1] Нет, скажите: правда, нынче ночью что-нибудь будет? *(франц.)*

[2] Какой красивый вид! *(франц.)*

— Полно, братец! и не думай, да и я тебя не пущу, — отвечал Калугин, очень хорошо зная, однако, что Гальцин ни за что не пойдет туда. — Еще успеешь, братец!

— Серьезно? Так думаешь, что не надо ходить? а?

В это время в том направлении, по которому смотрели эти господа, за артиллерийским гулом послышалась ужасная трескотня ружей, и тысячи маленьких огней, беспрестанно вспыхивая, заблестели по всей линии.

— Вот оно когда пошло настоящее! — сказал Калугин. — Этого звука ружейного я слышать не могу хладнокровно, как-то, знаешь, за душу берет. Вон и «ура», — прибавил он, прислушиваясь к дальнему протяжному гулу сотен голосов: «а-а-а-а-а» — доносившихся до него с бастиона.

— Чье это «ура»? их или наше?

— Не знаю, но это уж рукопашная пошла, потому что стрельба затихла.

В это время под окном, к крыльцу, подскакал ординарец офицер с казаком и слез с лошади.

— Откуда?

— С бастиона. Генерала нужно.

— Пойдемте. Ну что?

— Атаковали ложементы... заняли... французы подвели огромные резервы... атаковали наших... было только два батальона, — говорил, запыхавшись, тот же самый офицер, который приходил вечером, с трудом переводя дух, но совершенно развязно направляясь к двери.

— Что ж, отступили? — спросил Гальцин.

— Нет, — сердито отвечал офицер, — подоспел батальон, отбили, но полковой командир убит, офицеров много, приказано просить подкрепления...

И с этими словами он с Калугиным прошел к генералу, куда уже мы не последуем за ними.

Через пять минут Калугин сидел верхом на казачьей лошади (и опять той особенной quasi-казацкой посадкой, в которой, я замечал, все адъютанты видят почему-то что-то особенно приятное) и рысцой ехал на бастион, с тем чтобы передать туда некоторые приказания и дождаться известий об окончательном результате дела; а князь Гальцин, под влиянием того тяжелого волнения, которое производят обыкновенно близкие признаки дела на зрителя, не принимающего в нем участия, вышел на улицу и без всякой цели стал взад и вперед ходить по ней.

6

Толпы солдат несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно; только редко, редко где светились окна в гошпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейной перепалки, и те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышался топот лошади проскакавшего ординарца, стон раненого, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крылечко посмотреть на канонаду.

В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и десятилетняя дочь ее.

— Господи, мати пресвятыя богородицы! — говорила в себя и вздыхая старуха, глядя на бомбы, которые, как огненные мячики, беспрестанно перелетали с одной стороны на другую. — Страсти-то, страсти какие! И-и-хи-хи. Такого и в первую бандировку не было. Вишь, где лопнула проклятая, — прямо над нашим домом в слободке.

— Нет, это дальше, к тетиньке Аринке в сад всё попадают, — сказала девочка.

— И где-то, где-то барин мой таперича? — сказал Никита нараспев и еще пьяный немного. — Уж как я люблю евтого барина своего, так сам не знаю. Он меня бьеть, а все-таки я его ужасно как люблю. Так люблю, что если, избави бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли, тетинька, я после евтого сам не знаю, что могу над собой произвести. Ей-богу! Уж такой барин, что одно слово! Разве с евтими сменить, что тут в карты играють, — это что — тьфу! — одно слово! — заключил Никита, указывая на светящееся окно комнаты барина, в которой во время отсутствия штабс-капитана юнкер Жвадческий позвал к себе на кутеж, по случаю получения креста, гостей: подпоручика Угровича и поручика Непшитшетского, того самого, которому надо было идти на бастион и который был нездоров флюсом.

— Звездочки-то, звездочки так и катятся, — глядя на небо, прервала девочка молчание, последовавшее за словами Никиты, — вон, вон еще скатилась! К чему это так? а, маынька?

— Совсем разобьют домишко наш, — сказала старуха, вздыхая и не отвечая на вопрос девочки.

— А как мы нынче с дяинькой ходили туда, маынька, — продолжала певучим голосом разговорившаяся девочка, — так большущая такая ядро в самой комнатке подле шкапа лежит; она сенцы, видно, пробила да в горницу и влетела. Такая большущая, что не поднимешь.

— У кого были мужья да деньги, так повыехали, — говорила старуха, — а тут — ох, горе-то, горе, последний домишко и тот разбили. Вишь как, вишь как палит злодей! Господи, господи!

— А как нам только выходить, как одна бомба прилети-и-ит, как лопни-и-ит, как засыпи-и-ит землею, так даже чуть-чуть нас с дяинькой одним оскретком не задело.

— Крест ей за это надо, — сказал юнкер, который вместе с офицерами вышел в это время на крыльцо посмотреть на перепалку.

— Ты сходи до генерала, старуха, — сказал поручик Непшитшетский, трепля ее по плечу, — право!

— Pójdę na ulicę zobaczyć co tam nowego [1], — прибавил он, спускаясь с лесенки.

— A my tym czasem napijmy się wódki, bo coś dusza w pięty ucieka [2], — сказал, смеясь, веселый юнкер Жвадческий.

7

Все больше и больше раненых на носилках и пешком, поддерживаемых одни другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гальцину.

— Как они подскочили, братцы мои, — говорил басом один высокий солдат, несший два ружья за плечами, — как подскочили, как крикнут: алла, алла! [3] так-так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут — ничего не сделаешь. Видимо-невидимо...

Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его.

— Ты с бастиона?

---

[1] Сходить на улицу, узнать, что там новенького *(польск.)*. — *Перев. Л. Н. Толстого.*

[2] А мы тем часом кнаксик сделаем, а то что-то уж очень страшно *(польск.)* — *Перев. Л. Н. Толстого.*

[3] Наши солдаты, воюя с турками, так привыкли к этому крику врагов, что теперь всегда рассказывают, что французы тоже кричат «алла!». *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

— Так точно, ваше благородие.

— Ну, что там было? Расскажи.

— Да что было? Подступила их, ваше благородие, *сила,* лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие!

— Как одолели? Да ведь вы отбили же?

— Где тут отбить, когда *его* вся *сила* подошла: перебил всех наших, а сикурсу не подают. (Солдат ошибался, потому что траншея была за нами, но это — странность, которую всякий может заметить: солдат, раненный в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным.)

— Как же мне говорили, что отбили, — с досадой сказал Гальцин.

В это время поручик Непшитшетский в темноте, по белой фуражке, узнав князя Гальцина и желая воспользоваться случаем, чтобы поговорить с таким важным человеком, подошел к нему.

— Не изволите ли знать, что это такое было? — спросил он учтиво, дотрогиваясь рукою до козырька.

— Я сам расспрашиваю, — сказал князь Гальцин и снова обратился к солдату с двумя ружьями, — может быть, после тебя отбили? Ты давно оттуда?

— Сейчас, ваше благородие! — отвечал солдат. — Вряд ли, должно, за ним траншея осталась, — совсем одолел.

— Ну, как вам не стыдно — отдали траншею. Это ужасно! — сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием. — Как вам не стыдно! — повторил он, отворачиваясь от солдата.

— О! это ужасный народ! Вы их не изволите знать, — подхватил поручик Непшитшетский, — я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут десятой доли нет раненых, а то всё *асистенты,* только бы уйти с дела. Подлый народ! Срам так поступать, ребята, срам! Отдать *нашу* траншею! — добавил он, обращаясь к солдатам.

— Что ж, когда *сила!* — проворчал солдат.

— И! ваши благородия, — заговорил в это время солдат с носилок, поравнявшихся с ними, — как же не отдать, когда перебил всех почитай? Кабы наша сила была, ни в жисть бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит... О-ох, легче, братцы, ровнее, братцы, ровней иди... о-о-о! — застонал раненый.

— А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет, — сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями. — Ты зачем идешь? Эй ты, остановись!

Солдат остановился и левой рукой снял шапку.

— Куда ты идешь и зачем? — закричал он на него строго. — Него...

Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.

— Ранен, ваше благородие!

— Чем ранен?

— Сюда-то, должно, пулей, — сказал солдат, указывая на руку, — а уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло, — и, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волоса на затылке.

— А ружье другое чье?

— Стуцер французской, ваше благородие, отнял; да я бы не пошел, кабы не евтого солдатика проводить, а то упадет неравно, — прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу.

— А ты *где* идешь, мерзавец! — крикнул поручик Непшитшетский на другого солдата, который попался ему навстречу, желая своим рвением прислужиться важному князю. Солдат тоже был ранен.

Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшитшетского и еще больше за себя. Он почувствовал, что краснеет — что редко с ним случалось, — отвернулся от поручика и, уже больше не расспрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт.

С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!

8

Большая, высокая темная зала — освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, — была буквально полна.

Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячечное дыхание нескольких сотен человек и испарения рабочих с носилками производили какой-то особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели четыре свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. *Сестры,* с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами. Доктора, с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже пятьсот тридцать второго.

— Иван Богаев, рядовой третьей роты С. полка, fractura femoris complicata [1], — кричал другой из конца залы, ощупывая разбитую ногу. — Переверни-ка его.

— О-ой, отцы мои, вы наши отцы! — кричал солдат, умоляя, чтобы его не трогали.

— Perforatio capitis [2].

— Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то этак нельзя, я брошу, — говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.

— Ай, не надо! Ой, ради бога, скорее, скорее, ради... а-а-а-а!

— Perforatio pectoris... [3] Севастьян Середа, рядовой... какого полка?.. впрочем, не пишите: moritur [4]. Несите его, — сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже...

---

[1] осложненное раздробление бедра *(лат.).*
[2] Прободение черепа *(лат.).*
[3] Прободение грудной полости *(лат.).*
[4] умирает *(лат.).*

Человек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину...

. . . .

9

По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых; но, по опыту зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который, марш-марш, скакал с бастиона.

— Зобкин! Зобкин! Постойте на минутку.

— Ну, что?

— Вы откуда?

— Из ложементов.

— Ну как там? жарко?

— Ад, ужасно!

И ординарец поскакал дальше.

Действительно, хотя ружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением.

«Ах, скверно!» — подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль очень обыкновенная — мысль о смерти. Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется Наполеона, который, передав приказания, марш-марш, с окровавленной головой подскакал к Наполеону.

— Vous êtes blessé? [1] — сказал ему Наполеон.

— Je vous demande pardon, sire, je suis tué [2], — и адъютант упал с лошади и умер на месте.

Ему показалось, это очень хорошо, и он вообразил себя даже немножко этим адъютантом, потом ударил лошадь плетью, принял еще более лихую *казацкую посадку*, оглянулся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним, и совершенным молодцом приехал к тому месту, где

---

[1] Вы ранены? *(франц.)*

[2] Извините, государь, я убит *(франц.)*.

надо было слезать с лошади. Здесь он нашел четырех солдат, которые, усевшись на камушки, курили трубки.

— Что вы здесь делаете? — крикнул он на них.

— Раненого отводили, ваше благородие, да отдохнуть присели, — отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку.

— То-то отдохнуть! марш к своим местам, вот я полковому командиру скажу.

И он вместе с ними пошел по траншее в гору, на каждом шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один. Близехонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею. Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было.

Уже раз проникнув в душу, страх не скоро уступает место другому чувству; он, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. «Ах, нехорошо! — подумал он, спотыкнувшись, — непременно убьют», — и, чувствуя, как трудно дышалось ему и как пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не пытался преодолеть своего чувства.

Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом и первый крикнул ему: «Ложитесь!», указывая на светлую точку бомбы, которая, светлее и светлее, быстрее и быстрее приближаясь, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше.

— Вишь, какой бравый! — сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншее, — и ложиться не хочет.

Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира бастиона, как опять на него нашло затмение и этот глупый страх;

сердце забилось сильнее, кровь хлынула в голову, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа.

— Что вы так запыхались? — сказал генерал, когда он ему передал приказания.

— Шел скоро очень, ваше превосходительство!

— Не хотите ли вина стакан?

Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидел генерал N., командир бастиона и еще человек шесть офицеров, в числе которых был и Праскухин, и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнатке, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горит лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости; он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя.

— А вот я рад, что и вы здесь, капитан, — сказал он морскому офицеру в штаб-офицерской шинели, с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны. — Мне генерал приказал узнать, — продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом, — могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?

— Одно только орудие может, — угрюмо отвечал капитан.

— Все-таки пойдемте посмотрим.

Капитан нахмурился и сердито крякнул.

— Уж я всю ночь там простоял, пришел хоть отдохнуть немного,— сказал он,— нельзя ли вам одним сходить? там мой помощник, лейтенант Карц, вам всё покажет.

Капитан уже шесть месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей, — и даже, когда не было блиндажей, не выходя, с начала осады жил на бастионе и между *моряками* имел репутацию храбрости. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина.

«Вот репутации!» — подумал он.

— Ну, так я пойду один, если вы позволите, — сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания.

Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-навсего провел часов пятьдесят на бастионах, тогда как капитан жил там шесть месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие — желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска; капитан же уж прошел через все это — сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их, но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе: исполнял в точности свою обязанность, но, хорошо понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни, после шестимесячного пребывания на бастионе уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости, так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в амбразуры и вылезали на банкеты, казался в десять раз храбрее капитана.

Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который с своими ординарцами шел на вышку.

— Ротмистр Праскухин! — сказал генерал. — Сходите, пожалуйста, в правый ложемент и скажите второму батальону М. полка, который там на работе, чтоб он оставил работу, не шумя вышел оттуда и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве. Понимаете? Сами отведите к полку.

— Слушаю-с.

И Праскухин рысью побежал к ложементу.

Стрельба становилась реже.

10

— Это второй батальон М. полка? — спросил Праскухин, прибежав к месту и наткнувшись на солдат, которые в мешках носили землю.

— Так точно-с.

— Где командир?

Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямочки и, принимая Праскухина

за начальника, держа руку у козырька, подошел к нему.

— Генерал приказал... вам... извольте идти... поскорей... и главное потише... назад, не назад, а к резерву, — говорил Праскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля.

Узнав Праскухина, опустив руку и разобрав, в чем дело, Михайлов передал приказанье, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся.

Кто не испытал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя после трех часов бомбардированья из такого опасного места, как ложементы. Михайлов, в эти три часа уже несколько раз считавший свой конец неизбежным и несколько раз успевший перецеловать все образа, которые были на нем, под конец успокоился немного, под влиянием того убеждения, что его непременно убьют и что он уже не принадлежит этому миру. Несмотря ни на что, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Праскухиным, вышел из ложементов.

— До свиданья, — сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах и с которым они вместе закусывали мыльным сыром, сидя в ямочке около бруствера, — счастливого пути!

— И вам желаю счастливо отстоять; теперь, кажется, затихло.

Но только что он успел сказать это, как неприятель, должно быть, заметив движение в ложементах, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но не ярко блестели на небе; ночь была темна — хоть глаз выколи, — только огни выстрелов и разрыва бомб мгновенно освещали предметы. Солдаты шли скоро и молча и невольно перегоняя друг друга; только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдатика: «Господи, господи! что это такое!» Иногда слышался стон раненого и крики: «Носилки!» (В роте, которой командовал Михайлов, от одного артиллерийского огня выбыло в ночь двадцать шесть человек.) Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте, часовой с бастиона кричал: «Пу-уш-

ка!», и ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни.

«Черт возьми! как они тихо идут, — думал Праскухин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова, — право, лучше побегу вперед, ведь я передал приказанье... Впрочем, нет, ведь эта скотина может рассказывать потом, что я трус, почти так же, как я вчера про него рассказывал. Что будет, то будет — пойду рядом».

«И зачем он идет со мной, — думал с своей стороны Михайлов, — сколько я ни замечал, он всегда приносит несчастье; вот она еще летит прямо сюда, кажется».

Пройдя несколько сот шагов, они столкнулись с Калугиным, который, бодро побрякивая саблей, шел к ложементам, с тем чтобы, по приказанию генерала, узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что, чем ему самому под этим страшным огнем идти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить все подробно у офицера, который был там. И действительно, Михайлов подробно рассказал про работы, хотя во время рассказа и немало позабавил Калугина, который, казалось, никакого внимания не обращал на выстрелы, — тем, что при каждом снаряде, иногда падавшем и весьма далеко, приседал, нагибал голову и все уверял, что «это прямо сюда».

— Смотрите, капитан, это прямо сюда, — сказал, подшучивая, Калугин и толкая Праскухина. Пройдя еще немного с ними, он повернул в траншею, ведущую к блиндажу. «Нельзя сказать, чтобы он был очень храбр, этот капитан», — подумал он, входя в двери блиндажа.

— Ну, что новенького? — спросил офицер, который, ужиная, один сидел в комнате.

— Да ничего, кажется, что уж больше дела не будет.

— Как не будет? напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. Да вот она, слышите? опять пошла ружейная. Вы не ходите. Зачем вам? — прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин.

«А мне, по-настоящему, непременно надо там быть, — подумал Калугин, — но уж я и так нынче много подвергал себя. Надеюсь, что я нужен не для одной chair à canon» [1].

— И в самом деле, я их лучше тут подожду, — сказал он.

---

[1] пушечное мясо *(франц.)*.

Действительно, минут через двадцать генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем; в числе их был и юнкер барон Пест, но Праскухина не было. Ложементы были отбиты и заняты нами.

Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом вышел из блиндажа.

11

— У тебя шинель в крови: неужели ты дрался в рукопашном? — спросил его Калугин.

— Ах, братец, ужасно! можешь себе представить... — И Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир был убит, как он заколол француза и что ежели бы не он, то ничего бы не было и т. д.

Основания этого рассказа, что ротный командир был убит и что Пест убил француза, были справедливы; но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал.

Хвастал невольно, потому что, во время всего дела находясь в каком-то тумане и забытьи до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то, очень естественно, он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно.

Батальон, к которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки; потом батальонный командир впереди сказал что-то, ротные командиры зашевелились, батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов сто, остановился, построившись в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге второй роты.

Решительно не отдавая себе отчета, где и зачем он был, юнкер стал на место и с невольно сдержанным дыханием и холодной дрожью, пробегавшей по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему, впрочем, не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико, странно было подумать, что он находился вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шепотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла также, и Пест, ложась, наколол руку на какую-то колючку. Не лег только

один командир второй роты, его невысокая фигура, с вынутой шпагой, которой он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.

— Ребята! смотри, молодцами у меня! С ружей не палить, а штыками их, каналий. Когда я крикну «ура!» — за мной и не отставать... Дружней, главное дело... покажем себя, не ударим лицом в грязь, а, ребята? За царя, за батюшку! — говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками.

— Как фамилия нашего ротного командира? — спросил Пест у юнкера, который лежал рядом с ним. — Какой он храбрый!

— Да, как в дело, всегда — мертвецки, — отвечал юнкер, — Лисинковский его фамилия.

В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался ужаснейший треск, оглушил всю роту, и высоко в воздухе зашуршели камни и осколки (по крайней мере, секунд через пятьдесят один камень упал сверху и отбил ногу солдату). Это была бомба с *элевационного станка,* и то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну.

— Бомбами пускать! сукин сын... Дай только добраться, тогда попробуешь штыка трехгранного русского, проклятый! — заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много.

Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая — приказано было взять ружья наперевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли? куда? и кто, на что? Он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело мильон огней, засвистело, затрещало что-то; он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он спотыкнулся и упал на что-то — это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног, другой человек кричал: *«Коли его! что смотришь?»* Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. «Ah! Dieu!» [1] — закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза.

---

[1] О господи! *(франц.)*

Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и вместе с толпой, крича «ура», побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов двадцать, он прибежал в траншею. Там были наши и батальонный командир.

— А я заколол одного! — сказал он батальонному командиру.

— Молодцом, барон... . . . .
. . . .

12

— А знаешь, Праскухин убит, — сказал Пест, провожая Калугина, который шел к дому.

— Не может быть!

— Как же, я сам его видел.

— Прощай, однако, мне надо скорее.

«Я очень доволен, — думал Калугин, возвращаясь к дому, — в первый раз на мое дежурство счастие. Отличное дело, я — жив и цел, представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее».

Доложив генералу все, что нужно было, он пришел в свою комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин, читая «Splendeur et misères des courtisanes» [1], которую нашел на столе Калугина.

С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постели, уж рассказал Гальцину подробности дела, передавая их весьма естественно, — с той точки зрения, с которой подробности эти доказывали, что он, Калугин, весьма дельный и храбрый офицер, на что, мне кажется, излишне бы было намекать, потому что это все знали и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая,

---

[1] Одна из тех милых книг, которых развелось такая пропасть в последнее время и которые пользуются особенной популярностью почему-то между нашею молодежью. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

может быть, покойника ротмистра Праскухина, который, несмотря на то, что, бывало, считал за счастье ходить под руку с Калугиным, вчера только по секрету рассказывал одному приятелю, что Калугин очень хороший человек, но, между нами будь сказано, ужасно не любит ходить на бастионы.

Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидал молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услыхал крик часового: «Маркела!» — и слова одного из солдат, шедших сзади: «Как раз на батальон прилетит!»

Михайлов оглянулся: светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените — в том положении, когда решительно нельзя определить ее направления. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

— Ложись! — крикнул чей-то испуганный голос.

Михайлов упал на живот. Праскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом, — бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил, — может быть, бомба упала далеко и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидал, что Михайлов, которому он должен двенадцать рублей с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижимо, прижавшись к нему, лежал на брюхе. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой, в аршине от него, крутившейся бомбы.

Ужас — холодный, исключающий все другие мысли и чувства ужас — объял все существо его; он закрыл лицо руками и упал на колена.

Прошла еще секунда — секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

«Кого убьет — меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так все кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, — и я могу еще жив остаться. А может

быть, одного Михайлова убьет, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе — меня».

Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову; женщина, которую он любил, явилась ему в воображении, в чепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблен пять лет тому назад и которому не отплатил за оскорбленье, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего — ожидания смерти и ужаса — ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет», — подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в средину груди; он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

«Слава богу! Я только контужен», — было его первою мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди, — но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты — и он бессознательно считал их: «Один, два, три солдата, а вот в подвернутой шинели офицер», — думал он; потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки; а вот еще выстрелили, а вот еще солдаты — пять, шесть, семь солдат, идут всё мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его; он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди, — это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал», — подумал он, и, все более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «Возьмите меня», — но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, — и ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни всё прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его

больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди.

13

Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и так же зажмурился, так же два раза открывал и закрывал глаза и так же, как и Праскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала неразорванною. Он мысленно молился богу и все твердил: «Да будет воля твоя! И зачем я пошел в военную службу, — вместе с тем думал он, — и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании; не лучше ли было мне оставаться в уланском полку в городе Т., проводить время с моим другом Наташей... а теперь вот что!» И он начал считать: раз, два, три, четыре, загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив, а в нечет — то будет убит. «Все кончено! — убит!» — подумал он, когда бомбу разорвало (он не помнил, в чет или нечет), и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. «Господи, прости мои согрешения!» — проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь.

Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. «Это душа отходит, — подумал он, — что будет *там?* Господи! Приими дух мой с миром. Только одно странно, — рассуждал он, — что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов».

— Давай носилки — эй! ротного убило! — крикнул над его головой голос, который он невольно узнал за голос барабанщика Игнатьева.

Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидал над головой темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую, увидал Игнатьева, солдат с носилками и ружьями, вал траншеи и вдруг поверил, что он еще не на том свете.

Он был камнем легко ранен в голову. Самое первое впечатление его было как будто сожаление: он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу *туда,* что на него неприятно подействовало возвращение к действительности, с бомбами, траншеями, солдатами и кровью; второе впечатление его была бессознательная радость, что

он жив, и третье — страх и желание уйти скорей с бастиона. Барабанщик платком завязал голову своему командиру и, взяв его под руку, повел к перевязочному пункту.

«Куда и зачем я иду, однако? — подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного. — Мой долг оставаться с ротой, а не уходить вперед, тем более что и рота скоро выйдет из-под огня, — шепнул ему какой-то голос, — а с раной остаться в деле — непременно награда».

— Не нужно, братец, — сказал он, вырывая руку от услужливого барабанщика, которому, главное, самому хотелось поскорее выбраться отсюда, — я не пойду на перевязочный пункт, а останусь с ротой.

И он повернул назад.

— Вам бы лучше перевязаться, ваше благородие, как следует, — сказал робкий Игнатьев, — ведь это сгоряча она только оказывает, что ничего, а то хуже бы не сделать, ведь тут вон какая жарня идет... право, ваше благородие.

Михайлов остановился на минуту в нерешительности и, кажется, последовал бы совету Игнатьева, ежели бы не вспомнилась ему сцена, которую он на днях видел на перевязочном пункте: офицер с маленькой царапиной на руке пришел перевязываться, и доктора улыбались, глядя на него, и даже один — с бакенбардами — сказал ему, что он никак не умрет от этой раны и что вилкой можно больней уколоться.

«Может быть, так же недоверчиво улыбнутся и моей ране, да еще скажут что-нибудь», — подумал штабс-капитан и решительно, несмотря на доводы барабанщика, пошел назад к роте.

— А где ординарец Праскухин, который шел со мной? — спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились.

— Не знаю, убит, кажется, — неохотно отвечал прапорщик, который, между прочим, был очень недоволен, что штабс-капитан вернулся и тем лишил его удовольствия сказать, что он один офицер остался в роте.

— Убит или ранен? Как же вы не знаете, ведь он с нами шел. И отчего вы его не взяли?

— Где тут было брать, когда жарня этакая!

— Ах, как же вы это, Михал Иванович, — сказал Михайлов сердито, — как же бросить, ежели он жив; да и убит, так все-таки тело надо было взять, — как хотите, ведь он ординарец генерала и еще жив, может.

— Где жив, когда я вам говорю, я сам подходил и видел, — сказал прапорщик. — Помилуйте! только бы своих уносить. Вон стерва! ядрами теперь стал пускать, — прибавил он, приседая. Михайлов тоже присел и схватился за голову, которая от движенья ужасно заболела у него.

— Нет, непременно надо сходить взять: может быть, он еще жив, — сказал Михайлов. — Это наш *долг*, Михайло Иваныч!

Михайло Иваныч не отвечал.

«Вот ежели бы он был хороший офицер, он бы взял тогда, а теперь надо солдат посылать одних; а и посылать как? Под этим страшным огнем могут убить задаром», — думал Михайлов.

— Ребята! Надо сходить назад — взять офицера, что ранен там, в канаве, — сказал он не слишком громко и повелительно, чувствуя, как неприятно будет солдатам исполнять это приказанье, — и действительно, так как он ни к кому именно не обращался, никто не вышел, чтобы исполнить его.

— Унтер-офицер! Поди сюда.

Унтер-офицер, как будто не слыша, продолжал идти на своем месте.

«И точно, может, он уже умер и *не стоит* подвергать людей напрасной опасности, а виноват один я, что не позаботился. Схожу сам, узнаю, жив ли он. Это мой *долг»,* — сказал сам себе Михайлов.

— Михал Иваныч! Ведите роту, а я вас догоню, — сказал он и, одной рукой подобрав шинель, другой рукой дотрагиваясь беспрестанно до образка Митрофания-угодника, в которого он имел особенную веру, почти ползком и дрожа от страха, рысью побежал по траншее.

Убедившись в том, что товарищ его был убит, Михайлов, так же пыхтя, приседая и придерживая рукой сбившуюся повязку и голову, которая сильно начинала болеть у него, потащился назад. Батальон уже был под горой на месте и почти вне выстрелов, когда Михайлов догнал его. Я говорю: *почти* вне выстрелов, потому что изредка залетали и сюда шальные бомбы (осколком одной в эту ночь убит один капитан, который сидел во время дела в матросской землянке).

«Однако надо будет завтра сходить на перевязочный пункт записаться, — подумал штабс-капитан, в то время как пришедший фельдшер перевязывал его, — это поможет к представленью».

14

Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами, лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни Мертвых в Севастополе; сотни людей — с проклятиями и молитвами на пересохших устах — ползали, ворочались и стонали, — одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта; а все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило.

15

На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре, и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним аллеям из цветущих душистых белых акаций.

Калугин, князь Гальцин и какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. Главною путеводительною нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное выражение, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали и огорчали каждого, но, сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека (да и бывают ли в военном быту очень близкие люди?), это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело, с тем чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди. Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы. Да спросите по

совести прапорщика Петрушова и подпоручика Антонова и т. д., всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья.

— Нет, извините, — говорил полковник, — прежде началось на левом фланге. *Ведь я был там.*

— А может быть, — отвечал Калугин, — *я больше был на правом; я два раза туда ходил: один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы пошел. Вот где жарко было.*

— Да уж, верно, Калугин знает, — сказал полковнику князь Гальцин, — ты знаешь, *мне* нынче *В*... про тебя говорил, что ты молодцом.

— Потери только, потери ужасные, — сказал полковник тоном официальной печали, — *у меня в полку четыреста человек выбыло.* Удивительно, *как я жив вышел оттуда.*

В это время навстречу этим господам, на другом конце бульвара, показалась лиловатая фигура Михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он очень сконфузился, увидав их: ему вспомнилось, как он вчера приседал перед Калугиным, и пришло в голову, как бы они не подумали, что он притворяется раненым. Так что ежели бы эти господа не смотрели на него, то он бы сбежал вниз и ушел бы домой, с тем чтобы не выходить до тех пор, пока можно будет снять повязку.

— Il fallait voir dans quel état je l'ai rencontré hier sous le feu [1], — улыбнувшись, сказал Калугин в то время, как они сходились.

— Что, вы ранены, капитан? — сказал Калугин с улыбкой, которая значила: «Что, вы видели меня вчера? каков я?»

— Да, немножко, камнем, — отвечал Михайлов, краснея и с выражением на лице, которое говорило: «Видел, и признаюсь, что вы молодец, а я очень, очень плох».

— Est-ce que le pavillon est baissé déjà? [2] — спросил князь Гальцин опять с своим высокомерным выражением, глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь ни к кому в особенности.

---

[1] Надо было видеть, в каком состоянии я его встретил вчера под огнем *(франц.)*.

[2] Разве флаг уже спущен? *(франц.)*.

— Non pas encore[1], — отвечал Михайлов, которому хотелось показать, что он знает и поговорить по-французски.

— Неужели продолжается еще перемирие? — сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски и тем говоря, — как это показалось штабс-капитану, — что вам, должно быть, тяжело будет говорить по-французски, так не лучше ли уж просто?.. И с этим адъютанты отошли от него.

Штабс-капитан, так же как и вчера, почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись с разными господами — с одними не желая сходиться, а к другим не решаясь подойти, — сел около памятника Казарского и закурил папиросу.

Барон Пест тоже пришел на бульвар. Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, что будто один французский офицер сказал ему: «S'il n'avait pas fait clair encore pendant une demi-heure, les embuscades auraient été reprises»[2], и как он отвечал ему: «Monsieur! je ne dis pas non, pour ne pas vous donner un démenti»[3], и как хорошо он сказал и т. д.

В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего очень умного, хотя ему и ужасно хотелось поговорить с французами (ведь это ужасно весело говорить с французами). Юнкер барон Пест долго ходил по линии и все спрашивал французов, которые были близко к нему: «De quel régiment êtes-vous?»[4] Ему отвечали — и больше ничего. Когда же он зашел слишком далеко за линию, то французский часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его. «Il vient regarder nos travaux ce sacré c.....»[5], — сказал он. Вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и капитан Зобов, который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не за-

---

[1] Нет еще *(франц.)*.

[2] Если бы еще полчаса было темно, ложементы были бы вторично взяты *(франц.)*.

[3] Я не говорю нет, только чтобы вам не противоречить *(франц.)*.

[4] Какого вы полка? *(франц.)*

[5] Он идет смотреть наши работы, этот проклятый... *(франц.)*

пскивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица и всё с теми же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия. Недоставало только Праскухина, Нефердова и еще кой-кого, о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и о которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были или не забыли про них прежде.

— А я его не узнал было, старика-то, — говорит солдат на уборке тел, за плечи поднимая перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глянцевитым лицом и вывернутыми зрачками, — под спину берись, Морозка, а то как бы не перервался. Ишь, дух скверный!

«Ишь, дух скверный!» — вот все, что осталось между людьми от этого человека. . . . .

16

На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат без сапог, в серых и в синих одеждах, изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный, тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим.

Послушайте, что говорят между собой эти люди.

Вот в кружке собравшихся около него русских и французов молоденький офицер, хотя плохо, но достаточно хорошо, чтоб его понимали, говорящий по-французски, рассматривает гвардейскую сумку.

— Э сеси пуркуа се уазо иси? — говорит он.

— Parce que c'est une giberne d'un régiment de la garde, monsieur, qui porte l'aigle impérial.

— Э ву де ла гард?

— Pardon, monsieur, du sixième de ligne.

— Э сеси у аште? [1] — спрашивает офицер, указывая

---

[1] — Почему эта птица здесь?

— Потому что эта сумка гвардейского полка; у него императорский орел.

— А вы из гвардии?

— Нет, извините, сударь, из шестого линейного.

— А это где купили? *(франц.)*

на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу.

— A Balaclave, monsieur! C'est tout simple — en bois de palme [1].

— Жоли! — говорит офицер, руководимый в разговоре не столько собственным произволом, сколько словами, которые он знает.

— Si vous voulez bien garder cela comme souvenir de cette rencontre, vous m'obligerez [2]. — И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигарочницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе, как французы, так и русские, кажутся очень довольными и улыбаются.

Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами, стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубку и высыпает огня русскому.

— Табак *бун,* — говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.

— Oui, bon tabac, tabac turc, — говорит француз, — et chez vous tabac russe? bon? [3]

— Рус бун, — говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. — Франсе нет бун, бонжур, мусье, — говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет француза по животу и смеется. Французы тоже смеются.

— Ils ne sont pas jolis ces bêtes de russes [4], — говорит один зуав из толпы французов.

— De quoi de ce qu'ils rient donc? [5] — говорит другой черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.

— Кафтан бун, — говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.

---

[1] В Балаклаве. Это пустяк — из пальмового дерева *(франц.).*

[2] Вы меня обяжете, если оставите себе эту вещь на память о нашей встрече *(франц.).*

[3] Да, хороший табак, турецкий табак, — а у вас русский табак? хороший? *(франц.)*

[4] Они некрасивы, эти русские скоты *(франц.).*

[5] Чего это они смеются? *(франц.)*

— Ne sortez pas de la ligne, à vos places, sacré nom...... [1] — кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся.

А вот в кружке французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то comte Sazonoff, que j'ai beaucoup connu, monsieur [2], — говорит французский офицер с одним эполетом, — c'est un de ces vrais comtes russes, comme nous les aimons [3].

— Il y a un Sazonoff que j'ai connu, — говорит кавалерист, — mais il n'est pas comte, a moins que je sache, un petit brun de votre âge à peu près.

— C'est ça, monsieur, c'est lui. Oh, que je voudrais le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous pris bien de lui faire mes compliments. Capitaine Latour [4], — говорит он, кланяясь.

— N'est ce pas terrible la triste besogne, que nous faisons? Ça chauffait cette nuit, n'est-ce pas? [5] — говорит кавалерист, желая поддержать разговор и указывая на трупы.

— Oh, monsieur, c'est affreux! Mais quels gaillards vos soldats, quels gaillards! C'est un plaisir que de se battre contre des gaillards comme eux.

— Il faut avouer que les vôtres ne se mouchent pas du pied non plus [6], — говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он очень мил. Но довольно.

Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку, который в старом, должно быть, отцовском, картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддер-

---

[1] Не выходите за линию, по местам, черт возьми... *(франц.)*

[2] графе Сазонове, которого я хорошо знал, сударь *(франц.)*.

[3] это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим *(франц.)*.

[4] — Я знал одного Сазонова, — говорит кавалерист, — но он, насколько я знаю, не граф, небольшого роста, брюнет, приблизительно вашего возраста.

— Это так, это он. О, как я хотел бы встретить этого милого графа. Если вы его увидите, очень прошу передать ему мой привет. Капитан Латур *(франц.)*.

[5] Не ужасно ли это печальное дело, которым мы занимались? Жарко было прошлой ночью, не правда ли? *(франц.)*

[6] — О! это ужасно! Но какие молодцы ваши солдаты, какие молодцы! Это удовольствие — драться с такими молодцами!

— Надо признаться, что и ваши не ногой сморкаются *(франц.)*.

живаемых одною помочью, с самого начала перемирия вышел за вал и все ходил по лощине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный, безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости.

Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди — христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастия не обнимутся, как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны — и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятия.

Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.

Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.

Ни Калугин с своей блестящей храбростью (bravoure de gentilhomme[1]) и тщеславием, двигателем всех поступ-

---

[1] храбростью дворянина *(франц.)*.

ков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший *на брани за веру, престол и отечество,* ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест — ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда.

1855 года, 26 июня.

СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА

1

В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой[1] и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой).

В повозке — спереди, на корточках, сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший вожжами; сзади, на узлах и вьюках, покрытых попонкой, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напружены, так называемой талии — перехвата в середине туловища — у него не было, но и живота тоже не было, напротив — он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, ежели бы не какая-то одутловатость и мягкие, нестарческие, крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие, и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкой, частой и черной двухдневной бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совер-

[1] Последняя станция к Севастополю. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

шенно здоровым, из симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы, — но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардированье идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозочка должна была остановиться, и офицер, щурясь и морщась от пыли, густым, неподвижным облаком поднявшейся на дороге, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.

— А это с нашей роты солдатик слабый, — сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поравнявшуюся с ними.

На повозке спереди сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью внакидку на весьма грязной рубахе, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив, верно, что он раненый, сделал вид, что он только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две исхудалые руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочалы мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотившись руками

на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.

— Должников! — крикнул он.

— Я-о, — отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.

— Когда ты ранен, братец?

Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.

— Здравия желаем, вашбородие! — тем же отрывистым басом крикнул он.

— Где нынче полк стоит?

— В Сивастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбородие!

— Куда?

— Неизвестно... должно, на Сиверную, вашбородие! Нынче, вашбородие, — прибавил он протяжным голосом и надевая шапку, — уже скрость палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносит; нынче так бьет, что бяда ажно...

Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат; но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.

Проезжий офицер, поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают другие: он делал все, что ему хотелось, а другие уж делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата; он был неглуп и вместе с тем талантлив, хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивой энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, и особенно военных, кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал.

— Как же! очень буду слушать, что *Москва*[1] болтает! — пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардированья. — *Смешная эта Москва...* Пошел, Николаев, трогай же... Что ты заснул! — прибавил он несколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.

Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозочка покатилась рысью.

— Только покормим минутку и сейчас, нынче же, дальше, — сказал офицер.

2

Уже въезжая в улицу развалепных остатков каменных стен татарских домов Дуванкòй, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге.

Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.

— Далече идете, землячок? — сказал один из них, пережевывая хлеб, солдату, который с небольшим мешком за плечами остановился около них.

— В роту идем из губерни, — отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной. — Мы вот почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа?

— В городу, брат, стоит, в городу, — проговорил другой, старый фурштатский солдат, копавший с наслаждением складным ножом в неспелом, белёсом арбузе. — Мы вот только с полдён оттеле идем. Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше, а здесь упади где-нибудь, в сене, денек-другой пролежи — дело-то лучше будет.

— А что так, господа?

---

[1] Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называют солдата *Москва* или еще *присяга.* *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

— Рази не слышишь, нынче кругом палит, аж и места целого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя! — И говоривший махнул рукой и поправил шапку.

Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенища трубочку, не накладывая ее, расковырял прижженный табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку.

— Никто, как бог, господа! Прощенья просим! — сказал он и, встряхнув за спиною мешок, пошел по дороге.

— Эх, обождал бы лучше! — сказал убедительно-протяжно ковырявший арбуз.

— Все одно, — пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок, — видно, тоже харбуза купить повечерять; вишь, что говорят люди.

3

Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек, смотритель, который перебранивался с следовавшими за ним двумя офицерами.

— И не то что трое суток, и десятеро суток подождете! и генералы ждут, батюшка! — говорил смотритель с желанием кольнуть проезжающих, — а я вам не запрягусь же.

— Так никому не давать лошадей, коли нету!.. А зачем дал какому-то лакею с вещами? — кричал старший из двух офицеров, с стаканом чаю в руках и, видимо, избегая местоимения, но давая чувствовать, что очень легко и *ты* сказать смотрителю.

— Ведь вы сами рассудите, господин смотритель, — говорил с запинками другой, молоденький офицерик, — нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж... вы, значит, не уважаете офицерского звания.

— Вы всегда испортите! — перебил его с досадой старший. — Вы только мешаете мне; надо уметь с ними говорить. Вот он и потерял уваженье. Лошадей сию минуту, я говорю!

— И рад бы, батюшка, да где их взять-то?

Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить:

— Я, батюшка, сам понимаю и все знаю; да что станете делать! Вот дайте мне только (на лицах офицеров выразилась надежда)... дайте только до конца месяца дожить — и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Ей-богу! Пусть делают как хотят, когда такие распоряжения: на всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет, и клочка сена уж третий день лошади не видали.

И смотритель скрылся в воротах.

Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату.

— Что ж, — совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным, — уж три месяца едем, подождем еще. Не беда — успеем.

Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел; вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа: молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, наверное, сделанном из женского капота, доливал чайник; человека четыре таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты: один из них, подложив под голову какую-то шубу, спал на диване; другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, но тонкой, и с сумкой через плечо, сидели около лежанки; и по одному тому, как они смотрели на других и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтовые пехотные офицеры и что они довольны этим. Не то, чтобы видно было презрение в их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами, — сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Человека четыре денщиков — одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого;

но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему, и главное, напомнили, что брат его, тоже из корпуса, на днях должен был прибыть в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где-то, ему все казалось противно и нагло. Он даже с мыслью: «Осадить его, ежели бы он вздумал что-нибудь сказать»,— перешел от окна к лежанке и сел на нее. Козельцов вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был возмущен против штабных, которыми он с первого взгляда признал этих двух офицеров.

4

— Однако это ужасно как досадно, — говорил один из молодых офицеров, — что так уже близко, а нельзя доехать. Может быть, нынче дело будет, а нас не будет.

В пискливом тоне голоса и в пятновидном свежем румянце, набежавшем на молодое лицо этого офицера в то время, как он говорил, видна была эта милая молодая робость человека, который беспрестанно боится, что не так выходит его каждое слово.

Безрукий офицер с улыбкой посмотрел на него.

— Поспеете еще, поверьте, — сказал он.

Молодой офицерик с уважением посмотрел на исхудалое лицо безрукого, неожиданно просветлевшее улыбкой, замолчал и снова занялся чаем. Действительно, в лице безрукого офицера, в его позе и особенно в этом пустом рукаве шинели выражалось много этого спокойного равнодушия, которое можно объяснить так, что при всяком деле или разговоре он смотрел, как будто говоря: «Все это прекрасно, все это я знаю и все могу сделать, ежели бы я захотел только».

— Как же мы решим, — сказал снова молодой офицер своему товарищу в архалуке, — ночуем здесь или поедем на *своей* лошади?

Товарищ отказался ехать.

— Вы можете себе представить, капитан, — продолжал разливавший чай, обращаясь к безрукому и поднимая ножик, который уронил этот, — нам сказали, что лошади ужасно дороги в Севастополе, мы и купили сообща лошадь в Симферополе.

— Дорого, я думаю, с вас содрали?

— Право, не знаю, капитан: мы заплатили с повозкой девяносто рублей. Это очень дорого? — прибавил он, обращаясь ко всем и к Козельцову, который смотрел на него.

— Недорого, коли молодая лошадь, — сказал Козельцов.

— Не правда ли? А нам говорили, что дорого... Только она хромая немножко, только это пройдет, нам говорили. Она крепкая такая.

— Вы из какого корпуса? — спросил Козельцов, который хотел узнать о брате.

— Мы теперь из Дворянского полка, нас шесть человек; мы все едем в Севастополь по собственному желанию, — говорил словоохотливый офицерик, — только мы не знаем, где наши батареи: одни говорят, что в Севастополе, а вот они говорили, что в Одессе.

— А в Симферополе разве нельзя было узнать? — спросил Козельцов.

— Не знают... Можете себе представить, наш товарищ ходил там в канцелярию: ему грубостей наговорили... можете себе представить, как неприятно!.. Угодно вам готовую папироску? — сказал он в это время безрукому офицеру, который хотел достать свою сигарочницу.

Он с каким-то подобострастным восторгом услуживал ему.

— А вы тоже из Севастополя? — продолжал он. — Ах, боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали об вас, обо всех героях! — сказал он, обращаясь к Козельцову, с уважением и добродушной лаской.

— Как же, вам, может, назад придется ехать? — спросил поручик.

— Вот этого-то мы и боимся. Можете себе представить, что мы, как купили лошадь и обзавелись всем нужным — кофейник спиртовой и еще разные мелочи необходимые, — у нас денег совсем не осталось, — сказал он тихим голосом и оглядываясь на своего товарища, — так что ежели ехать назад, мы уж и не знаем, как быть.

— Разве вы не получили подъемных денег? — спросил Козельцов.

— Нет, — отвечал он шепотом, — только нам обещали тут дать.

— А свидетельство у вас есть?

— Я знаю, что главное — свидетельство; но мне в Москве сенатор один — он мне дядя, — как я у него был, он сказал, что тут дадут, а то бы он сам мне дал. Так дадут так?

— Непременно дадут.

— И я думаю, что, может быть, так дадут, — сказал он таким тоном, который доказывал, что, спрашивая на тридцати станциях одно и то же и везде получая различные ответы, он уже никому не верил хорошенько.

5

— Да как же не дать, — сказал вдруг офицер, бранившийся на крыльце с смотрителем и в это время подошедший к разговаривающим и обращаясь отчасти и к штабным, сидевшим подле, как к более достойным слушателям. — Ведь я так же, как и эти господа, пожелал в действующую армию, даже в самый Севастополь просился от прекрасного места, и мне, кроме прогонов от П., сто тридцать шесть рублей серебром, ничего не дали, а я уж своих больше ста пятидесяти рублей издержал. Подумать только, восемьсот верст третий месяц еду. Вот с этими господами второй месяц. Хорошо, что у меня были свои деньги. Ну, а коли бы не было их?

— Неужели третий месяц? — спросил кто-то.

— А что прикажете делать, — продолжал рассказывающий. — Ведь ежели бы я не хотел ехать, я бы и не просился от хорошего места; так, стало быть, я не стал бы жить по дороге, уж не оттого, чтоб я боялся бы... а возможности никакой нет. В Перекопе, например, я две недели жил; смотритель с вами и говорить не хочет, — когда хотите поезжайте; одних курьерских подорожных вот сколько лежит. Уж, верно, так судьба... ведь я бы желал, да, видно, судьба; я ведь не оттого, что вот теперь бомбардированье, а, видно, торопись не торопись — все равно; а я бы как желал...

Этот офицер так старательно объяснял причины своего замедления и как будто оправдывался в них, что это невольно наводило на мысль, что он трусит. Это еще стало заметнее, когда он расспрашивал о месте нахождения своего полка и опасно ли там. Он даже побледнел, и голос его оборвался, когда безрукий офицер, который

был в том же полку, сказал ему, что в эти два дня у них одних офицеров семнадцать человек выбыло.

Действительно, офицер этот в настоящую минуту был жесточайшим трусом, хотя шесть месяцев тому назад он далеко не был им. С ним произошел переворот, который испытали многие и прежде и после него. Он жил в одной из наших губерний, в которых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное покойное место, но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолюбием и еще более — патриотизмом.

Он пожертвовал этому чувству весьма многим — и обжитым местом, и квартеркой с мягкой мебелью, заведенной осьмилетним старанием, и знакомствами, и надеждами на богатую женитьбу, — он бросил все и подал еще в феврале в действующую армию, мечтая о бессмертном венке славы и генеральских эполетах. Через два месяца после подачи прошенья он *по команде* получил запрос, не будет ли он требовать вспомоществования от правительства. Он отвечал отрицательно и терпеливо продолжал ожидать определения, хотя патриотический жар уже успел значительно остыть в эти два месяца. Еще через два месяца он получил запрос, не принадлежит ли он к масонским ложам, и еще подобного рода формальности, и после отрицательного ответа, наконец, на пятый месяц вышло его определение. Во все это время приятели, а более всего то заднее чувство недовольства новым, которое является при каждой перемене положения, успели убедить его в том, что он сделал величайшую глупость, поступив в действующую армию. Когда же он очутился один с изжогой и запыленным лицом, на пятой станции, на которой он встретился с курьером из Севастополя, рассказавшим ему про ужасы войны, прождал двенадцать часов лошадей, — он уже совершенно раскаивался в своем легкомыслии, с смутным ужасом думал о предстоящем и ехал бессознательно вперед, как на жертву. Чувство это в продолжение трехмесячного странствования по станциям, на которых почти везде надо было ждать и встречать едущих из Севастополя офицеров с ужасными рассказами, постоянно увеличивалось и наконец довело до того бедного офицера, что из героя, готового на самые отчаянные предприятия, каким он воображал себя в П., в Дуванко́й он был жал-

ким трусом; и, съехавшись месяц тому назад с молодежью, едущей из корпуса, он старался ехать как можно тише, считая эти дни последними в своей жизни, на каждой станции разбирал кровать, погребец, составлял партию в преферанс, на жалобную книгу смотрел, как на препровождение времени, и радовался, когда лошадей ему не давали.

Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы, а теперь еще много ему надо было пройти моральных страданий, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера. Но энтузиазм уже трудно бы было воскресить в нем.

6

— Кто борщу требовал? — провозгласила довольно грязная хозяйка, толстая женщина лет сорока, с миской щей входя в комнату.

Разговор тотчас же замолк, и все бывшие в комнате устремили глаза на харчевницу. Офицер, ехавший из П., даже подмигнул на нее молодому офицеру.

— Ах, это Козельцов спрашивал, — сказал молодой офицер, — надо его разбудить. Вставай обедать, — сказал он, подходя к спящему на диване и толкая его за плечо.

Молодой мальчик, лет семнадцати, с веселыми черными глазками и румянцем во всю щеку, вскочил энергически с дивана и, протирая глаза, остановился посередине комнаты.

— Ах, извините, пожалуйста, — сказал он серебристым звучным голосом доктору, которого толкнул, вставая.

Поручик Козельцов тотчас же узнал брата и подошел к нему.

— Не узнаешь? — сказал он, улыбаясь.

— А-а-а! — закричал меньшой брат. — Вот удивительно! — и стал целовать брата.

Они поцеловались три раза, но на третьем разе запнулись, как будто обоим пришла мысль: зачем же непременно нужно три раза?

— Ну, как я рад! — сказал старший, вглядываясь в брата. — Пойдем на крыльцо — поговорим.

— Пойдем, пойдем. Я не хочу борщу... ешь ты, Федерсон, — сказал он товарищу.

— Да ведь ты хотел есть.

— Не хочу ничего.

Когда они вышли на крыльцо, меньшой все спрашивал у брата: «Ну, что ты, как, расскажи», — и все говорил, как он рад его видеть, но сам ничего не рассказывал.

Когда прошло минут пять, во время которых они успели помолчать немного, старший брат спросил, отчего меньшой вышел не в гвардию, как это все *наши* ожидали.

— Ах, да! — отвечал меньшой, краснея при одном воспоминании. — Это ужасно меня убило, и я никак не ожидал, что это случится. Можешь себе представить, перед самым выпуском мы пошли втроем курить, — знаешь эту комнатку, что за швейцарской, ведь и при вас, верно, так же было, — только, можешь вообразить, этот каналья сторож увидал и побежал сказать дежурному офицеру (и ведь мы несколько раз давали на водку сторожу), он и подкрался; только как мы его увидали, те побросали папироски и драло в боковую дверь — а мне уж некуда, он тут мне стал неприятности говорить, разумеется, я не спустил, ну, он сказал инспектору, и пошло. Вот за это-то поставили неполные баллы в поведенье, хотя везде были отличные, только из механики двенадцать, ну и пошло. Выпустили в армию. Потом обещали меня перевести в гвардию, да уж я не хотел и просился на войну.

— Вот как!

— Право, я тебе без шуток говорю, все мне так гадко стало, что я желал поскорей в Севастополь. Да, впрочем, ведь ежели здесь счастливо пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии: там в десять лет в полковники, а здесь Тотлебен так в два года из подполковников в генералы. Ну, а убьют, — так что ж делать!

— Вот ты какой! — сказал брат, улыбаясь.

— А главное, знаешь ли что, брат, — сказал меньшой, улыбаясь и краснея, как будто сбирался сказать что-нибудь очень стыдное, — все это пустяки; главное, я затем просился, что все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. Да и с тобой мне хотелось быть, — прибавил он еще застенчивее.

— Какой ты смешной! — сказал старший брат, доставая папиросницу и не глядя на него. — Жалко только, что мы не вместе будем.

— А что, скажи по правде, страшно на бастионах? — спросил вдруг младший.

— Сначала страшно, потом привыкаешь — ничего. Сам увидишь.

— А вот еще что скажи: как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я думаю, что ни за что не возьмут.

— Бог знает.

— Одно только досадно, — можешь вообразить, какое несчастие: у нас ведь дорогой целый узел украли, а у меня в нем кивер был, так что я теперь в ужасном положении и не знаю, как я буду являться. Ты знаешь, ведь у нас новые кивера теперь, да и вообще сколько перемен; все к лучшему. Я тебе все это могу рассказать... Я везде бывал в Москве.

Козельцов-второй, Владимир, был очень похож на брата Михайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волоса у него были те же русые, но густые и вьющиеся на висках; на белом нежном затылке у него была русая косичка — признак счастия, как говорят нянюшки. По нежному белому цвету кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровный молодой румянец. Те же глаза, как и у брата, были у него открытее и светлее, что особенно казалось оттого, что они часто покрывались легкой влагой. Русый пушок пробивал по щекам и над красными губами, весьма часто складывавшимися в застенчивую улыбку и открывавшими белые блестящие зубы. Стройный, широкоплечий, в расстегнутой шинели, из-под которой виднелась красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотившись на перила крыльца, с наивной радостью в лице и жесте, как он стоял перед братом, — это был такой приятно-хорошенький мальчик, что все бы так и смотрел на него. Он чрезвычайно рад был брату, с уважением и гордостью смотрел на него, воображая его героем; но в некоторых отношениях, именно в рассуждении вообще светского образования, которого, по правде сказать, он и сам не имел, умения говорить по-французски, быть в обществе важных людей, танцевать и т. д., — он немножко стыдился за него, смотрел свысока и даже хотел образовать его. Все впечатления его еще были из Петербурга, из дома одной барыни, любившей хорошеньких и бравшей его к себе на праздники, и из дома сенатора в Москве, где он раз танцевал на большом бале.

7

Наговорившись почти досыта и дойдя наконец до того чувства, которые часто испытываешь: что общего мало, хотя и любишь друг друга, — братья помолчали довольно долго.

— Так бери же свои вещи и едем сейчас, — сказал старший.

Младший вдруг покраснел и замялся.

— Прямо в Севастополь ехать? — спросил он после минуты молчанья.

— Ну да, ведь у тебя немного вещей; я думаю, уложим.

— Прекрасно! сейчас и поедем, — сказал младший со вздохом и пошел в комнату.

Но, не отворяя двери, он остановился в сенях, печально опустив голову, и начал думать:

«Сейчас прямо в Севастополь, в этот ад — ужасно! Однако все равно, когда-нибудь надо же было. Теперь, по крайней мере, с братом...»

Дело в том, что только теперь, при мысли, что, севши в тележку, он, не вылезая из нее, будет в Севастополе и что никакая случайность уже не может задержать его, ему ясно представилась опасность, которой он искал, — и он смутился, испугался одной мысли о близости ее. Кое-как успокоив себя, он вошел в комнату; но прошло четверть часа, а он все не выходил к брату, так что старший отворил наконец дверь, чтоб вызвать его. Меньшой Козельцов, в положении провинившегося школьника, говорил о чем-то с офицером из П. Когда брат отворил дверь, он совершенно растерялся.

— Сейчас, сейчас я выйду — заговорил он, махая рукой брату. — Подожди меня, пожалуйста, там.

Через минуту он вышел действительно и с глубоким вздохом подошел к брату.

— Можешь себе представить, я не могу с тобой ехать, брат, — сказал он.

— Как? Что за вздор!

— Я тебе всю правду скажу, Миша! У нас уж ни у кого денег нет, и мы все должны этому штабс-капитану, который из П. едет. Ужасно стыдно!

Старший брат нахмурился и долго не прерывал молчанья.

— Много ты должен? — спросил он, исподлобья взглядывая на брата.

— Много... нет, не очень много; но совестно ужасно: он на трех станциях за меня платил, и сахар все его шел... так что я не знаю... да и в преферанс мы играли... я ему немножко остался должен.

— Это скверно, Володя! Ну что бы ты сделал, ежели бы меня не встретил? — сказал строго, не глядя на брата, старший.

— Да я думал, братец, что получу эти подъемные в Севастополе, так отдам. Ведь можно так сделать; да и лучше уж завтра я с ним приеду.

Старший брат достал кошелек и с некоторым дрожанием пальцев достал оттуда две десятирублевые и одну трехрублевую бумажку.

— Вот мои деньги, — сказал он. — Сколько ты должен?

Сказав, что это были все его деньги, Козельцов говорил не совсем правду: у него было еще четыре золотых, зашитых на всякий случай в обшлаге, но которые он дал себе слово ни за что не трогать.

Оказалось, что Козельцов-второй, с преферансом и сахаром, был должен только восемь рублей офицеру из П. Старший брат дал их ему, заметив только, что этак нельзя, когда денег нет, еще в преферанс играть.

— На что ж ты играл?

Младший брат не отвечал ни слова. Вопрос брата показался ему сомнением в его честности. Досада на самого себя, стыд в поступке, который мог подавать такие подозрения, и оскорбление от брата, которого он так любил, произвели в его впечатлительной натуре такое сильное, болезненное чувство, что он ничего не отвечал, чувствуя, что не в состоянии будет удержаться от слезливых звуков, которые подступали ему к горлу. Он взял не глядя деньги и пошел к товарищам.

8

Николаев, подкрепивший себя в Дуванкóй двумя крышками водки, купленными у солдата, продававшего ее на мосту, подергивал вожжами, повозочка подпрыгивала по каменной, кое-где тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю, а братья, поталкиваясь

нога об ногу, хотя всякую минуту думали друг о друге, упорно молчали.

«Зачем он меня оскорбил, — думал меньшой, — разве он не мог не говорить про это? Точно как будто он думал, что я вор; да и теперь, кажется, сердится, так что мы уже навсегда расстроились. А как бы славно нам было вдвоем в Севастополе! Два брата, дружные между собой, оба сражаются со врагом: один старый уже, хотя не очень образованный, но храбрый воин, и другой — молодой, но тоже молодец... Через неделю я бы всем доказал, что я уж не очень молоденький! Я и краснеть перестану, в лице будет мужество, да и усы — небольшие, но порядочные вырастут к тому времени, — и он ущипнул себя за пушок, показавшийся у краев рта. — Может быть, мы нынче приедем и сейчас же попадем в дело вместе с братом. А он должен быть упорный и очень храбрый — такой, что много не говорит, а делает лучше других. Я б желал знать, — продолжал он, — нарочно или нет он прижимает меня к самому краю повозки? Он, верно, чувствует, что мне неловко, и делает вид, что будто не замечает меня. Вот мы нынче приедем, — продолжал он рассуждать, прижимаясь к краю повозки и боясь пошевелиться, чтобы не дать заметить брату, что ему неловко, — и вдруг прямо на бастион: я с орудиями, а брат с ротой, — и вместе пойдем. Только вдруг французы бросятся на нас. Я — стрелять, стрелять: перебью ужасно много; но они все-таки бегут прямо на меня. Уж стрелять нельзя, и — кончено, мне нет спасенья; только вдруг брат выбежит вперед с саблей, и я схвачу ружье, и мы вместе с солдатами побежим. Французы бросятся на брата. Я подбегу, убью одного француза, другого и спасаю брата. Меня ранят в одну руку, я схвачу ружье в другую и все-таки бегу; только брата убьют пулей подле меня. Я остановлюсь на минутку, посмотрю на него этак грустно, поднимусь и закричу: «За мной, отмстим! Я любил брата больше всего на свете, — я скажу, — и потерял его. Отмстим, уничтожим врагов или все умрем тут!» Все закричат, бросятся за мной. Тут все войско французское выйдет, — сам Пелиссье. Мы всех перебьем; но, наконец, меня ранят другой раз, третий раз, и я упаду при смерти. Тогда все прибегут ко мне. Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. Я скажу, что ничего не хочу, — только чтобы меня положили рядом с братом, что я хочу

умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровавленного трупа брата. Я приподнимусь и скажу только: «Да, вы не умели ценить двух человек, которые истинно любили отечество; теперь они оба пали... да простит вам бог!» — и умру».

Кто знает, в какой мере сбудутся эти мечты!

— Что, ты был когда-нибудь в схватке? — спросил он вдруг у брата, совершенно забыв, что не хотел говорить с ним.

— Нет, ни разу, — отвечал старший, — у нас две тысячи человек из полка выбыло, всё на работах; и я ранен тоже на работе. Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя!

Слово «Володя» тронуло меньшого брата; ему захотелось объясниться с братом, который вовсе и не думал, что оскорбил Володю.

— Ты на меня не сердишься, Миша? — сказал он после минутного молчания.

— За что?

— Нет — так. За то, что у нас было. Так, ничего.

— Нисколько, — отвечал старший, поворачиваясь к нему и похлопывая его по ноге.

— Так ты меня извини, Миша, ежели я тебя огорчил.

И меньшой брат отвернулся, чтобы скрыть слезы, которые вдруг выступили у него из глаз.

9

— Неужели это уж Севастополь? — спросил меньшой брат, когда они поднялись на гору и перед ними открылись бухта с мачтами кораблей, море с неприятельским далеким флотом, белые приморские батареи, казармы, водопроводы, доки и строения города, и белые, лиловатые облака дыма, беспрестанно поднимавшиеся по желтым горам, окружающим город, и стоявшие в синем небе, при розоватых лучах солнца, уже с блеском отражавшегося и спускавшегося к горизонту темного моря.

Володя без малейшего содрогания увидал это страшное место, про которое он так много думал; напротив, он с эстетическим наслаждением и героическим чувством самодовольства, что вот и он через полчаса будет

там, смотрел на это действительно прелестно-оригинальное зрелище, и смотрел с сосредоточенным вниманием до самого того времени, пока они не приехали на Северную, в обоз полка брата, где должны были узнать наверное о месте расположения полка и батареи.

Офицер, заведовавший обозом, жил около так называемого *нового городка* — дощатых бараков, построенных матросскими семействами, в палатке, соединенной с довольно большим балаганом, заплетенным из зеленых дубовых веток, не успевших еще совершенно засохнуть.

Братья застали офицера перед складным столом, на котором стоял стакан холодного чаю с папиросной золой и поднос с водкой и крошками сухой икры и хлеба, в одной желтовато-грязной рубашке, считающего на больших счетах огромную кипу ассигнаций. Но прежде чем говорить о личности офицера и его разговоре, необходимо попристальнее взглянуть на внутренность его балагана и знать хоть немного его образ жизни и занятия. Новый балаган был так велик, прочно заплетен и удобен, с столиками и лавочками, плетеными и из дерна, — как только строят для генералов или полковых командиров; бока и верх, чтобы лист не сыпался, были завешаны тремя коврами, хотя весьма уродливыми, но новыми и, верно, дорогими. На железной кровати, стоявшей под главным ковром с изображенной на нем амазонкой, лежало плюшевое ярко-красное одеяло, грязная прорванная кожаная подушка и енотовая шуба; на столе стояло зеркало в серебряной раме, серебряная, ужасно грязная, щетка, изломанный, набитый маслеными волосами роговой гребень, серебряный подсвечник, бутылка ликера с золотым красным огромным ярлыком, золотые часы с изображением Петра I, два золотые перстня, коробочка с какими-то капсюлями, корка хлеба, и разбросанные старые карты, и пустые и полные бутылки портера под кроватью. Офицер этот заведовал обозом полка и продовольствием лошадей. С ним вместе жил его большой приятель — комиссионер, занимающийся тоже какими-то операциями. Он, в то время как вошли братья, спал в палатке; обозный же офицер делал счеты казенных денег перед концом месяца. Наружность обозного офицера была очень красивая и воинственная: большой рост, большие усы, благородная плотность. Неприятна была в нем только какая-то потность и опухлость всего лица, скрывавшая почти маленькие серые

глаза (как будто он весь был налит портером), и чрезвычайная нечистоплотность — от жидких масленых волос до больших босых ног в каких-то горностаевых туфлях.

— Денег-то, денег-то! — сказал Козельцов-первый, входя в балаган и с невольной жадностью устремляя глаза на кучу ассигнаций. — Хоть бы половину взаймы дали, Василий Михайлыч!

Обозный офицер, как будто пойманный на воровстве, весь покоробился, увидав гостя, и, собирая деньги, не поднимаясь, поклонился.

— Ох, коли бы мои были... Казенные, батюшка! А это кто с вами? — сказал он, упрятывая деньги в шкатулку, которая стояла около него, и прямо глядя на Володю.

— Это мой брат, из корпуса приехал. Да вот мы заехали узнать у вас, где полк стоит.

— Садитесь, господа, — сказал он, вставая и, не обращая внимания на гостей, уходя в палатку. — Выпить не хотите ли? Портерку, может быть? — сказал он оттуда.

— Не мешает, Василий Михайлыч!

Володя был поражен величием обозного офицера, его небрежною манерой и уважением, с которым обращался к нему брат.

«Должно быть, это очень хороший у них офицер, которого все почитают; верно, простой, очень храбрый и гостеприимный», — подумал он, скромно и робко садясь на диван.

— Так где же наш полк стоит? — спросил через палатку старший брат.

— Что?

Он повторил вопрос.

— Нынче у меня Зейфер был: он рассказывал, что перешли вчера на пятый бастион.

— Наверное?

— Коли я говорю, стало быть верно; а впрочем, черт его знает! Он и соврать не дорого возьмет. Что ж, будете портер пить? — сказал обозный офицер все из палатки.

— А пожалуй, выпью, — сказал Козельцов.

— А вы выпьете, Осип Игнатьевич? — продолжал голос в палатке, верно, обращаясь к спавшему комиссионеру. — Полноте спать: уж осьмой час.

— Что вы пристаете ко мне! я не сплю, — отвечал ленивый тоненький голосок, приятно картавя на буквах *л* и *р*.

— Ну, вставайте: мне без вас скучно.

И обозный офицер вышел к гостям.

— Дай портеру. Симферопольского! — крикнул он.

Денщик с гордым выражением лица, как показалось Володе, вошел в балаган и из-под него, даже толкнув офицера, достал портер.

— Да, батюшка, — сказал обозный офицер, наливая стаканы, — нынче новый полковой командир у нас. Денежки нужны, всем обзаводится.

— Ну этот, я думаю, совсем особенный, новое поколенье, — сказал Козельцов, учтиво взяв стакан в руку.

— Да, новое поколенье! Такой же скряга будет. Как батальоном командовал, так ка́к кричал, а теперь другое поет. Нельзя, батюшка.

— Это так.

Меньшой брат ничего не понимал, что они говорят, но ему смутно казалось, что брат говорит не то, что думает, но как будто потому только, что пьет портер этого офицера.

Бутылка портера уже была выпита, и разговор продолжался уже довольно долго в том же роде, когда полы палатки распахнулись и из нее выступил невысокий свежий мужчина в синем атласном халате с кисточками, в фуражке с красным околышем и кокардой. Он вышел, поправляя свои черные усики, и, глядя куда-то на ковер, едва заметным движением плеча ответил на поклоны офицеров.

— Дай-ка и я выпью стаканчик! — сказал он, садясь подле стола. — Что это, вы из Петербурга едете, молодой человек? — сказал он, ласково обращаясь к Володе.

— Да-с, в Севастополь еду.

— Сами просились?

— Да-с.

— И что вам за охота, господа, я не понимаю! — продолжал комиссионер. — Я бы теперь, кажется, пешком готов был уйти, ежели бы пустили, в Петербург. Опостыла, ей-богу, эта собачья жизнь!

— Чем же тут плохо вам? — сказал старший Козельцов, обращаясь к нему. — Еще вам бы не жизнь здесь!

Комиссионер посмотрел на него и отвернулся.

— Эта опасность («про какую он говорит опасность, сидя на Северной», — подумал Козельцов), лишения, ничего достать нельзя, — продолжал он, обращаясь все к Володе. — И что вам за охота, я решительно вас не понимаю, господа! Хоть бы выгоды какие-нибудь были, а то так. Ну, хорошо ли это, в ваши лета вдруг останетесь калекой на всю жизнь?

— Кому нужны доходы, а кто из чести служит! — с досадой в голосе опять вмешался Козельцов-старший.

— Что за честь, когда нечего есть! — презрительно смеясь, сказал комиссионер, обращаясь к обозному офицеру, который тоже засмеялся при этом. — Заведи-ка из «Лучии», мы послушаем, — сказал он, указывая на коробочку с музыкой, — я люблю ее...

— Что, он хороший человек, этот Василий Михайлыч? — спросил Володя у брата, когда они уже в сумерки вышли из балагана и поехали дальше к Севастополю.

— Ничего, только скупая шельма такая, что ужас! Ведь он малым числом имеет триста рублей в месяц! А живет, как свинья, ведь ты видел. А комиссионера этого я видеть не могу, я его побью когда-нибудь. Ведь эта каналья из Турции тысяч двенадцать вывез... — И Козельцов стал распространяться о лихоимстве, немножко (сказать по правде) с той особенной злобой человека, который осуждает не за то, что лихоимство — зло, а за то, что ему досадно, что есть люди, которые пользуются им.

10

Володя не то чтоб был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту через бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце. Все, что он видел и слышал, было так мало сообразно с его прошедшими недавними впечатлениями: паркетная светлая большая зала экзамена, веселые, добрые голоса и смех товарищей, новый мундир, любимый царь, которого он семь лет привык видеть и который, прощаясь с ними со слезами, называл их детьми своими, — и так мало все, что он видел, похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты.

— Ну, вот мы и приехали! — сказал старший брат, когда они, подъехав к Михайловской батарее, вышли из

повозки. — Ежели нас пропустят на мосту, мы сейчас же пойдем в Николаевские казармы. Ты там останься до утра, а я пойду в полк — узнаю, где твоя батарея стоит, и завтра приду за тобой.

— Зачем же? лучше вместе пойдем, — сказал Володя. — И я пойду с тобой на бастион. Ведь уж все равно: привыкать надо. Ежели ты пойдешь, и я могу.

— Лучше не ходить.

— Нет, пожалуйста, я, по крайней мере, узнаю, как...

— Мой совет не ходить, а пожалуй...

Небо было чисто и темно; звезды и беспрестанно движущиеся огни бомб и выстрелов уже ярко светились во мраке. Большое белое здание батареи и начало моста выдавались из темноты. Буквально каждую секунду несколько орудийных выстрелов и взрывов, быстро следуя друг за другом или вместе, громче и отчетливее потрясали воздух. Из-за этого гула, как будто вторя ему, слышалось пасмурное ворчание бухты. С моря тянул ветерок, и пахло сыростью. Братья подошли к мосту. Какой-то ополченец стукнул неловко ружьем на руку и крикнул:

— Кто идет?

— Солдат!

— Не велено пущать!

— Да как же! Нам нужно.

— Офицера спросите.

Офицер, дремавший сидя на якоре, приподнялся и велел пропустить.

— Туда можно, оттуда нельзя. Куда лезешь все разом! — крикнул он на полковые повозки, высоко наложенные турами, которые толпились у въезда.

Спускаясь на первый понтон, братья столкнулись с солдатами, которые, громко разговаривая, шли оттуда.

— Когда он амунишные получил, значит, он в расчете сполностью — вот что...

— Эк, братцы! — сказал другой голос. — Как на Сиверную перевалишь, свет увидишь, ей-богу! Совсем воздух другой.

— Говори больше! — сказал первый. — Намеднись тут же прилетела окаянная, двум матросам ноги пооборвала, — так не говори лучше.

Братья прошли первый понтон, дожидаясь повозки, и остановились на втором, который местами уже заливало водой. Ветер, казавшийся слабым в поле, здесь был

весьма силен и порывист; мост качало, и волны, с шумом ударяясь о бревна и разрезаясь на якорях и канатах, заливали доски. Направо туманно-враждебно шумело и чернело море, отделяясь бесконечно ровной черной линией от звездного, светло-сероватого в слиянии горизонта; и далеко где-то светились огни на неприятельском флоте; налево чернела темная масса нашего корабля и слышались удары волн о борта его; виднелся пароход, шумно и быстро двигавшийся от Северной. Огонь разорвавшейся около него бомбы осветил мгновенно высоко наваленные туры на палубе, двух человек, стоящих наверху, и белую пену и брызги зеленоватых волн, разрезаемых пароходом. У края моста сидел, спустив ноги в воду, какой-то человек в одной рубахе и чинил что-то в понтоне; впереди, над Севастополем, носились те же огни, и громче, громче долетали страшные звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста и замочила ноги Володе; два солдата, шлепая ногами по воде, прошли мимо него. Что-то вдруг с треском осветило мост впереди, едущую по нем повозку и верхового, и осколки, с свистом поднимая брызги, попадали в воду.

— А, Михаил Семеныч! — сказал верховой, останавливая лошадь против старшего Козельцова, — что, уж совсем поправились?

— Как видите. Куда вас бог несет?

— На Северную за патронами: ведь я нынче за полкового адъютанта... штурма ждем с часу на час, а по пяти патронов в суме нет. Отличные распоряжения!

— А где же Марцов?

— Вчера ногу оторвало... в городе, в комнате спал... Может, вы его застанете, он на перевязочном пункте.

— Полк на пятом, правда?

— Да, на место М...цов заступили. Вы зайдите на перевязочный пункт: там наши есть — вас проводят.

— Ну, а квартерка моя на Морской цела?

— И, батюшка! уж давно всю разбили бомбами. Вы не узнаете теперь Севастополя; уж женщин ни души нет, ни трактиров, ни музыки; вчера последнее заведенье переехало. Теперь ужасно грустно стало... Прощайте!

И офицер рысью поехал дальше.

Володе вдруг сделалось ужасно страшно: ему все казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти,

особенно ворчливый плеск волн, — казалось, все говорило ему, чтобы он не шел дальше, что не ждет его здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти. «Но, может, уж поздно, уж решено теперь», — подумал он, содрогаясь частью от этой мысли, частью оттого, что вода прошла ему сквозь сапоги и мочила ноги.

Володя глубоко вздохнул и отошел немного в сторону от брата.

— Господи! неужели же меня убьют, именно меня? Господи, помилуй меня! — сказал он шепотом и перекрестился.

— Ну, пойдем, Володя, — сказал старший брат, когда повозочка въехала на мост. — Видел бомбу?

На мосту встречались братьям повозки с ранеными, с турами, одна с мебелью, которую везла какая-то женщина. На той же стороне никто не задержал их.

Инстинктивно, придерживаясь стенки Николаевской батареи, братья, молча, прислушиваясь к звукам бомб, лопавшихся уже тут над головами, и реву осколков, валившихся сверху, пришли к тому месту батареи, где образ. Тут узнали они, что пятая легкая, в которую назначен был Володя, стоит на Корабельной, и решили вместе, несмотря на опасность, идти ночевать к старшему брату на пятый бастион, а оттуда завтра в батарею. Повернув в коридор, шагая через ноги спящих солдат, которые лежали вдоль всей стены батареи, они наконец пришли на перевязочный пункт.

11

Войдя в первую комнату, обставленную койками, на которых лежали раненые, и пропитанную этим тяжелым, отвратительно-ужасным гошпитальным запахом, они встретили двух сестер милосердия, выходивших им навстречу.

Одна женщина, лет пятидесяти, с черными глазами и строгим выражением лица, несла бинты и корпию и отдавала приказания молодому мальчику, фельдшеру, который шел за ней; другая, весьма хорошенькая девушка, лет двадцати, с бледным и нежным белокурым

личиком, как-то особенно мило-беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, обкладывавшего ей лицо, шла, руки в карманах передника, потупившись, подле старшей и, казалось, боялась отставать от нее.

Козельцов обратился к ним с вопросом, не знают ли они, где Марцов, которому вчера оторвало ногу.

— Это, кажется, П. полка? — спросила старшая. — Что, он вам родственник?

— Нет-с, товарищ.

— Гм! Проводите их, — сказала она молодой сестре, по-французски, — вот сюда, — а сама подошла с фельдшером к раненому.

— Пойдем же, что ты смотришь! — сказал Козельцов Володе, который, подняв брови, с каким-то страдальческим выражением, не мог оторваться — смотрел на раненых. — Пойдем же.

Володя пошел с братом, но все продолжая оглядываться и бессознательно повторяя:

— Ах, боже мой! Ах, боже мой!

— Верно, они недавно здесь? — спросила сестра у Козельцова, указывая на Володю, который, ахая и вздыхая, шел за ними по коридору.

— Только что приехал.

Хорошенькая сестра посмотрела на Володю и вдруг заплакала.

— Боже мой, боже мой! Когда это все кончится! — сказала она с отчаянием в голосе.

Они вошли в офицерскую палату. Марцов лежал навзничь, закинув жилистые, обнаженные до локтей руки за голову и с выражением на желтом лице человека, который стиснул зубы, чтобы не кричать от боли. Целая нога была в чулке высунута из-под одеяла, и видно было, как он на ней судорожно перебирает пальцами.

— Ну что, как вам? — спросила сестра, своими тоненькими, нежными пальцами, на одном из которых, Володя заметил, было золотое колечко, поднимая его немного плешивую голову и поправляя подушку. — Вот ваши товарищи пришли вас проведать.

— Разумеется, больно, — сердито сказал он. — Оставьте, мне хорошо! — И пальцы в чулке зашевелились еще быстрее. — Здравствуйте! Как вас зовут, извините? — сказал он, обращаясь к Козельцову. — Ах, да, виноват, тут все забудешь, — сказал он, когда тот сказал

ему свою фамилию. — Ведь мы с тобой вместе жили, — прибавил он без всякого выражения удовольствия, вопросительно глядя на Володю.

— Это мой брат, нынче приехал из Петербурга.

— Гм! А я-то вот и *полный* выслужил, — сказал он, морщась. — Ах, как больно!.. Да уж лучше бы конец скорее.

Он вздернул ногу и, промычав что-то, закрыл лицо руками.

— Его надо оставить, — сказала шепотом сестра, со слезами на глазах, — уж он очень плох.

Братья еще на Северной решили идти вместе на пятый бастион; но, выходя из Николаевской батареи, они как будто условились не подвергаться напрасно опасности и, ничего не говоря об этом предмете, решили идти каждому порознь.

— Только как ты найдешь, Володя? — сказал старший. — Впрочем, Николаев тебя проводит на Корабельную, а я пойду один и завтра у тебя буду.

Больше ничего не было сказано в это последнее прощанье между двумя братьями.

12

Гром пушек продолжался с той же силой, но Екатерининская улица, по которой шел Володя, с следовавшим за ним молчаливым Николаевым, была пустынна и тиха. Во мраке виднелась ему только широкая улица с белыми, во многих местах разрушенными стенами больших домов и каменный тротуар, по которому он шел; изредка встречались солдаты и офицеры. Проходя по левой стороне улицы, около Адмиралтейства, при свете какого-то яркого огня, горевшего за стеной, он увидал посаженные вдоль тротуара акации с зелеными подпорками и жалкие, запыленные листья этих акаций. Шаги свои и Николаева, тяжело дышавшего, шедшего за ним, он слышал явственно. Он ничего не думал: хорошенькая сестра милосердия, нога Марцова с движущимися в чулке пальцами, мрак, бомбы и различные образы смерти смутно носились в его воображении. Вся его молодая впечатлительная душа сжалась и ныла под влиянием сознания одиночества и всеобщего равнодушия к его участи в то время, как он был в опасности. «Убьют,

буду мучиться, страдать, — и никто не заплачет!» И все это вместо исполненной энергии и сочувствия жизни героя, о которой он мечтал так славно. Бомбы лопались и свистели ближе и ближе, Николаев вздыхал чаще и не нарушал молчания. Проходя через мост, ведущий на Корабельную, он увидал, как что-то, свистя, влетело недалеко от него в бухту, на секунду багрово осветило лиловые волны, исчезло и потом с брызгами поднялось оттуда.

— Вишь, не задохлась! — сказал Николаев.

— Да, — ответил он, невольно и неожиданно для себя каким-то тоненьким-тоненьким, пискливым голоском.

Встречались носилки с ранеными, опять полковые повозки с турами; какой-то полк встретился на Корабельной; верховые проезжали мимо. Один из них был офицер с казаком. Он ехал рысью, но, увидав Володю, приостановил лошадь около него, вгляделся ему в лицо, отвернулся и поехал прочь, ударив плетью по лошади. «Один, один! всем все равно, есть ли я, или нет меня на свете», — подумал с ужасом бедный мальчик, и ему без шуток захотелось плакать.

Поднявшись на гору мимо какой-то высокой белой стены, он вошел в улицу разбитых маленьких домиков, беспрестанно освещаемых бомбами. Пьяная, растерзанная женщина, выходя из калитки с матросом, наткнулась на него.

— Потому, коли бы он был блаародный чуаек, — пробормотала она, — пардон, ваш благородие офицер!

Сердце все больше и больше ныло у бедного мальчика; а на черном горизонте чаще и чаще вспыхивала молния, и бомбы чаще и чаще свистели и лопались около него. Николаев глубоко вздохнул и вдруг начал говорить каким-то, как показалось Володе, гробовым голосом:

— Вот всё торопились из губернии ехать. Ехать да ехать. Есть куда торопиться! Которые умные господа, так, чуть мало-мальски ранены, живут себе в гошпитале. Так-то хорошо, что лучше не надо.

— Да что ж, коли брат уж здоров теперь, — отвечал Володя, надеясь хоть разговором разогнать чувство, овладевшее им.

— Здоров! Какое его здоровье, когда он вовсе болен! Которые и настоящие здоровые-то, и те, которые умные есть, живут в гошпитале в этакое время. Что тут-то

радости много, что ли? Либо ногу, либо руку оторвет — вот те и всё! Долго ли до греха! Уж на что здесь, в городу, не то, что на баксионе, и то страсть какая. Идешь — молитвы все перечитаешь. Ишь, бестия, так мимо тебя и дзанкнет! — прибавил он, обращая внимание на звук близко прожужжавшего осколка. — Вот теперича, — продолжал Николаев, — велел ваше благородие проводить. Наше дело известно: что приказано, то должен сполнять; а ведь главное — повозку так на какого-то солдатишку бросили, и узел развязан. Иди да иди; а что из именья пропадет, Николаев отвечай.

Пройдя еще несколько шагов, они вышли на площадь. Николаев молчал и вздыхал.

— Вот антилерия ваша стоит, ваше благородие! — сказал он вдруг. — У часового спросите: он вам покажет. — И Володя, пройдя несколько шагов, перестал слышать за собой звуки вздохов Николаева.

Он вдруг почувствовал себя совершенно, окончательно одним. Это сознание одиночества в опасности — перед смертью, как ему казалось, — ужасно тяжелым, холодным камнем легло ему на сердце. Он остановился посереди площади, оглянулся: не видит ли его кто-нибудь, схватился за голову и с ужасом проговорил и подумал: «Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус? Неужели за отечество, за царя, за которого с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! я несчастное, жалкое создание!» — И Володя с истинным чувством отчаяния и разочарования в самом себе спросил у часового дом батарейного командира и пошел по указанному направлению.

13

Жилище батарейного командира, которое указал ему часовой, был небольшой двухэтажный домик со входом с двора. В одном из окон, залепленном бумагой, светился слабый огонек свечки. Денщик сидел на крыльце и курил трубку. Он пошел доложить батарейному командиру и ввел Володю в комнату. В комнате между двух окон, под разбитым зеркалом, стоял стол, заваленный казенными бумагами, несколько стульев и железная кровать с чистой постелью и маленьким ковриком около нее.

Около самой двери стоял красивый мужчина с большими усами — фельдфебель, — в тесаке и шинели, на которой висели крест и венгерская медаль. Посередине комнаты взад и вперед ходил невысокий, лет сорока, штаб-офицер с подвязанной распухшей щекой, в тонкой старенькой шинели.

— Честь имею явиться, прикомандированный в пятую легкую, прапорщик Козельцов-второй, — проговорил Володя заученную фразу, входя в комнату.

Батарейный командир сухо ответил на поклон и, не подавая руки, пригласил его садиться.

Володя робко опустился на стул подле письменного стола и стал перебирать в пальцах ножницы, попавшиеся ему в руки. Батарейный командир, заложив руки за спину и опустив голову, только изредка поглядывая на руки, вертевшие ножницы, молча продолжал ходить по комнате с видом человека, припоминающего что-то.

Батарейный командир был довольно толстый человечек, с большою плешью на маковке, густыми усами, пущенными прямо и закрывавшими рот, и большими приятными карими глазами. Руки у него были красивые, чистые и пухлые, ножки очень вывернутые, ступавшие с уверенностью и некоторым щегольством, доказывавшим, что батарейный командир был человек незастенчивый.

— Да, — сказал он, останавливаясь против фельдфебеля, — ящичным надо будет с завтрашнего дня еще по гарнцу прибавить, а то они у нас худы. Как ты думаешь?

— Что ж, прибавить можно, ваше высокоблагородие! Теперь все подешевле овес стал, — отвечал фельдфебель, шевеля пальцы на руках, которые он держал по швам, но которые, очевидно, любили жестом помогать разговору. — А еще фуражир наш Франщук вчера мне из обоза записку прислал, ваше высокоблагородие, что осей непременно нам нужно будет там купить, — говорят, дешевы, — так как изволите приказать?

— Что ж, купить: ведь у него деньги есть. — И батарейный командир снова стал ходить по комнате. — А где ваши вещи? — спросил он вдруг у Володи, останавливаясь против него.

Бедного Володю так одолевала мысль, что он трус, что в каждом взгляде, в каждом слове он находил презрение к себе, как к жалкому трусу. Ему показалось, что батарейный командир уже проник его тайну и под-

трунивает над ним. Он, смутившись, отвечал, что вещи на Графской и что завтра брат обещал их доставить ему.

Но подполковник не дослушал его и, обратясь к фельдфебелю, спросил:

— Где бы нам поместить прапорщика?

— Прапорщика-с? — сказал фельдфебель, еще больше смущая Володю беглым, брошенным на него взглядом, выражавшим как будто вопрос: «Ну что это за прапорщик, и стоит ли его помещать куда-нибудь?» — Да вот-с внизу, ваше высокоблагородие, у штабс-капитана могут поместиться их благородие, — продолжал он, подумав немного, — теперь штабс-капитан на баксионе, так ихняя койка пустая остается.

— Так вот, не угодно ли-с покамест? — сказал батарейный командир. — Вы, я думаю, устали, а завтра лучше устроим.

Володя встал и поклонился.

— Не угодно ли чаю? — сказал батарейный командир, когда Володя уж подходил к двери. — Можно самовар поставить.

Володя поклонился и вышел. Полковничий денщик провел его вниз и ввел в голую, грязную комнату, в которой валялся разный хлам и стояла железная кровать без белья и одеяла. На кровати, накрывшись толстой шинелью, спал какой-то человек в розовой рубашке.

Володя принял его было за солдата.

— Петр Николаич! — сказал денщик, толкая за плечо спящего. — Тут прапорщик лягут... Это наш юнкер, — прибавил он, обращаясь к прапорщику.

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал Володя; но юнкер, высокий, плотный, молодой мужчина, с красивой, но весьма глупой физиономией, встал с кровати, накинул шинель и, видимо, не проснувшись еще хорошенько, вышел из комнаты.

— Ничего, я на дворе лягу, — пробормотал он.

14

Оставшись наедине с своими мыслями, первым чувством Володи было отвращение к тому беспорядочному, безотрадному состоянию, в котором находилась душа его. Ему захотелось заснуть и забыть все окружающее, а главное — самого себя. Он потушил свечку, лег на

постель и, сняв с себя шинель, закрылся с головою, чтобы избавиться от страха темноты, которому он еще с детства был подвержен. Но вдруг ему пришла мысль, что прилетит бомба, пробьет крышу и убьет его. Он стал вслушиваться; над самой его головой слышались шаги батарейного командира.

«Впрочем, ежели и прилетит, — подумал он, — то прежде убьет наверху, а потом меня; по крайней мере, не меня одного». Эта мысль успокоила его немного; он стал было засыпать. «Ну что, ежели вдруг ночью возьмут Севастополь и французы ворвутся сюда? Чем я буду защищаться?» Он опять встал и походил по комнате. Страх действительной опасности подавил таинственный страх мрака. Кроме седла и самовара, в комнате ничего твердого не было. «Я подлец, я трус, мерзкий трус!» — вдруг подумал он и снова перешел к тяжелому чувству презрения, отвращения даже к самому себе. Он снова лег и старался не думать. Тогда впечатления дня невольно возникали в воображении при неперестающих, заставлявших дрожать стекла в единственном окне звуках бомбардирования и снова напоминали об опасности: то ему грезились раненые и кровь, то бомбы и осколки, которые влетают в комнату, то хорошенькая сестра милосердия, делающая ему, умирающему, перевязку и плачущая над ним, то мать его, провожающая его в уездном городе и горячо, со слезами, молящаяся перед чудотворной иконой, — и снова сон кажется ему невозможен. Но вдруг мысль о боге всемогущем, добром, который все может сделать и услышит всякую молитву, ясно пришла ему в голову. Он стал на колени, перекрестился и сложил руки так, как его в детстве еще учили молиться. Этот жест вдруг перенес его к давно забытому отрадному чувству.

«Ежели нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это, господи, — думал он, — поскорее сделай это; но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, — дай мне их, но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить твою волю».

Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидала новые, обширные, светлые горизонты. Много еще передумал и перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это чувство, но заснул скоро покойно и беспечно, под звуки про-

должавшегося гула бомбардирования и дрожания стекол.

Господи великий! только ты один слышал и знаешь те простые, но жаркие и отчаянные мольбы неведения, смутного раскаяния и страдания, которые восходили к тебе из этого страшного места смерти, — от генерала, за секунду перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но с страхом чующего близость твою, до измученного, голодного, вшивого солдата, повалившегося на голом полу Николаевской батареи и просящего тебя скорее дать ему там бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные страдания! Да, ты не уставал слушать мольбы детей твоих, ниспосылаешь им везде ангела-утешителя, влагавшего в душу терпение, чувство долга и отраду надежды.

15

Старший Козельцов, встретив на улице солдата своего полка, с ним вместе направился прямо к пятому бастиону.

— Под стенкой держитесь, ваше благородие! — сказал солдат.

— А что?

— Опасно, ваше благородие; вон она аж через несеть, — сказал солдат, прислушиваясь к звуку просвистевшего ядра, ударившегося о сухую дорогу по той стороне улицы.

Козельцов, не слушая солдата, бодро пошел по середине улицы.

Все те же были улицы, те же, даже более частые, огни, звуки, стоны, встречи с ранеными и те же батареи, бруствера и траншеи, какие были весною, когда он был в Севастополе; но все это почему-то было теперь грустнее и вместе энергичнее, — пробоин в домах больше, огней в окнах уже совсем нету, исключая Кущина дома (госпиталя), женщины ни одной не встречается, — на всем лежит теперь не прежний характер привычки и беспечности, а какая-то печать тяжелого ожидания, усталости и напряженности.

Но вот уже последняя траншея, вот и голос солдатика П. полка, узнавшего своего прежнего ротного командира, вот и третий батальон стоит в темноте,

прижавшись у стенки, изредка на мгновение освещаемый выстрелами и слышный сдержанным говором и побрякиванием ружей.

— Где командир полка? — спросил Козельцов.

— В блиндаже у флотских, ваше благородие! — отвечал услужливый солдатик. — Пожалуйте, я вас провожу.

Из траншеи в траншею солдат привел Козельцова к канавке в траншее. В канавке сидел матрос, покуривая трубочку; за ним виднелась дверь, в щели которой просвечивал огонь.

— Можно войти?

— Сейчас доложу. — И матрос вошел в дверь.

Два голоса говорили за дверью.

— Ежели Пруссия будет продолжать держать нейтралитет, — говорил один голос, — то Австрия тоже...

— Да что Австрия, — говорил другой, — когда славянские земли... Ну, проси.

Козельцов никогда не был в этом блиндаже. Он поразил его своей щеголеватостью. Пол был паркетный, ширмочки закрывали дверь. Две кровати стояли по стенам, в углу висела большая, в золотой ризе, икона божьей матери, и перед ней горела розовая лампадка. На одной из кроватей спал моряк, совершенно одетый, на другой, перед столом, на котором стояло две бутылки начатого вина, сидели разговаривавшие — новый полковой командир и адъютант. Хотя Козельцов далеко был не трус и решительно ни в чем не был виноват ни перед правительством, ни перед полковым командиром, он робел, и поджилки у него затряслись при виде полковника, бывшего недавнего своего товарища: так гордо встал этот полковник и выслушал его. Притом и адъютант, сидевший тут же, смущал своей позой и взглядом, говорившими: «Я только приятель вашего полкового командира. Вы не ко мне являетесь, и я от вас никакой почтительности не могу и не хочу требовать». «Странно, — думал Козельцов, глядя на своего командира, — только семь недель, как он принял полк, а как уж во всем его окружающем — в его одежде, осанке, взгляде — видна власть полкового командира, эта власть, основанная не столько на летах, на старшинстве службы, на военном достоинстве, сколько на богатстве полкового командира. Давно ли, — думал он, — этот самый Батрищев кучивал с нами, носил по неделям ситцевую немаркую рубашку

и едал, никого не приглашая к себе, вечные битки и вареники! А теперь! голландская рубашка уж торчит из-под драпового с широкими рукавами сюртука, десятирублевая сигара в руке, на столе шестирублевый лафит, — все это закупленное по невероятным ценам через квартирмейстера в Симферополе, — и в глазах это выражение холодной гордости аристократа богатства, которое говорит вам: хотя я тебе и товарищ, потому что я полковой командир новой школы, но не забывай, что у тебя шестьдесят рублей в треть жалованья, а у меня десятки тысяч проходят через руки, и поверь, что я знаю, как ты готов бы полжизни отдать за то только, чтобы быть на моем месте».

— Вы долгонько лечились, — сказал полковник Козельцову, холодно глядя на него.

— Болен был, полковник, еще и теперь рана хорошенько не закрылась.

— Так вы напрасно приехали, — с недоверчивым взглядом на плотную фигуру офицера сказал полковник. — Вы можете, однако, исполнять службу?

— Как же-с, могу-с.

— Ну, и очень рад-с. Так вы примите от прапорщика Зайцева девятую роту — вашу прежнюю; сейчас же вы получите приказ.

— Слушаю-с.

— Потрудитесь, когда вы пойдете, послать ко мне полкового адъютанта, — заключил полковой командир, легким поклоном давая чувствовать, что аудиенция кончена.

Выйдя из блиндажа, Козельцов несколько раз промычал что-то и подернул плечами, как будто ему было от чего-то больно, неловко или досадно, и досадно не на полкового командира (не за что), а сам собой и всем окружающим он был как будто недоволен. Дисциплина и условие ее — субординация — только приятно, как всякие обзаконенные отношения, когда она основана, кроме взаимного сознания в необходимости ее, на признанном со стороны низшего превосходства в опытности, военном достоинстве или даже просто моральном совершенстве; но зато, как скоро дисциплина основана, как у нас часто случается, на случайности или денежном принципе, — она всегда переходит, с одной стороны, в важничество, с другой — в скрытую зависть и досаду и вместо полезного влияния соединения масс в одно целое производит

совершенно противуположное действие. Человек, не чувствующий в себе силы внутренним достоинством внушить уважение, инстинктивно боится сближения с подчиненными и старается внешними выражениями важности отдалить от себя критику. Подчиненные, видя одну эту внешнюю, оскорбительную для себя сторону, — уже за ней, большею частью несправедливо, не предполагают ничего хорошего.

16

Козельцов, прежде чем идти к своим офицерам, пошел поздороваться с своею ротой и посмотреть, где она стоит. Бруствера из туров, фигуры траншей, пушки, мимо которых он проходил, даже осколки и бомбы, на которые он спотыкался по дороге, — все это, беспрестанно освещаемое огнями выстрелов, было ему хорошо знакомо. Все это живо врезалось у него в памяти три месяца тому назад, в продолжение двух недель, которые он безвыходно провел на этом самом бастионе. Хотя много было ужасного в этом воспоминании, какая-то прелесть прошедшего примешивалась к нему, и он с удовольствием, как будто приятны были проведенные здесь две недели, узнавал знакомые места и предметы. Рота была расположена по оборонительной стенке к шестому бастиону.

Козельцов вошел в длинный, совершенно открытый со стороны входа блиндаж, в котором, ему сказали, стоит девятая рота. Буквально ноги некуда было поставить во всем блиндаже: так он от самого входа наполнен был солдатами. В одной стороне его светилась сальная кривая свечка, которую лежа держал солдатик. Другой солдатик по складам читал какую-то книгу, держа ее около самой свечки. В смрадном полусвете блиндажа видны были поднятые головы, жадно слушающие чтеца. Книжка была азбука, и, входя в блиндаж, Козельцов услышал следующее:

— «Страх... смер-ти врожден-ное чувствие чело-веку».

— Снимите со свечки-то, — сказал голос. — Книжка славная.

— «Бог... мой...» — продолжал чтец.

Когда Козельцов спросил фельдфебеля, чтец замолк, солдаты зашевелились, закашляли, засморкались, как

всегда после сдержанного молчания; фельдфебель, застегиваясь, поднялся около группы чтеца и, шагая через ноги и по ногам тех, которым некуда было убрать их, вышел к офицеру.

— Здравствуй, брат! Что, это вся наша рота?

— Здравия желаем! с приездом, ваше благородие! — отвечал фельдфебель, весело и дружелюбно глядя на Козельцова. — Как здоровьем поправились, ваше благородие? Ну и слава богу! А то мы без вас соскучились.

Видно сейчас было, что Козельцова любили в роте. В глубине блиндажа послышались голоса: «Старый ротный приехал, что раненый был, Козельцов, Михаил Семеныч», и т. п.; некоторые даже пододвинулись к нему, барабанщик поздоровался.

— Здравствуй, Обанчук! — сказал Козельцов. — Цел? — Здорово, ребята! — сказал он потом, возвышая голос.

— Здравия желаем! — загудело в блиндаже.

— Как поживаете, ребята?

— Плохо, ваше благородие: одолевает француз, — так дурно бьет из-за шанцов, да и шабаш, а в поле не выходит.

— Авось на мое счастье, бог даст, и выйдет в поле, ребята! — сказал Козельцов. — Уж мне с вами не в первый раз: опять поколотим.

— Ради стараться, ваше благородие! — сказало несколько голосов.

— Что же, они точно смелые, их благородие ужасно какие смелые! — сказал барабанщик не громко, но так, что слышно было, обращаясь к другому солдату, как будто оправдываясь перед ним в словах ротного командира и убеждая его, что в них ничего нет хвастливого и неправдоподобного.

От солдатиков Козельцов перешел в оборонительную казарму к товарищам-офицерам.

17

В большой комнате казармы было пропасть народа: морские, артиллерийские и пехотные офицеры. Одни спали, другие разговаривали, сидя на каком-то ящике и лафете крепостной пушки; третьи, составляя самую большую и шумную группу за сводом, сидели на полу,

на двух разостланных бурках, пили портер и играли в карты.

— А! Козельцов, Козельцов! хорошо, что приехал, молодец!.. Что рана? — послышалось с разных сторон. И здесь видно было, что его любят и рады его приезду.

Пожав руки знакомым, Козельцов присоединился к шумной группе, составившейся из нескольких офицеров, игравших в карты. Между ними были тоже его знакомые. Красивый худощавый брюнет, с длинным, сухим носом и большими усами, продолжавшимися от щек, метал банк белыми сухими пальцами, на одном из которых был большой золотой перстень с гербом. Он метал прямо и неаккуратно, видимо чем-то взволнованный и только желая казаться небрежным. Подле него, по правую руку, лежал, облокотившись, седой майор, уже значительно выпивший, и с аффектацией хладнокровия понтировал по полтиннику и тотчас же расплачивался. По левую руку на корточках сидел красный, с потным лицом, офицерик, принужденно улыбался и шутил, когда били его карты; он шевелил беспрестанно одной рукой в пустом кармане шаровар и играл большой маркой, но, очевидно, уже не на чистые, что именно и коробило красивого брюнета. По комнате, держа в руках большую кипу ассигнаций, ходил плешивый, с огромным злым ртом, худой и бледный безусый офицер и все ставил ва-банк наличные деньги и выигрывал.

Козельцов выпил водки и подсел к играющим.

— Понтирните-ка, Михаил Семеныч! — сказал ему банкомет. — Денег пропасть, я чай, привезли.

— Откуда у меня деньгам быть? Напротив, последние в городе спустил.

— Как же! вздули, уж верно, кого-нибудь в Симферополе.

— Право, мало, — сказал Козельцов, но, видимо не желая, чтоб ему верили, расстегнулся и взял в руки старые карты.

— Попытаться нешто, чем черт не шутит! и комар, бывает, что, знаете, какие штуки делает. Выпить только надо для храбрости.

И в непродолжительном времени, выпив еще три рюмки водки и несколько стаканов портера, он был уже совершенно в духе всего общества, то есть в тумане и забвении действительности, и проигрывал последние три рубля.

На маленьком вспотевшем офицере было написано сто пятьдесят рублей.

— Нет, не везет, — сказал он, небрежно приготавливая новую карту.

— Потрудитесь прислать, — сказал ему банкомет, на минуту останавливаясь метать и взглядывая на него.

— Позвольте завтра прислать, — отвечал потный офицер, вставая и усиленно перебирая рукой в пустом кармане.

— Гм! — промычал банкомет и, злостно бросая направо, налево, дометал талию. — Однако этак нельзя, — сказал он, положив карты, — я бастую. Этак нельзя, Захар Иваныч, — прибавил он, — мы играли на чистые, а не на мелок.

— Что ж, разве вы во мне сомневаетесь? Странно, право!

— С кого прикажете получить? — пробормотал майор, сильно опьяневший к этому времени и выигравший что-то рублей восемь. — Я прислал уже больше двадцати рублей, а выиграл — ничего не получаю.

— Откуда же и я заплачу, — сказал банкомет, — когда на столе денег нет?

— Я знать не хочу! — закричал майор, поднимаясь. — Я играю с вами, с честными людьми, а не с ними.

Потный офицер вдруг разгорячился:

— Я говорю, что заплачу завтра; как же вы смеете мне говорить дерзости?

— Я говорю, что хочу! Так честные люди не делают, вот что! — кричал майор.

— Полноте, Федор Федорыч! — заговорили все, удерживая майора. — Оставьте!

Но майор, казалось, только и ждал того, чтобы его просили успокоиться, для того чтобы рассвирепеть окончательно. Он вдруг вскочил и, шатаясь, направился к потному офицеру.

— Я дерзости говорю? Кто постарше вас, двадцать лет своему царю служит, — дерзости? Ах ты, мальчишка! — вдруг запищал он, все более и более воодушевляясь звуками своего голоса. — Подлец!

Но опустим скорее завесу над этой глубокогрустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно; но одна отрада жизни в тех ужасаю-

щих самое холодное воображение условиях отсутствия всего человеческого и безнадежности выхода из них, одна отрада есть забвение, уничтожение сознания. На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть ярко, — придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела.

18

На другой день бомбардирование продолжалось с тою же силою. Часов в одиннадцать утра Володя Козельцов сидел в кружке батарейных офицеров и, уже успев немного привыкнуть к ним, всматривался в новые лица, наблюдал, расспрашивал и рассказывал. Скромная, несколько притязательная на ученость беседа артиллерийских офицеров внушала ему уважение и нравилась. Стыдливая же, невинная и красивая наружность Володи располагала к нему офицеров. Старший офицер в батарее, капитан, невысокий рыжеватый мужчина с хохолком и гладенькими височками, воспитанный по старым преданиям артиллерии, дамский кавалер и будто бы ученый, расспрашивал Володю о знаниях его в артиллерии, новых изобретениях, ласково подтрунивал над его молодостью и хорошеньким личиком и вообще обращался с ним, как отец с сыном, что очень приятно было Володе. Подпоручик Дяденко, молодой офицер, говоривший хохлацким выговором, в оборванной шинели и с взъерошенными волосами, хотя и говорил весьма громко и беспрестанно ловил случаи о чем-нибудь желчно поспорить и имел резкие движения, все-таки нравился Володе, который под этой грубой внешностью не мог не видеть в нем очень хорошего и чрезвычайно доброго человека. Дяденко предлагал беспрестанно Володе свои услуги и доказывал ему, что все орудия в Севастополе поставлены не по правилам. Только поручик Черновицкий, с высоко поднятыми бровями, хотя и был учтивее всех и одет в сюртук, довольно чистый, хотя и не новый, но тщательно заплатанный, и выказывал золотую цепочку на атласном жилете, не нравился Володе. Он все расспрашивал его, что делает государь и военный министр, и рассказывал ему с ненатуральным восторгом подвиги храбрости, свершенные в Севастополе, жалел о том, как мало встречаешь патриотизма и какие делаются неблаго-

разумные распоряжения и т. д., вообще выказывал много знания, ума и благородных чувств; но почему-то все это казалось Володе заученным и неестественным. Главное, он замечал, что прочие офицеры почти не говорили с Черновицким. Юнкер Вланг, которого он разбудил вчера, тоже был тут. Он ничего не говорил, но, скромно сидя в уголку, смеялся, когда было что-нибудь смешное, вспоминал, когда забывали что-нибудь, подавал водку и делал папироски для всех офицеров. Скромные ли, учтивые манеры Володи, который обращался с ним так же, как с офицером, и не помыкал им, как мальчишкой, или приятная наружность пленили *Влангу,* как называли его солдаты, склоняя почему-то в женском роде его фамилию, только он не спускал своих добрых больших глупых глаз с лица нового офицера, предугадывал и предупреждал все его желания и все время находился в каком-то любовном экстазе, который, разумеется, заметили и подняли на смех офицеры.

Перед обедом сменился штабс-капитан с бастиона и присоединился к их обществу. Штабс-капитан Краут был белокурый красивый бойкий офицер с большими рыжими усами и бакенбардами; он говорил по-русски отлично, но слишком правильно и красиво для русского. В службе и в жизни он был так же, как в языке: он служил прекрасно, был отличный товарищ, самый верный человек по денежным отношениям; но просто как человек, именно оттого, что все это было слишком хорошо, — чего-то в нем недоставало. Как все русские немцы, по странной противоположности с идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей степени.

— Вот он, наш герой является! — сказал капитан в то время, как Краут, размахивая руками и побрякивая шпорами, весело входил в комнату. — Чего хотите, Фридрих Крестьяныч: чаю или водки?

— Я уж приказал себе чайку поставить, — отвечал он, — а водочки покамест хватить можно для услаждения души. Очень приятно познакомиться; прошу нас любить и жаловать, — сказал он Володе, который, встав, поклонился ему, — штабс-капитан Краут. Мне на бастионе фейерверкер сказывал, что вы прибыли еще вчера.

— Очень вам благодарен за вашу постель: я ночевал на ней.

— Покойно ли вам только было? там одна ножка сломана; да все некому починить — в осадном-то положении, — ее подкладывать надо.

— Ну что, счастливо отдежурили? — спросил Дяденко.

— Да ничего, только Скворцову досталось, да лафет один вчера *починили*. Вдребезги разбили станину.

Он встал с места и начал ходить; видно было, что он весь находился под влиянием приятного чувства человека, только что вышедшего из опасности.

— Что, Дмитрий Гаврилыч, — сказал он, потрясая капитана за коленки, — как поживаете, батюшка? Что ваше представленье, молчит еще?

— Ничего еще нет.

— Да и не будет ничего, — заговорил Дяденко, — я вам доказывал это прежде.

— Отчего же не будет?

— Оттого, что не так написали реляцию.

— Ах вы, спорщик, спорщик, — сказал Краут, весело улыбаясь, — настоящий хохол неуступчивый. Ну, вот вам назло же, выйдет вам поручика.

— Нет, не выйдет.

— Вланг, принесите-ка мне мою трубочку да набейте, — обратился он к юнкеру, который тотчас же охотно побежал за трубкой.

Краут всех оживил, рассказывал про бомбардированье, расспрашивал, что без него делалось, заговаривал со всеми.

19

— Ну, как? вы уж устроились у нас? — спросил Краут у Володи. — Извините, как ваше имя и отчество? У нас, вы знаете, уж такой обычай в артиллерии. Лошадку верховую приобрели?

— Нет, — сказал Володя, — я не знаю, как быть. Я капитану говорил: у меня лошади нет, да и денег тоже нет, покуда я не получу фуражных и подъемных. Я хочу просить покамест лошади у батарейного командира, да боюсь, как бы он не отказал мне.

— Аполлон Сергеич-то? — Он произвел губами звук, выражающий сильное сомнение, и посмотрел на капитана. — Вряд!

— Что ж, откажет — не беда, — сказал капитан, — тут-то лошади, по правде, и не нужно, а все попытать можно, я спрошу нынче.

— Как! вы его не знаете, — вмешался Дяденко, — другое что откажет, а им ни за что... хотите пари?..

— Ну, да ведь уж известно, вы всегда противоречите.

— Оттого противоречу, что я знаю, он на другое скуп, а лошадь даст, потому что ему нет расчета отказать.

— Как нет расчета, когда ему здесь по восемь рублей овес обходится! — сказал Краут. — Расчет-то есть не держать лишней лошади!

— Вы просите себе Скворца, Владимир Семеныч, — сказал Вланг, вернувшийся с трубкой Краута, — отличная лошадка!

— С которой вы в Сороках в канаву упали? А? Вланга? — засмеялся штабс-капитан.

— Нет, да что же вы говорите, по восемь рублей овес, — продолжал спорить Дяденко, — когда у него справка по десять с полтиной; разумеется, не расчет.

— А еще бы у него ничего не оставалось! Небось вы будете батарейным командиром, так в город не дадите лошади съездить!

— Когда я буду батарейным командиром, у меня будут, батюшка, лошади по четыре гарнчика кушать; доходов не буду собирать, не бойтесь.

— Поживем, посмотрим, — сказал штабс-капитан. — И вы будете брать доход, и они, как будут батереей командовать, тоже будут остатки в карман класть, — прибавил он, указывая на Володю.

— Отчего же вы думаете, Фридрих Крестьяныч, что и они захотят пользоваться? — вмешался Черновицкий. — Может, у них состояние есть: так зачем же они станут пользоваться?

— Нет-с, уж я... извините меня, капитан, — покраснев до ушей, сказал Володя, — уж я это считаю неблагородно.

— Эге-ге! Какой он бедовый! — сказал Краут. — Дослужитесь до капитана, не то будете говорить.

— Да это все равно; я только думаю, что ежели не мои деньги, то я и не могу их брать.

— А я вам вот что скажу, молодой человек, — начал более серьезным тоном штабс-капитан. — Вы знаете ли, что когда вы командуете батареей, то у вас, ежели

хорошо ведете дела, непременно остается в мирное время пятьсот рублей, в военное — тысяч семь, восемь, и от одних лошадей. Ну и ладно. В солдатское продовольствие батарейный командир не вмешивается: уж это так искони ведется в артиллерии; ежели вы дурной хозяин, у вас ничего не останется. Теперь вы должны издерживать, против положения, на ковку — раз (он загнул один палец), на аптеку — два (он загнул другой палец), на канцелярию — три, на подручных лошадей по пятьсот целковых платят, батюшка, а ремонтная цена пятьдесят, и требуют, — это четыре. Вы должны против положения воротники переменить солдатам, на уголь у вас много выходит, стол вы держите для офицеров. Ежели вы батарейный командир, вы должны жить прилично: вам и коляску нужно, и шубу, и всякую штуку, и другое, и третье, и десятое... да что и говорить...

— А главное, — подхватил капитан, молчавший все время, — вот что, Владимир Семеныч: вы представьте себе, что человек, как я, например, служит двадцать лет сперва на двух, а потом на трехстах рублях жалованья в нужде постоянной; так не дать ему хоть за его службу кусок хлеба под старость нажить, когда комисьонеры в неделю десятки тысяч наживают?

— Э! да что тут! — снова заговорил штабс-капитан. — Вы не торопитесь судить, а поживите-ка да послужите.

Володе ужасно стало совестно и стыдно за то, что он так необдуманно сказал, и он пробормотал что-то и молча продолжал слушать, как Дяденко с величайшим азартом принялся спорить и доказывать противное.

Спор был прерван приходом денщика полковника, который звал кушать.

— А вы нынче скажите Аполлону Сергеичу, чтоб он вина поставил, — сказал Черновицкий, застегиваясь, капитану. — И что он скупится? Убьют, так никому не достанется!

— Да вы сами скажите, — отвечал капитан.

— Нет уж, вы старший офицер: надо порядок во всем.

20

Стол был отодвинут от стены и грязной скатертью накрыт в той самой комнате, в которой вчера Володя являлся полковнику. Батарейный командир нынче по-

дал ему руку и расспрашивал про Петербург и про дорогу.

— Ну-с, господа, кто водку пьет, милости просим! Прапорщики не пьют, — прибавил он, улыбаясь Володе.

Вообще батарейный командир казался нынче вовсе не таким суровым, как вчера; напротив, он имел вид доброго, гостеприимного хозяина и старшего товарища. Но несмотря на то, все офицеры, от старого капитана до спорщика Дяденки, по одному тому, как они говорили, учтиво глядя в глаза командиру, и как робко подходили друг за другом пить водку, показывали к нему большое уважение.

Обед состоял из большой миски щей, в которых плавали жирные куски говядины и огромное количество перцу и лаврового листа, польских зразов с горчицей и колдунов с не совсем свежим маслом. Салфеток не было, ложки были жестяные и деревянные, стаканов было два, и на столе стоял только графин воды, с отбитым горлышком; но обед был не скучен: разговор не умолкал. Сначала речь шла о Инкерманском сражении, в котором участвовала батарея и из которого каждый рассказывал свои впечатления и соображения о причинах неудачи и умолкал, когда начинал говорить сам батарейный командир; потом разговор, естественно, перешел к недостаточности калибра легких орудий, к новым облегченным пушкам, причем Володя успел показать свои знания в артиллерии. Но на настоящем ужасном положении Севастополя разговор не останавливался, как будто каждый слишком много думал об этом предмете, чтоб еще говорить о нем. Тоже об обязанностях службы, которые должен был нести Володя, к его удивлению и огорчению, совсем не было речи, как будто он приехал в Севастополь только затем, чтобы рассказывать об облегченных орудиях и обедать у батарейного командира. Во время обеда недалеко от дома, в котором они сидели, упала бомба. Пол и стены задрожали, как от землетрясения, и окна застлало пороховым дымом.

— Вы этого, я думаю, в Петербурге не видали; а здесь часто бывают такие сюрпризы, — сказал батарейный командир. — Посмотрите, Вланг, где это лопнула.

Вланг посмотрел и донес, что на площади, и о бомбе больше речи не было.

Перед самым концом обеда старичок, батарейный писарь, вошел в комнату с тремя запечатанными конвертами и подал их батарейному командиру. «Вот этот *весьма нужный*, сейчас казак привез от начальника артиллерии». Все офицеры невольно с нетерпеливым ожиданием смотрели на опытные в этом деле пальцы батарейного командира, сламывавшие печать конверта и достававшие оттуда *весьма нужную* бумагу. «Что это могло быть?» — делал себе вопрос каждый. Могло быть совсем выступление на отдых из Севастополя, могло быть назначение всей батареи на бастионы.

— Опять! — сказал батарейный командир, сердито швырнув на стол бумагу.

— Об чем, Аполлон Сергеич? — спросил старший офицер.

— Требуют офицера с прислугой на какую-то там мортирную батарею. У меня и так всего четыре человека офицеров и прислуги полной в строй не выходит, — ворчал батарейный командир, — а тут требуют еще. Однако надо кому-нибудь идти, господа, — сказал он, помолчав немного, — приказано в семь часов быть на Рогатке... Послать фельдфебеля! Кому же идти, господа, решайте, — повторил он.

— Да вот они еще нигде не были, — сказал Черновицкий, указывая на Володю.

Батарейный командир ничего не ответил.

— Да, я бы желал, — сказал Володя, чувствуя, как холодный пот выступал у него по спине и шее.

— Нет, зачем! — перебил капитан. — Разумеется, никто не откажется, но и напрашиваться не след; а коли Аполлон Сергеич предоставляет это нам, то кинуть жребий, как и тот раз делали.

Все согласились. Краут нарезал бумажки, скатал их и насыпал в фуражку. Капитан шутил и даже решился при этом случае попросить вина у полковника, для храбрости, как он сказал. Дяденко сидел мрачный. Володя улыбался чему-то, Черновицкий уверял, что непременно ему достанется, Краут был совершенно спокоен.

Володе первому дали выбирать. Он взял один билетик, который был подлиннее, но тут же ему пришло в голову переменить, — взял другой, поменьше и потолще, и, развернув, прочел на нем: «Идти».

— Мне, — сказал он, вздохнув.

— Ну, и с богом. Вот вы и обстреляетесь сразу, — сказал батарейный командир, с доброй улыбкой глядя на смущенное лицо прапорщика. — Только поскорей собирайтесь. А чтобы вам веселей было, Вланг пойдет с вами за орудийного фейерверкера.

21

Вланг был чрезвычайно доволен своим назначением, живо побежал собираться и, одетый, пришел помогать Володе и все уговаривал его взять с собой и койку, и шубу, и старые «Отечественные записки», и кофейник спиртовой, и другие ненужные вещи. Капитан посоветовал Володе прочесть сначала по *«Руководству»* о стрельбе из мортир и выписать тотчас же оттуда таблицу углов возвышения. Володя тотчас же принялся за дело и, к удивлению и радости своей, заметил, что хотя чувство страха опасности и, еще более того, что он будет трусом, беспокоили его еще немного, но далеко не в той степени, в какой это было накануне. Отчасти причиной тому было влияние дня и деятельности, отчасти и главное то, что страх, как и каждое сильное чувство, не может в одной степени продолжаться долго. Одним словом, он уже успел перебояться. Часов в семь, только что солнце начинало прятаться за Николаевской казармой, фельдфебель вошел к нему и объявил, что люди готовы и дожидаются.

— Я *Вланге* список отдал. Вы у него извольте спросить, ваше благородие! — сказал он.

Человек двадцать артиллерийских солдат в тесаках без принадлежности стояли за углом дома. Володя вместе с юнкером подошел к ним. «Сказать ли им маленькую речь, или просто сказать: «Здорово, ребята!», или ничего не сказать? — подумал он. — Да и отчего ж не сказать: «Здорово, ребята!» — это должно даже». И он смело крикнул своим звучным голоском: «Здорово, ребята!» Солдаты весело отозвались: молодой, свежий голосок приятно прозвучал в ушах каждого. Володя бодро шел впереди солдат, и хотя сердце у него стучало так, как будто он пробежал во весь дух несколько верст, походка была легкая и лицо веселое. Подходя уже к самому Малахову кургану, поднимаясь на гору, он заметил, что Вланг, ни на шаг не отстававший от него и дома казавшийся таким храбрым, беспрестанно сторонился и нагибал голову, как

будто все бомбы и ядра, уже очень часто свиставшие тут, летели прямо на него. Некоторые из солдатиков делали то же, и вообще на большей части их лиц выражалось ежели не боязнь, то беспокойство. Эти обстоятельства окончательно успокоили и ободрили Володю.

«Так вот я и на Малаховом кургане, который я воображал совершенно напрасно таким страшным! И я могу идти, не кланяясь ядрам, и трушу даже гораздо меньше других! Так я не трус?» — подумал он с наслаждением и даже некоторым восторгом самодовольства.

Однако это чувство бесстрашия и самодовольства было скоро поколеблено зрелищем, на которое он наткнулся в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона. Четыре человека матросов, около бруствера, за ноги и за руки держали окровавленный труп какого-то человека без сапог и шинели и раскачивали его, желая перекинуть через бруствер. (На второй день бомбардирования не успевали убирать тела на бастионах и выкидывали их в ров, чтобы они не мешали на батареях). Володя с минуту остолбенел, увидав, как труп ударился на вершину бруствера и потом медленно скатился оттуда в канаву; но, на его счастье, тут же начальник бастиона встретился ему, отдал приказания и дал проводника на батарею и в блиндаж, назначенный для прислуги. Не буду рассказывать, сколько еще ужасов, опасностей и разочарований испытал наш герой в этот вечер; как вместо такой стрельбы, которую он видел на Волковом поле, при всех условиях точности и порядка, которые он надеялся найти здесь, он нашел две разбитые мортирки без прицелов, из которых одна была смята ядром в дуле, а другая стояла на щепках разбитой платформы; как он не мог до утра добиться рабочих, чтоб починить платформу; как ни один заряд не был того веса, который означен был в «Руководстве»; как ранили двух солдат его *команды* и как двадцать раз он был на волоске от смерти. По счастию, в помощь ему назначен был огромного роста комендор, моряк, с начала осады бывший при мортирах и убедивший его в возможности еще действовать из них, с фонарем водивший его ночью по всему бастиону, точно как по своему огороду, и обещавший к завтраму все устроить. Блиндаж, к которому провел его проводник, была вырытая в каменном грунте, в две кубические сажени продолговатая яма, накрытая аршинными дубовыми бревнами. В ней-то он поместился со всеми своими солдатами.

Вланг, первый, как только увидал в аршин низенькую дверь блиндажа, опрометью, прежде всех, вбежал в нее и, чуть не разбившись о каменный пол, забился в угол, из которого уже не выходил больше. Володя же, когда все солдаты поместились вдоль стен на полу и некоторые закурили трубочки, разбил свою кровать в углу, зажег свечку и, закурив папироску, лег на койку. Над блиндажом слышались беспрестанные выстрелы, но не слишком громко, исключая одной пушки, стоявшей рядом и потрясавшей блиндаж так сильно, что с потолка земля сыпалась. В самом блиндаже было тихо: только солдаты, еще дичась нового офицера, изредка переговаривались, прося один другого посторониться или огню — трубочку закурить; крыса скреблась где-то между камнями, или Вланг, не пришедший еще в себя и дико смотревший кругом, вздыхал вдруг громким вздохом. Володя на своей кровати, в набитом народом уголке, освещенном одной свечкой, испытывал то чувство уютности, которое было у него, когда ребенком, играя в прятки, бывало, он залезал в шкаф или под юбку матери и, не переводя дыхания, слушал, боялся мрака и вместе наслаждался чем-то. Ему было и жутко немножко и весело.

22

Минут через десять солдатики поосмелились и поразговорились. Поближе к огню и кровати офицера расположились люди позначительнее — два фейерверкера: один — седой, старый, со всеми медалями и крестами, исключая Георгиевского; другой — молодой, из кантонистов, куривший верченые папироски. Барабанщик, как и всегда, взял на себя обязанность прислуживать офицеру. Бомбардиры и кавалеры сидели поближе, а уж там, в тени около входа, поместились *покорные*. Между ними-то и начался разговор. Поводом к нему был шум быстро ввалившегося в блиндаж человека.

— Что, брат, на улице не посидел? али не весело девки играют? — сказал один голос.

— Такие песни играют чудные, что в деревне никогда не слыхивали, — сказал, смеясь, тот, который вбежал в блиндаж.

— А не любит Васин бомбов, ох, не любит! — сказал один из аристократического угла.

— Что ж! когда нужно, совсем другая статья! — сказал медленный голос Васина, который когда говорил, то все другие замолкали. — Двадцать четвертого числа так палили по крайности; а то что ж дурно-то на говне убьет, и начальство за это нашему брату спасибо не говорит.

— Вот Мельников — тот небось все на дворе сидит, — сказал кто-то.

— А пошлите его сюда, Мельникова-то, — прибавил старый фейерверкер, — и в самом деле убьет так, понапрасну.

— Что это за Мельников? — спросил Володя.

— А такой у нас, ваше благородие, глупый солдатик есть. Он ничего как есть не боится и теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть: он и из себя-то на *ведмедя* похож.

— Он заговор знает, — сказал медлительный голос Васина из другого угла.

Мельников вошел в блиндаж. Это был толстый (что чрезвычайная редкость между солдатами), рыжий, красный мужчина, с огромным выпуклым лбом и выпуклыми ясно-голубыми глазами.

— Что, ты не боишься бомб? — спросил его Володя.

— Чего бояться бомбов-то! — отвечал Мельников, пожимаясь и почесываясь, — меня из бомбы не убьют, я знаю.

— Так ты бы захотел тут жить?

— А известно, захотел бы. Тут весело! — сказал он, вдруг расхохотавшись.

— О, так тебя надо на вылазку взять! Хочешь, я скажу генералу? — сказал Володя, хотя он не знал здесь ни одного генерала.

— А как не хотеть! Хочу!

И Мельников спрятался за других.

— Давайте в носки, ребята! У кого карты есть? — послышался его торопливый голос.

Действительно, скоро в заднем углу завязалась игра — слышались удары по носу, смех и козырянье. Володя напился чаю из самовара, который наставил ему барабанщик, угощал фейерверкеров, шутил, заговаривал с ними, желая заслужить популярность и очень довольный тем уважением, которое ему оказывали. Солдатики тоже, заметив, что барин *про́стый*, поразговорились. Один рассказывал, как скоро должно кончиться осадное положение в Севастополе, что ему верный флотский человек

рассказывал, как Кистентин, царев брат, с мериканским флотом идет нам на выручку, еще — как скоро уговор будет, чтобы не палить две недели и отдых дать, а коли кто выпалит, то за каждый выстрел семьдесят пять копеек штрафу платить будут.

Васин, который, как успел рассмотреть Володя, был маленький, с большими добрыми глазами, бакенбардист, рассказал при общем сначала молчании, а потом хохоте, как, приехав в отпуск, сначала ему были рады, а потом отец стал его посылать на работу, а за женой лесничий поручик дрожки присылал. Все это чрезвычайно забавляло Володю. Он не только не чувствовал ни малейшего страха или неудовольствия от тесноты и тяжелого запаха в блиндаже, но ему чрезвычайно весело и приятно было.

Уже многие солдаты храпели. Вланг тоже растянулся на полу, и старый фейерверкер, расстелив шинель, крестясь, бормотал молитвы перед сном, когда Володе захотелось выйти из блиндажа — посмотреть, что на дворе делается.

— Подбирай ноги! — закричали друг другу солдаты, только что он встал; и ноги, поджимаясь, дали ему дорогу.

Вланг, казавшийся спящим, вдруг поднял голову и схватил за полу шинели Володю.

— Ну полноте, не ходите, как можно! — заговорил он слезливо-убедительным тоном. — Ведь вы еще не знаете; там беспрестанно падают ядра; лучше здесь...

Но, несмотря на просьбы Вланга, Володя выбрался из блиндажа и сел на пороге, на котором уже сидел, переобуваясь, Мельников.

Воздух был чистый и свежий — особенно после блиндажа; ночь была ясная и тихая. За гулом выстрелов слышался звук колес телег, привозивших туры, и говор людей, работающих на пороховом погребе. Над головами стояло высокое звездное небо, по которому беспрестанно пробегали огненные полосы бомб; налево, в аршине, маленькое отверстие вело в другой блиндаж, в которое виднелись ноги и спины матросов, живших там, и слышались пьяные голоса их; впереди виднелось возвышение порохового погреба, мимо которого мелькали фигуры согнувшихся людей и на котором, на самом верху, под пулями и бомбами, которые беспрестанно свистели в этом месте, стояла какая-то высокая фигура в черном пальто, с руками в карманах, и ногами притаптывала землю, которую

мешками носили туда другие люди. Часто бомба пролетала и рвалась весьма близко от погреба. Солдаты, носившие землю, пригибались, сторонились; черная же фигура не двигалась, спокойно утаптывая землю ногами, и все в том же положении оставалась на месте.

— Кто этот черный? — спросил Володя у Мельникова.

— Не могу знать; пойду посмотрю.

— Не ходи, не нужно.

Но Мельников, не слушая, встал, подошел к черному человеку и весьма долго, так же равнодушно и недвижно, стоял около него.

— Это погребной, ваше благородие, — сказал он, возвратившись, — погребок пробило бомбой, так пехотные землю носют.

Изредка бомбы летели прямо, казалось, к двери блиндажа.

Тогда Володя прятался за угол и снова высовывался, глядя наверх, не летит ли еще сюда. Хотя Вланг несколько раз из блиндажа умолял Володю вернуться, он часа три просидел на пороге, находя какое-то удовольствие в испытывании судьбы и наблюдении за полетом бомб. Под конец вечера уж он знал, откуда сколько стреляет орудий и куда ложатся их снаряды.

23

На другой день, 27-го числа, после десятичасового сна, Володя, свежий, бодрый, рано утром вышел на порог блиндажа. Вланг тоже было вылез вместе с ним, но при первом звуке пули стремглав, пробивая себе головой дорогу, кубарем бросился назад в отверстие блиндажа, при общем хохоте тоже большей частью повышедших на воздух солдатиков. Только Васин, старик фейерверкер и несколько других выходили редко в траншею; остальных нельзя было удержать: все повысыпали на свежий утренний воздух из смрадного блиндажа и, несмотря на столь же сильное, как и накануне, бомбардированье, расположились кто около порога, кто под бруствером. Мельников уже с самой зорьки прогуливался по батареям, равнодушно поглядывая вверх.

Около порога сидели два старых и один молодой курчавый солдат, из жидов по наружности. Солдат этот, подняв одну из валявшихся пуль и черепком расплюснув ее

о камень, ножом вырезал из нее крест на манер Георгиевского; другие, разговаривая, смотрели на его работу. Крест действительно выходил очень красив.

— А что, как еще постоим здесь сколько-нибудь, — говорил один из них, — так по замиренье всем в отставку срок выйдет.

— Как же! мне и то всего четыре года до отставки оставалось, а теперь пять месяцев простоял в Сивастополе.

— К отставке не считается, слышь, — сказал другой.

В это время ядро просвистело над головами говоривших и в аршине ударилось от Мельникова, подходившего к ним по траншее.

— Чуть не убило Мельникова, — сказал один.

— Не убьет, — отвечал Мельников.

— Вот на же тебе хрест за храбрость, — сказал молодой солдат, делавший крест и отдавая его Мельникову.

— Нет, брат, тут, значит, месяц за год ко всему считается — на то приказ был, — продолжался разговор.

— Как ни суди, биспременно по замирении исделают смотр царский в *Аршаве,* и коли не отставка, так в бессрочные выпустят.

В это время визгливая, зацепившаяся пулька пролетела над самыми головами разговаривающих и ударилась о камень.

— Смотри, еще до вечера *вчистую* выйдешь, — сказал один из солдат.

И все засмеялись.

И не только до вечера, но через два часа уже двое из них получили чистую, а пять были ранены; но остальные шутили точно так же.

Действительно, к утру две мортирки были приведены в такое положение, что можно было стрелять из них. Часу в десятом, по полученному приказанию от начальника бастиона, Володя вызвал свою команду и с ней вместе пошел на батарею.

В людях незаметно было и капли того чувства боязни, которое выражалось вчера, как скоро они принялись за дело. Только Вланг не мог преодолеть себя: прятался и гнулся все так же, и Васин потерял несколько свое спокойствие, суетился и приседал беспрестанно. Володя же был в чрезвычайном восторге: ему не приходила и мысль об опасности. Радость, что он исполняет

хорошо свою обязанность, что он не только не трус, но даже храбр, чувство командования и присутствия двадцати человек, которые, он знал, с любопытством смотрели на него, сделали из него совершенного молодца. Он даже тщеславился своей храбростью, франтил перед солдатами, вылезал на банкет и нарочно расстегнул шинель, чтобы его заметнее было. Начальник бастиона, обходивший в это время *свое хозяйство,* по его выражению, как он ни привык в восемь месяцев ко всяким родам храбрости, не мог не полюбоваться на этого хорошенького мальчика в расстегнутой шинели, из-под которой видна красная рубашка, обхватывающая белую нежную шею, с разгоревшимся лицом и глазами, похлопывающего руками и звонким голоском командующего: «Первое, второе!» — и весело взбегающего на бруствер, чтобы посмотреть, куда падает его бомба. В половине двенадцатого стрельба с обеих сторон затихла, а ровно в двенадцать часов начался штурм Малахова кургана, второго, третьего и пятого бастионов.

24

По сю сторону бухты, между Инкерманом и Северным укреплением, на холме телеграфа, около полудня стояли два моряка, один — офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, вместе с казаком только что подъехавший к большой вехе.

Солнце светло и высоко стояло над бухтой, игравшею с своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. Севастополь, все тот же, с своей недостроенной церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с своими маленькими лазуревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов; все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на солнце морем, виднелся на той стороне бухты. Над горизонтом моря, по которому дымилась полоса черного дыма какого-то парохода, ползли длинные белые облака, обе-

щая ветер. По всей линии укреплений, особенно по горам левой стороны, по нескольку вдруг, беспрестанно, с молнией, блестевшей иногда даже в полуденном свете, рождались клубки густого, сжатого белого дыма, разрастались, принимая различные формы, поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти, мелькая то там, то здесь, рождались по горам, на батареях неприятельских, и в городе, и высоко на небе. Звуки взрывов не умолкали и, переливаясь, потрясали воздух...

К двенадцати часам дымки стали показываться реже и реже, воздух меньше колебался от гула.

— Однако второй бастион уже совсем не отвечает, — сказал гусарский офицер, сидевший верхом, — весь разбит! Ужасно!

— Да и Малахов нешто на три их выстрела посылает один, — отвечал тот, который смотрел в трубу. — Это меня бесит, что они молчат. Вот опять прямо в Корниловскую попала, а она ничего не отвечает.

— А посмотри, к двенадцати часам, я говорил, они всегда перестают бомбардировать. Вот и нынче так же. Поедем лучше завтракать... нас ждут уже теперь... нечего смотреть.

— Постой, не мешай! — отвечал смотревший в трубу, с особенной жадностью глядя на Севастополь.

— Что там? что?

— Движение в траншеях, густые колонны идут.

— Да и так видно, — сказал моряк, — идут колоннами. Надо дать сигнал.

— Смотри, смотри! вышли из траншеи.

Действительно, простым глазом видно было, как будто темные пятна двигались с горы через балку от французских батарей к бастионам. Впереди этих пятен видны были темные полосы уже около нашей линии. На бастионах вспыхнули в разных местах, как бы перебегая, белые дымки выстрелов. Ветер донес звуки ружейной, частой, как дождь бьет по окнам, перестрелки. Черные полосы двигались в самом дыму, ближе и ближе. Звуки стрельбы, усиливаясь и усиливаясь, слились в продолжительный перекатывающийся грохот. Дым, поднимаясь чаще и чаще, расходился быстро по линии и слился, наконец, весь в одно лиловатое, свивающееся и развивающееся облако, в котором кое-где едва мелькали огни и черные точки — все звуки соединились в один перекатывающийся треск.

— Штурм! — сказал офицер с бледным лицом, отдавая трубку моряку.

Казаки проскакали по дороге, офицеры верхами, главнокомандующий в коляске и со свитой проехал мимо. На каждом лице видны были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного.

— Не может быть, чтобы взяли! — сказал офицер на лошади.

— Ей-богу, знамя! посмотри! посмотри! — сказал другой задыхаясь, отходя от трубы, — французское на Малаховом!

— Не может быть!

25

Козельцов-старший, успевший отыграться в ночь и снова спустить все, даже золотые, зашитые в обшлаге, перед утром спал еще нездоровым, тяжелым, но крепким сном, в оборонительной казарме пятого бастиона, когда, повторяемый различными голосами, раздался роковой крик:

— Тревога!..

— Что вы спите, Михайло Семеныч! Штурм! — крикнул ему чей-то голос.

— Верно, школьник какой-нибудь, — сказал он, открывая глаза и не веря еще.

Но вдруг он увидел одного офицера, бегающего без всякой видимой цели из угла в угол, с таким бледным, испуганным лицом, что он все понял. Мысль, что его могут принять за труса, не хотевшего выйти к роте в критическую минуту, поразила его ужасно. Он во весь дух побежал к роте. Стрельба орудийная кончилась; но трескотня ружей была во всем разгаре. Пули свистели не по одной, как штуцерные, а роями, как стадо осенних птичек пролетает над головами. Все то место, на котором стоял вчера его батальон, было застлано дымом, были слышны недружные крики и возгласы. Солдаты, раненые и нераненые, толпами попадались ему навстречу. Пробежав еще шагов тридцать, он увидал свою роту, прижавшуюся к стенке, и лицо одного из своих солдат, но бледное-бледное, испуганное. Другие лица были такие же.

Чувство страха невольно сообщилось и Козельцову: мороз пробежал ему по коже.

— Заняли Шварца, — сказал молодой офицер, у которого зубы щелкали друг о друга. — Все пропало!

— Вздор, — сказал сердито Козельцов и, желая возбудить себя жестом, выхватил свою маленькую железную тупую сабельку и закричал: — Вперед, ребята! Ура-а!

Голос был звучный и громкий; он возбудил самого Козельцова. Он побежал вперед вдоль траверса; человек пятьдесят солдат с криками побежало за ним. Когда они выбежали из-за траверса на открытую площадку, пули посыпались буквально как град; две ударились в него, но куда и что они сделали — контузили, ранили его, он не имел времени решить. Впереди, в дыму, видны были ему уже синие мундиры, красные панталоны и слышны нерусские крики; один француз стоял на бруствере, махал шапкой и кричал что-то. Козельцов был уверен, что его убьют; это-то и придавало ему храбрости. Он бежал вперед и вперед. Несколько солдат обогнали его; другие солдаты показались откуда-то сбоку и бежали тоже. Синие мундиры оставались в том же расстоянии, убегая от него назад к своим траншеям, но под ногами попадались раненые и убитые. Добежав уже до внешнего рва, все смешались в глазах Козельцова, и он почувствовал боль в груди и, сев на банкет, с огромным наслаждением увидал в амбразуру, как толпы синих мундиров в беспорядке бежали к своим траншеям и как по всему полю лежали убитые и ползали раненые в красных штанах и синих мундирах.

Через полчаса он лежал на носилках, около Николаевской казармы, и знал, что он ранен, но боли почти не чувствовал; ему хотелось только напиться чего-нибудь холодного и лечь попокойнее.

Маленький, толстый, с большими черными бакенбардами доктор подошел к нему и расстегнул шинель. Козельцов через подбородок смотрел на то, что делает доктор с его раной, и на лицо доктора, но боли никакой не чувствовал. Доктор закрыл рану рубашкой, отер пальцы о полы пальто и молча, не глядя на раненого, отошел к другому. Козельцов бессознательно следил глазами за тем, что делалось перед ним. Вспомнив то, что было на пятом бастионе, он с чрезвычайно отрадным чувством самодовольства подумал, что он хорошо исполнил свой долг, что в первый раз за всю свою службу он поступил так хорошо, как только можно было, и ни в чем не может упрекнуть себя. Доктор, перевязывая другого раненого

офицера, сказал что-то, указывая на Козельцова священнику с большой рыжей бородой, с крестом стоявшему тут.

— Что, я умру? — спросил Козельцов у священника, когда он подошел к нему.

Священник, не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому.

Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.

— Что, выбиты французы везде? — спросил он у священника.

— Везде победа за нами осталась, — отвечал священник, говоривший на *о,* скрывая от раненого, чтобы не огорчить его, то, что на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя.

— Слава богу, слава богу, — проговорил раненый, не чувствуя, как слезы текли по его щекам, и испытывая невыразимый восторг сознания того, что он сделал геройское дело.

Мысль о брате мелькнула на мгновенье в его голове. «Дай бог ему такого же счастия», — подумал он.

26

Но не такая участь ожидала Володю. Он слушал сказку, которую рассказывал ему Васин, когда закричали: «Французы идут!» Кровь прилила мгновенно к сердцу Володи, и он почувствовал, как похолодели и побледнели его щеки. С секунду он оставался недвижим; но, взглянув кругом, он увидел, что солдаты довольно спокойно застегивали шинели и вылезали один за другим; один даже — кажется, Мельников — шутливо сказал:

— Выходи с хлебом-солью, ребята!

Володя вместе с *Влангой,* который ни на шаг не отставал от него, вылез из блиндажа и побежал на батарею. Артиллерийской стрельбы ни с той, ни с другой стороны совершенно не было. Не столько вид спокойствия солдат, сколько жалкой, нескрываемой трусости юнкера возбудил его. «Неужели я могу быть похож на него?» — подумал он и весело подбежал к брустверу, около которого стояли его мортирки. Ему ясно видно было, как французы бежали к бастиону по чистому полю и как толпы их с блестящими на солнце штыками шевелились в ближайших

траншеях. Один, маленький, широкоплечий, в зуавском мундире, с шпагой в руке, бежал впереди и перепрыгивал через ямы. «Стрелять картечью!» — крикнул Володя, сбегая с банкета; но уже солдаты распорядились без него, и металлический звук выпущенной картечи просвистел над его головой, сначала из одной, потом из другой мортиры. «Первое! второе!» — командовал Володя, перебегая в дыму от одной мортиры к другой и совершенно забыв об опасности. Сбоку слышалась близкая трескотня ружей нашего прикрытия и суетливые крики.

Вдруг поразительный крик отчаяния, повторенный несколькими голосами, послышался слева: «Обходят! Обходят!» Володя оглянулся на крик. Человек двадцать французов показались сзади. Один из них, с черной бородой, в красной феске, красивый мужчина, был впереди всех, но, добежав шагов на десять до батареи, остановился и выстрелил и потом снова побежал вперед. С секунду Володя стоял как окаменелый и не верил глазам своим. Когда он опомнился и оглянулся, впереди его были на бруствере синие мундиры и даже один, спустившись, заклепывал пушку. Кругом него, кроме Мельникова, убитого пулею подле него, и Вланга, схватившего вдруг в руки хандшпуг и с яростным выражением лица и опущенными зрачками бросившегося вперед, никого не было. «За мной, Владимир Семеныч! За мной! Пропали!» — кричал отчаянный голос Вланга, хандшпугом махавшего на французов, зашедших сзади. Яростная фигура юнкера озадачила их. Одного, переднего, он ударил по голове, другие невольно приостановились, и Вланг, продолжая оглядываться и отчаянно кричать: «За мной, Владимир Семеныч! Что вы стоите! Бегите!» — подбежал к траншее, в которой лежала наша пехота, стреляя по французам. Вскочивши в траншею, он снова высунулся из нее, чтобы посмотреть, что делает его обожаемый прапорщик. Что-то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя, и все это пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших.

27

Вланг нашел свою батарею на второй оборонительной линии. Из числа двадцати солдат, бывших на мортирной батарее, спаслось только восемь.

В девятом часу вечера Вланг с батареей на пароходе, наполненном солдатами, пушками, лошадьми и ранеными, переправлялся на Северную. Выстрелов нигде не было. Звезды, так же как и прошлую ночь, ярко блестели на небе; но сильный ветер колыхал море. На первом и втором бастионе вспыхивали по земле молнии; взрывы потрясали воздух и освещали вокруг себя какие-то черные странные предметы и камни, взлетавшие на воздух. Что-то горело около доков, и красное пламя отражалось в воде. Мост, наполненный народом, освещался огнем с Николаевской батареи. Большое пламя стояло, казалось, над водой на далеком мыске Александровской батареи и освещало низ облака дыма, стоявшего над ним, и те же, как и вчера, спокойные, дерзкие огни блестели в море на далеком неприятельском флоте. Свежий ветер колыхал бухту. При свете зарева пожаров видны были мачты наших утопающих кораблей, которые медленно, глубже и глубже уходили в воду. Говору не слышно было на палубе; из-за равномерного звука разрезаемых волн и пара слышно было, как лошади фыркали и топали ногами на шаланде, слышны были командные слова капитана и стоны раненых. Вланг, не евший целый день, достал кусок хлеба из кармана и начал жевать, но вдруг, вспомнив о Володе, заплакал так громко, что солдаты, бывшие подле него, услыхали.

— Вишь, сам хлеб ест, а сам плачет, *Вланга*-то наш, — сказал Васин.

— Чудно! — сказал другой.

— Вишь, и наши казармы позажгли, — продолжал он, вздыхая, — и сколько там нашего брата пропало; а ни за что французу досталось!

— По крайности, сами живые вышли, и то слава ти господи, — сказал Васин.

— А все обидно!

— Да что обидно-то? Разве он тут разгуляется? Как же! Гляди, наши опять отберут. Уж сколько б нашего брата ни пропало, а, как бог свят, велит амператор — и отберут! Разве наши так оставят ему? Как же! На́ вот тебе голые стены, а шанцы-то все повзорвали. Небось свой значок на кургане поставил, а в город не суется. Погоди, еще расчет будет с тобой настоящий — дай срок, — заключил он, обращаясь к французам.

— Известно, будет! — сказал другой с убеждением.

По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев кипевших необыкновенной энергической жизнью, столько месяцев видевших сменяемых смертью одних за другими умирающих героев и столько месяцев возбуждавших страх, ненависть и, наконец, восхищение врагов, — на севастопольских бастионах уже нигде никого не было. Все было мертво, дико, ужасно — но не тихо: все еще разрушалось. По изрытой свежими взрывами, обсыпавшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей, и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. Все это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух.

Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мертвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться; но они не смели верить еще под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтоб исчез их непоколебимый враг, и молча, не шевелясь, с трепетом ожидали конца мрачной ночи.

Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, развиваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, — от места, всего облитого его кровью; от места, одиннадцать месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага, и которое теперь велено было оставить без боя.

Непонятно тяжело было для каждого русского первое впечатление этого приказания. Второе чувство было страх преследования. Люди чувствовали себя беззащитными, как только оставили те места, на которых привыкли драться, и тревожно толпились во мраке у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаниями, плакали и умоляли жители и денщики с кладью, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как

можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненного солдата, лежащего между пятьюстами такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, шестнадцать лет служившего при своем орудии и, по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью товарищей с крутого берега в бухту, и у флотских, только что выбивших закладки в кораблях и, бойко гребя, на баркасах отплывающих от них. Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.

27 декабря. Петербург.

МЕТЕЛЬ

Рассказ

I

В седьмом часу вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже не помню, но помню, где-то в Земле Войска Донского, около Новочеркасска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алешкой уселся в сани. За станционным домом казалось тепло и тихо. Хотя снегу не было сверху, над головой не виднелось ни одной звездочки, и небо казалось чрезвычайно низким и черным сравнительно с чистой снежной равниной, расстилавшейся впереди нас.

Едва миновав темные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее и засыпаннее, ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить вбок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокольчик стал замирать, струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришел в голову совет смотрителя не ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой.

— Не заблудиться бы нам? — сказал я ямщику. Но, не получив ответа, яснее предложил вопрос: — Что́, доедем до станции, ямщик? не заблудимся?

— А бог знает, — отвечал он мне, не поворачивая головы, — вишь, какая поземная расходится: ничего дороги не видать. Господи-батюшка!

— Да ты скажи лучше, надеешься ты довезти до станции или нет? — продолжал я спрашивать. — Доедем ли?

— Должны доехать, — сказал ямщик и еще продолжал говорить что-то, чего уже я не мог расслышать за ветром.

Ворочаться мне не хотелось; но и проплутать всю ночь в мороз и метель в совершенно голой степи, какова эта часть Земли Войска Донского, казалось очень невесело. Притом же, несмотря на то, что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, ямщик мой почему-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине, с ногами, а не сбоку, роста был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то не ямская — большая, раскачивающаяся в разные стороны; да и понукал он лошадей не так, как следует, а держа вожжи в обеих руках, точно как лакей, который сел на козлы за кучера, и, главное, не доверял я ему почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом, не нравилась и как будто не обещала ничего хорошего эта серьезная сгорбленная спина, торчавшая передо мною.

— А по-моему, лучше бы воротиться,— сказал мне Алешка,— плутать-то что́ веселого!

— Господи-батюшка! вишь, несет какая кура! ничего дороги не видать, все глаза залепило... Господи-батюшка! — ворчал ямщик.

Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей, передал вожжи Алешке, неловко выпростал ноги из сиденья и, хрустя большими сапогами по снегу, пошел искать дорогу.

— Что? куда ты? сбились, что ли? — спрашивал я; но ямщик не отвечал мне, а, отвернув лицо в сторону от ветра, который сек ему глаза, отошел от саней.

— Ну что? есть? — повторил я, когда он вернулся.

— Нету ничего, — сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбился с дороги, и, медлительно опять просунув свои большие ноги в передок, стал разбирать вожжи замерзлыми рукавицами.

— Что ж будем делать? — спросил я, когда мы снова тронулись.

— Что ж делать! поедем куда бог даст.

И мы поехали тою же мелкой рысью, уже очевидно целиком, где по сыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голому насту.

Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро; заметь низовая все усиливалась, и сверху начинал падать редкий сухой снег.

Ясно было, что мы едем бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба.

— Что, как ты думаешь, — спросил я опять ямщика, — доедем мы до станции?

— До которой? Назад приедем, коли дать волю лошадям: они привезут; а на ту вряд... только себя погубить можно.

— Ну, так пускай назад, — сказал я, — и в самом деле...

— Стало, ворочаться? — повторил ямщик.

— Да, да, ворочайся!

Ямщик пустил вожжи. Лошади побежали шибче, и хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменился, и скоро сквозь снег завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать.

— Анадысь так-то в заметь обратные с той станции поехали, — сказал он, — да в стогах и ночевали, к утру только приехали. Спасибо еще к стогам прибились, а то все бы чисто позамерзали — холод был. И то один ноги позаморозил, так три недели от них умирал.

— А теперь ведь не холодно и потише стало, — сказал я, — можно бы ехать?

— Оно тёпло-то, тёпло, да метет. Теперь взад, так оно полегче кажет, а метет дюже. Ехать бы можно, кабы кульер али что, по своей воле; а то ведь шутка ли — седока заморозишь. Как потом за вашу милость отвечать?

II

В это время сзади нас послышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас.

— Колокол кульерский, — сказал мой ямщик, — один такой на всей станции есть.

И действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош: чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотницкое заведение: три колокольчика — один большой в середине, с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квинты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной, глухой степи.

— Пошта бежит, — сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поравнялась с нами. — А что дорога? проехать можно? — крикнул он заднему из ямщиков; но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему.

Звук колокольчиков быстро замер по ветру, как только почта миновала нас.

Должно быть, моему ямщику стало стыдно.

— А то поедемте, барин! — сказал он мне, — люди проехали — теперь же их следок свежий.

Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две след был виден ясно; потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями, а скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти; как и прежде, ездили и против ветра, и по ветру, и вправо, и влево, и наконец дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, я говорил, что влево, а Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались, ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу; но все тщетно. Я тоже пошел было раз посмотреть, не дорога ли то, что мне мерещилось; но едва я с трудом сделал шагов шесть против ветра и убедился, что везде были одинаковые, однообразные белые слои снега и дорога мне виднелась только в воображении, — как уже я не видал саней. Я закричал: «Ямщик! Алешка!» — но голос мой — я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани, — саней не было, пошел направо — тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз: «Ямщик!» — тогда как он был в двух шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной, свихнувшейся набок шапкой вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням.

— Еще спасибо — тёпло, — сказал он, — а морозом хватит — беда!.. Господи-батюшка!

— Пускай лошадей, пусть везут назад, — сказал я, усевшись в сани. — Привезут? а, ямщик?

— Должны привезть.

Он бросил вожжи, ударил раза три кнутиком по седелке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотницкий колокольчик и еще два; но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотницким колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел один ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по двое ямщиков, слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица.

Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и ямщик мой, должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: «Поедем за ними».

III

Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону.

— Вишь, черт косоглазый, не видит, куда воротит, — на людей. Черт! — принялся ругаться хриплым, дребезжащим голосом один невысокий ямщик; старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бранить моего ямщика.

Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади и ямщик скрылись в белой мгле метели.

— Васили-ий! давай сюда буланого, так не поймаешь, — послышался еще его голос.

Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, взлез по шлее на одну из лошадей и, хрустя по снегу, спутанным галопцем скрылся по тому же направлению.

Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше.

— Как же! поймает! — сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей. — Уж коли к лошадям не пошла, значит — оголтелая лошадь, туда заведет, что и... не выйдет.

С тех пор как ямщик мой ехал сзади, он сделался как будто веселее и разговорчивее, чем я, так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как и что он, и скоро узнал, что он земляк мне, тульский, господский, из села Кирпичного, что у них земель мало стало и совсем хлеб рожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до рождества недостает и живут заработками, что меньшой брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец; что из их сел каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть не езжал ямщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь, слава богу, по сто двадцать рублей ассигнациями в год, из которых сто в семью посылает, и что жить бы хорошо, да «кульеры оченно звери, да и народ здесь всё ругатель».

— Ну, чего ругался ямщик-то этот? Господи-батюшка! разве я нарочно ему лошадей оборвал? разве я кому злодей? И чего поскакал за ними! сами бы пришли; а то только лошадей заморит, да и сам пропадет, — повторял богобоязненный мужичок.

— А это что чернеется? — спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас.

— А обоз. То-то любезная езда! — продолжал он, когда мы поравнялись с огромными, покрытыми рогожами возами, шедшими друг за другом на колесах. — Гляди, ни одного человека не видать — все спят. Сама умная лошадь знает: не собьешь ее с дороги никак. Мы тоже езжали с рядою, — прибавил он, — так знаем.

Действительно, странно было смотреть на эти огромные возы, засыпанные от рогожного верху до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем возу поднялась немного на два пальца покрытая снегом рогожа, и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожила одно занесенное снегом ухо, когда мы поравнялись с ней.

Проехав еще с полчаса молча, ямщик снова обратился ко мне.

— А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем?

— Не знаю, — отвечал я.

— Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем. Нет, мы не туда едем, мы тоже плутаем, — заключил он совершенно спокойно.

Видно было, что несмотря на то, что он был очень трусоват, — на миру и смерть красна, — он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прехладнокровно делал наблюдения над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа; мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по косогору или под гору, тогда как степь была везде ровная.

Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось, далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу; но через минуту мне уже ясно стало, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже; точно так же люди все спали под рогожами; и так же передовая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настораживала уши.

— Вишь, кружили, кружили, опять к тому же обозу выехали! — сказал мой ямщик недовольным тоном. — Кульерские лошади добрые: то-то он так и гонит дуром; а наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проездим.

Он прокашлялся.

— Вернемся-ка, барин, от греха.

— Зачем? куда-нибудь да приедем.

— Куда приехать? уж будем в степи ночевать. Как метет... Господи-батюшка!

Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно уже потеряв и дорогу и направление, не отыскивал дороги, а, весело покрикивая, продолжал ехать полной рысью, я уже не хотел отставать от них.

— Пошел за ними, — сказал я.

Ямщик поехал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной.

IV

Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий; казалось, начинало подмораживать: нос и щеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутанья, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину: горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега; фигуры передовых троек виднелись яснее, и когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно, — это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди: первая — курьерская, в которой все так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью; вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка *затишку*, сидели двое и не переставая курили трубочку, что видно было по искрам, блестевшим оттуда; и третья, в которой никого не видно было и, предположительно, ямщик спал в середине. Передовой ямщик, однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которым он ощупывал снег впереди себя, двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое, звучное покрикиванье и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стогов, из вторых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому:

— Слышь, Игнашка! влево совсем забрали: правее забирай, под погоду-то. — Или: — Что кружишь дуром? по снегу ступай, как снег лежит, — как раз выедешь. — Или: — Вправо-то, вправо-то пройди, братец ты мой! вишь, чернеет что-то, столб никак. — Или: — Что путаешь-то? что путаешь? Отпряжь-ка пегого да пусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу. Дело-то лучше будет!

Сам же тот, который советовал, не только не отпрягал пристяжной или не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армяка, и когда Игнашка-передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на курьерских ездил, то и поехал бы и вывел бы как раз на дорогу.

— А наши лошади в заметь передом не пойдут, — крикнул он, — не такие лошади!

— Так не мути! — отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей.

Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не вмешивался в это дело, хотя не спал еще, о чем я заключил по неугасаемой его трубочке и по тому, что, когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только, когда Игнашка в шестой или седьмой раз остановился, ему, видимо, досадно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему:

— Ну что стал опять? Вишь, найти дорогу хочет! Сказано, метель! Теперь землемер самый и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем... пошел, знай!

— Как же! небось почтальон в прошлом году до смерти замерз! — отозвался мой ямщик.

Ямщик третьей тройки не просыпался все время. Только раз, во время остановки, советчик крикнул:

— Филипп! а Филипп! — И, не получив ответа, заметил: — Уж не замерз ли? Ты бы, Игнашка, посмотрел.

Игнашка, который поспевал на все, подошел к саням и начал толкать спящего.

— Вишь, с косушки как его разобрало! Замерз, так скажи! — говорил он, раскачивая его.

Спящий промычал что-то и ругнулся.

— Жив, братцы! — сказал Игнашка и снова побежал вперед; и мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькая гнеденькая пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким галопцем.

V

Уже, я думаю, около полуночи к нам подъехали старичок и Василий, догонявшие оторвавшихся лошадей. Они поймали лошадей и нашли и догнали нас; но каким образом сделали они это в темную, слепую метель, средь голой степи, мне навсегда останется непонятным. Старичок, размахивая локтями и ногами, рысью ехал на коренной (другие две лошади были привязаны к хомуту: в метель нельзя бросать лошадей). Поравнявшись со мной, он снова принялся ругать моего ямщика:

— Вишь, черт косоглазый! право...

— Э, дядя Митрич, — крикнул сказочник из вторых саней, — жив? полезай к нам.

Но старик не отвечал ему, а продолжал браниться. Когда ему показалось достаточным, он подъехал ко вторым саням.

— Всех поймал? — сказали ему оттуда.

— А то нет!

И небольшая фигура его на рыси грудью взвалилась на спину лошади, потом соскочила на снег, не останавливаясь, пробежала за санями и ввалилась в них, с выпущенными кверху через грядку ногами. Высокий Василий, так же как и прежде, молча сел в передние сани с Игнашкой и с ним вместе стал искать дорогу.

— Вишь, ругатель... Господи-батюшка! — пробормотал мой ямщик.

Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне, в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откроешь глаза — та же неуклюжая шапка и спина, занесенные снегом, торчат передо мной, та же невысокая дуга, под которой между натянутыми ременными поводками узды поматывается, всё в одном расстоянии, голова коренной с черной гривой, мерно подбиваемой в одну сторону ветром; виднеется из-за спины та же гнеденькая пристяжная направо, с коротко подвязанным хвостом и вальком, изредка постукивающим о лубок саней. Посмотришь вниз — тот же сыпучий снег разрывают

полозья, и ветер упорно поднимает и уносит все в одну сторону. Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки; справа, слева все белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора — ничего не видно. Везде все бело, бело и подвижно: то горизонт кажется необъятно-далеким, то сжатым на два шага во все стороны, то вдруг белая высокая стена вырастает справа и бежит вдоль саней, то вдруг исчезает и вырастает спереди, чтобы убегать дальше и дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх — покажется светло в первую минуту, — кажется, сквозь туман видишь звездочки; но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы; небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно, однообразно и постоянно подвижно. Ветер как будто изменяется: то дует навстречу и лепит глаза снегом, то сбоку досадно закидывает воротник шубы на голову и насмешливо треплет меня им по лицу, то сзади гудит в какую-нибудь скважину. Слышно слабое неумолкаемое хрустение копыт и полозьев по снегу и замирающее, когда мы едем по глубокому снегу, звяканье колокольчиков. Только изредка, когда мы едем против ветра и по голому намерзлому черепку, ясно долетают до слуха энергическое посвистыванье Игната и заливистый звон его колокольчика с отзывающейся дребезжащей квинтой, и звуки эти вдруг отрадно нарушают унылый характер пустыни и потом снова звучат однообразно, с несносной верностью наигрывая все тот же самый мотив, который невольно я воображаю себе. Одна нога начала у меня зябнуть, и, когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег, насыпавшийся на воротник и шапку, проскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать; но мне было вообще еще тепло в обогретой шубе, и дремота клонила меня.

VI

Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении.

«Советчик, что все кричит из вторых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами, — думаю я, — вроде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика». И вот я вижу лестницу

нашего большого дома и пять человек дворовых, которые на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепьяно из флигеля; вижу Федора Филиппыча с завороченными рукавами нанкового сюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, подергивает там за ручник, поталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и озабоченным голосом кричит не переставая:

— На себя возьми, передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору, заноси в дверь! Вот так.

— Уж вы позвольте, Федор Филиппыч! мы одни, — робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения, из последних сил поддерживая один угол рояля.

Но Федор Филиппыч не унимается.

«И что это? — рассуждал я, — думает он, что он полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие, и с наслаждением расточает его? Должно быть, так». И я вижу почему-то пруд, усталых дворовых, которые по колено в воде тянут невод, и опять Федор Филиппыч с лейкой, крича на всех, бегает по берегу и только изредка подходит к воде, чтобы, придержав рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежей. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада, под жгучими прямыми лучами солнца, иду куда-то. Я еще очень молод, мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду, на свое любимое место, между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню чувство, с которым я, лежа, гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольствия и грусти. Все вокруг меня было так прекрасно, и так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось, я сам хорош, и одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтоб утешиться; но мухи, несносные мухи, не дают мне и здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня, на самом припеке; желтокрылые бабочки, как раскислые, перелетают с травки на травку. Я гляжу вверх; глазам

больно — солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями, — и кажется еще жарче. Я закрываю лицо платком; становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробьи в самой чаще. Один из них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чиликнув, вылетел из клумбы; другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и так же, как стрела, чиликая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду. Слышны смех и говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня; вот ближе, слышу, он зашевелил траву, вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках; а вот, поднимая угол платка и щекотя потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забилась около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать: пойти выкупаться. Но вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор:

— Ах, батюшки! Да что ж это! и мужчин никого нету!

— Что это, что? — спрашиваю я, выбегая на солнце, у дворовой женщины, которая, охая, бежит мимо меня. Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и стопятилетняя старуха Матрена, придерживая рукою платок, сбивающийся с головы, подпрыгивая и волоча одну ногу в шерстяном чулке, бежит к пруду. Две девочки бегут, держась друг за друга, и десятилетний мальчишка, в отцовском сюртуке, держась за посконную юбку одной из них, поспешает сзади.

— Что случилось? — спрашиваю я у них.

— Мужик утонул.

— Где?

— В пруде.

— Какой? наш?

— Нет, прохожий.

Кучер Иван, ёрзая большими сапогами по скошенной траве, и толстый приказчик Яков, с трудом переводя дух, бегут к пруду, и я бегу за ними.

Помню чувство, которое мне говорило: «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе», — чего мне именно и хочется.

— Где же, где? — спрашиваю я у толпы дворовых, собравшейся на берегу.

— Вон там, в самой пучине, к тому берегу, у бани почти, — говорит прачка, убирая мокрое белье на коромысло. — Я гляжу, что он ныряет; а он покажется так-то, да и уйдет опять, покажется еще, да как крикнет: «Тону, батюшки!» — и опять ушел на низ, только пузырики пошли. Тут я увидала, мужик тонет. Как взвою: «Батюшки, мужик тонет!»

И прачка, взвалив на плечо коромысло, виляя боком, пошла по тропинке прочь от пруда.

— Вишь, грех какой! — говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом, — что теперь хлопот с земским судом будет — не оберешься.

Какой-то один мужик с косой пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и, повесив косу на сук ракиты, медленно разувается.

— Где же, где он утонул? — все спрашиваю я, желая броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное.

Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка рябит проносящийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода все так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце; и мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более что весьма плохо плаваю; а мужик уже через голову стаскивает с себя рубашку и сейчас бросится. Все смотрят на него с надеждой и замиранием; но, войдя в воду по плечи, мужик медленно возвращается и надевает рубашку: он не умеет плавать.

Народ все сбегается, толпа становится больше и больше, бабы держатся друг за друга; но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, подают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаянье; из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять, на траву, некоторые возвращаются. Старуха Матрена спрашивает у дочери, затворила ли она заслонку печи; мальчишка в отцовском сюртуке старательно бросает камешки в воду.

Но вот от дому, с лаем и в недоумении оглядываясь назад, бежит под гору Трезорка, собака Федора Филип-

пыча; но вот и самая фигура его, бегущего с горы и кричащего что-то, показывается из-за шиповниковой клумбы.

— Что стоите? — кричит он, на бегу снимая сюртук. — Человек потонул, а они стоят! Давай веревку!

Все с надеждой и страхом смотрят на Федора Филиппыча, пока он, придерживаясь рукой за плечо услужливого дворового, снимает носком левой ноги каблук правой.

— Вон там, где народ стоит, так вот поправее ракиты, Федор Филиппыч, вон там-то, — говорит ему кто-то.

— Знаю! — отвечает он и, нахмурив брови, должно быть, в ответ на признаки стыдливости, выражающейся в толпе женщин, снимает рубашку, крестик, передавая его мальчишке-садовнику, который подобострастно стоит перед ним, и, энергически ступая по скошенной траве, подходит к пруду.

Трезорка, в недоумении насчет причин этой быстроты движений своего господина, остановившись около толпы и чмокая, съев несколько травинок около берега, вопросительно смотрит на него и, вдруг весело взвизгнув, вместе с своим хозяином бросается в воду. Первую минуту ничего не видно, кроме пены и брызгов, которые летят даже до нас; но вот Федор Филиппыч, грациозно размахивая руками и равномерно подымая и опуская белую спину, саженями, бойко плывет к тому берегу. Трезорка же, захлебнувшись, торопливо возвращается назад, отряхивается около толпы и на спине вытирается по берегу. В одно и то же время, как Федор Филиппыч подплывает к тому берегу, два кучера прибегают к раките с свернутым на палке неводом. Федор Филиппыч для чего-то поднимает кверху руки, ныряет раз, другой, третий, всякий раз пуская изо рта струйку воды и красиво встряхивая волосами и не отвечая на вопросы, которые со всех сторон сыплются на него. Наконец он выходит на берег и, сколько мне видно, распоряжается только расправлением невода. Невод вытаскивают, но в корме ничего нет, кроме тины и нескольких мелких карасиков, бьющихся между нею. В то время как невод еще раз затаскивают, я перехожу на ту сторону.

Слышно только голос Федора Филиппыча, отдающего приказания, поплескиванье по воде мокрой веревки и вздохи ужаса. Мокрая веревка, привязанная к правому крылу, больше и больше покрытая травой, дальше и дальше выходит из воды.

— Теперь вместе тяни, дружней, разом! — кричит голос Федора Филиппыча. Показываются камола, облитые водой.

— Есть что-то, тяжело идет, братцы, — говорит чей-то голос.

Но вот и крылья, в которых бьются два-три карасика, моча и прижимая траву, вытягиваются на берег. И вот сквозь тонкий, колеблющийся слой возмутившейся воды в натянутой сети показывается что-то белое. Негромкий, но поразительно слышный средь мертвой тишины вздох ужаса проносится в толпе.

— Тащи дружней, на сухое тащи! — слышится решительный голос Федора Филиппыча, и утопленника по скошенным стеблям лопуха и репейника волоком подтаскивают к раките.

И вот я вижу мою добрую старую тетушку в шелковом платье, вижу ее лиловый зонтик с бахромой, который почему-то так несообразен с этой ужасной по своей простоте картиной смерти, лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню выразившееся на этом лице разочарование, что нельзя тут ни к чему употребить арнику, и помню больное, скорбное чувство, которое я испытал, когда она мне с наивным эгоизмом любви сказала: «Пойдем, мой друг. Ах, как это ужасно! А вот ты все один купаешься и плаваешь».

Помню, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как бились у берегов крупные карпии, в середине зыбили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе вился ястреб, стоя над утятами, которые, бурля и плескаясь, через тростник выплывали на середину; как грозовые белые кудрявые тучи сбирались на горизонте, как грязь, вытащенная неводом у берега, понемногу расходилась и как, проходя по плотине, я снова услыхал удары валька, разносящиеся по пруду.

Но валек этот звучит, как будто два валька звучат вместе в терцию, и звук этот мучит, томит меня, тем более что я знаю — этот валек есть колокол, и Федор Филиппыч не заставит замолчать его. И валек этот, как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая зябнет, — я засыпаю.

Меня разбудило, как мне показалось, то, что мы очень быстро скачем, и два голоса говорят подле самого меня.

— Слышь, Игнат, а Игнат! — говорит голос моего ямщика, — возьми седока — тебе все одно ехать, а мне что даром гонять! возьми!

Голос Игната подле самого меня отвечает:

— А что мне радости-то за седока отвечать?.. Поставишь полштофа?

— Ну, полштофа!.. косушку — уж так и быть.

— Вишь, косушку! — кричит другой голос, — лошадей помучить за косушку!

Я открываю глаза. Все тот же несносный колеблющийся снег мерещится в глазах, те же ямщики и лошади, но подле себя я вижу какие-то сани. Мой ямщик догнал Игната, и мы довольно долго едем рядом. Несмотря на то, что голос из других саней советует не брать меньше полуштофа, Игнат вдруг останавливает тройку.

— Перекладывай, уж так и быть, твое счастье. Косушку поставь, как завтра приедем. Кла́ди много, что ли?

Мой ямщик с несвойственной ему живостью выскакивает на снег, кланяется мне и просит, чтобы я пересел к Игнату. Я совершенно согласен; но видно, что богобоязненный мужичок так доволен, что ему хочется излить на кого-нибудь свою благодарность и радость: он кланяется, благодарит меня, Алешку, Игнашку.

— Ну вот и слава богу! а то что это, господи-батюшка! половину ночи ездим, сами не знаем куда. Он-то вас довезет, батюшка-барин, а мои уж лошади вовсе стали.

И он выкладывает вещи с усиленной деятельностью.

Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням. Сани, особенно с той стороны, с которой от ветра завешен был на головах двух ямщиков армяк, были на четверть занесены снегом; за армяком же было тихо и уютно. Старичок лежал так же, с выпущенными ногами, а сказочник продолжал свою сказку:

— В то самое время, как генерал от королевского, значит, имени приходит, значит, к Марии в темницу, в то самое время Мария говорит ему: «Генерал! я в тебе не нуждаюсь и не могу тебя любить, и, значит, ты мне не полюбовник; а полюбовник мой есть тот самый принц...» В то самое время... — продолжал было он, но, увидав меня, замолк на минуту и стал раздувать трубочку.

— Что, барин, сказочку пришли послушать? — сказал другой, которого я называл советчиком.

— Да у вас славно, весело! — сказал я.

— Что ж! от скуки, — по крайности не думается.

— А что, не знаете вы, где мы теперь?

Вопрос этот, как мне показалось, не понравился ямщикам.

— А кто е разберет, где? може, и к калмыкам заехали вовсе, — отвечал советчик.

— Что же мы будем делать? — спросил я.

— А что делать? Вот едем, можь, и выедем, — сказал он недовольным тоном.

— Ну, а как не выедем да лошади станут в снегу, что тогда?

— А что! Ничего.

— Да замерзнуть можно.

— Известно можно, потому и стогов теперича не видать: значит, мы вовсе к калмыкам заехали. Первое дело надо по снегу смотреть.

— А ты, никак, боишься замерзнуть, барин? — сказал старичок дрожащим голосом.

Несмотря на то, что он как будто подтрунивал надо мной, видно было, что он продрог до последней косточки.

— Да, холодно очень становится, — сказал я.

— Эх ты, барин! А ты бы, как я: нет-нет да и пробегись, — оно тебя и согреет.

— Первое дело, как пробежишь за саньми, — сказал советчик.

VII

— Пожалуйте: готово! — кричал мне Алешка из передних саней.

Метель была так сильна, что насилу-насилу, перегнувшись совсем вперед и ухватясь обеими руками за полы шинели, я мог по колеблющемуся снегу, который выносило ветром из-под ног, пройти те несколько шагов, которые отделяли меня от моих саней. Прежний ямщик мой уже стоял на коленках в середине пустых саней, но, увидав меня, снял свою большую шапку, причем ветер неистово подхватил его волосы кверху, и попросил на водку. Он, верно, и не ожидал, чтобы я дал ему, потому что отказ мой нисколько не огорчил его. Он поблагодарил меня и на этом, надвинул шапку и сказал мне. «Ну, дай бог вам, барин...» — и, задергав вожжами и зачмокав, тронулся от нас. Вслед за тем и Игнашка размахнулся всей спиной и крикнул на лошадей. Опять звуки хрустенья копыт, покри-

киванья и колокольчика заменили звук завывания ветра, который был особенно слышен, когда стояли на месте.

С четверть часа после перекладки я не спал и развлекался рассматриванием фигуры нового ямщика и лошадей. Игнашка сидел молодцом, беспрестанно подпрыгивал, замахивался рукою с висящим кнутом на лошадей, покрикивал, постукивал ногой об ногу и, перегибаясь вперед, поправлял шлею коренной, которая все сбивалась на правую сторону. Он был невелик ростом, но хорошо сложен, как казалось. Сверх полушубка на нем был надет неподпоясанный армяк, которого воротник был почти откинут, и шея совсем голая; сапоги были не валяные, а кожаные, и шапка маленькая, которую он снимал и поправлял беспрестанно. Уши закрыты были только волосами. Во всех его движениях заметна была не только энергия, но еще более, как мне казалось, желание возбудить в себе энергию. Однако, чем дальше мы ехали, тем чаще и чаще он, оправляясь, подпрыгивал на облучке, похлопывал ногой об ногу и заговаривал со мной и Алешкой: мне казалось, он боялся упасть духом. И было от чего: хотя лошади были добрые, дорога с каждым шагом становилась тяжелее и тяжелее, и заметно было, как лошади бежали неохотнее: уже надобно было постегивать, и коренная, добрая большая косматая лошадь, спотыкнулась раза два, хотя тотчас же, испугавшись, дернула вперед и подкинула косматую голову чуть не под самый колокольчик. Правая пристяжная, которую я невольно наблюдал, вместе с длинной ременной кисточкой шлеи, бившейся и подпрыгивающей с полевой стороны, заметно спускала постромки, требовала кнутика, но, по привычке доброй, даже горячей лошади, как будто досадовала на свою слабость, сердито опускала и подымала голову, попрашивая повода. Действительно, страшно было видеть, что метель и мороз все усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станцию, но к какому-нибудь приюту, — и смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринужденно и весело и Игнатка покрикивает так бойко и красиво, как будто в крещенский морозный солнечный полдень мы катаемся в праздник по деревенской улице, — и главное, странно было думать, что мы всё едем, и шибко едем, куда-то прочь от того места, на котором находились. Игнатка запел какую-то песню, хотя весьма гаденькой фистулой, но так громко и с такими

остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его.

— Ге-гей! что горло-то дерешь, Игнат! — послышался голос советчика, — постой на час!

— Чаво?

— Посто-о-о-ой!

Игнат остановился. Опять все замолкло, и загудел и запищал ветер, и снег стал, крутясь, гуще валить в сани. Советчик подошел к нам.

— Ну что?

— Да что! куда ехать-то?

— А кто е знает!

— Что, ноги замерзли, что ль, что хлопаешь-то?

— Вовсе зашлись.

— А ты бы вот сходил: во-он маячит — никак, калмыцкое кочевье. Оно бы и ноги-то посогрел.

— Ладно. Подержи лошадей... на.

И Игнат побежал по указанному направлению.

— Все надо смотреть да походить: оно и найдешь; а то так, что дуром-то ехать! — говорил мне советчик, — вишь, как лошадей упарил!

Все время, пока Игнат ходил, — а это продолжалось так долго, что я даже боялся, как бы он не заблудился, — советчик говорил мне самоуверенным, спокойным тоном, как надо поступать во время метели, как лучше всего отпрячь лошадь и пустить, что она, как бог свят, выведет, или как иногда можно и по звездам смотреть, и как, ежели бы он передом ехал, уж мы бы давно были на станции.

— Ну что, есть? — спросил он у Игната, который возвращался, с трудом шагая, почти по колено в снегу.

— Есть-то есть, кочевье видать, — отвечал, задыхаясь, Игнат, — да незнамо какое. Это мы, брат, должно, вовсе на Пролговскую дачу заехали. Надо левей брать.

— И что мелет! это вовсе наши кочевья, которые позадь станицы, — возразил советчик.

— Да говорю, что нет!

— Уж я глянул, так знаю: оно и будет; а не оно, так Тамышевско. Все надо правей забирать: как раз и выедем на большой мост — осьмую версту.

— Да говорят, что нет! Ведь я видал! — с досадой отвечал Игнат.

— Э, брат! а еще ямщик!

— То-то ямщик! ты сходи сам.

— Что мне ходить! я так знаю.

Игнат рассердился, видно: он, не отвечая, вскочил на облучок и погнал дальше.

— Вишь, как зашлись ноги: ажно не согреешь, — сказал он Алешке, продолжая похлопывать чаще и чаще и огребать и высыпать снег, который ему забился за голенищи.

Мне ужасно хотелось спать.

VIII

«Неужели это я уже замерзаю, — думал я сквозь сон, — замерзание всегда начинается сном, говорят. Уж лучше утонуть, чем замерзнуть, пускай меня вытащат в неводе; а впрочем, все равно — утонуть ли, замерзнуть, только бы под спину не толкала эта палка какая-то и забыться бы».

Я забываюсь на секунду.

«Чем же, однако, все это кончится? — вдруг мысленно говорю я, на минуту открывая глаза и вглядываясь в белое пространство. — Чем же это кончится? Ежели мы не найдем стогов и лошади станут, что, кажется, скоро случится, — мы все замерзнем». Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что-нибудь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильней маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую-нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно. И в этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носились передо мною. Лошади становятся, снегу наносится больше и больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши; но вдруг Игнашка является наверху с своей тройкой и едет мимо нас. Мы умоляем его, кричим, чтобы он взял нас; но ветром относит голос, голосу нет. Игнашка посмеивается, кричит по лошадям, посвистывает и скрывается от нас в каком-то глубоком, занесенном снегом овраге. Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места; мой старый ямщик, с большой шапкой, бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу. «Ты колдун, — кричит он, — ты ругатель! Будем плутать вместе». Но старичок пробивает головой сугроб: он не

столько старичок, сколько заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним. Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком, что ничего, ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. Действительно, нам тепло и уютно; только хочется пить. Я достаю погребец, потчую всех ромом с сахаром и сам пью с большим удовольствием. Сказочник говорит какую-то сказку про радугу, — и над нами уже потолок из снега и радуга. «Теперь сделаемте себе каждый комнатку в снегу и давайте спать!» — говорю я. Снег мягкий и теплый, как мех. Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее; но Федор Филиппыч, который видел в погребце мои деньги, говорит: «Стой! давай деньги. Все одно умирать!» — и хватает меня за ногу. Я отдаю деньги и прошу только, чтобы меня отпустили; но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее; рука старичка нежная и сладкая. Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже сам другой рукой ласкает меня. Однако Федор Филиппыч приближается и грозит мне. Я бегу в свою комнату; но это не комната, а длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги. Я вырываюсь. В руках того, кто меня держит, остаются моя одежда и часть кожи; но мне только холодно и стыдно — стыдно тем более, что тетушка с зонтиком и гомеопатической аптечкой, под руку с утопленником, идут мне навстречу. Они смеются и не понимают знаков, которые я им делаю. Я бросаюсь на сани, ноги волокутся по снегу; но старичок гонится за мной, размахивая локтями. Старичок уже близко, но я слышу, впереди звонят два колокола, и знаю, что я спасен, когда прибегу к ним. Колокола звучат слышней и слышней; но старичок догнал меня и животом упал на мое лицо, так что колокола едва слышны. Я снова схватываю его руку и начинаю целовать ее, но старичок не старичок, а утопленник... и кричит: «Игнашка! стой, вон Ахметкины стоги, кажись! Подь-ка посмотри!» Это уж слишком страшно. Нет! проснусь лучше...

Я открываю глаза. Ветер закинул мне на лицо полу Алешкиной шинели, колено у меня раскрыто, мы едем по голому насту, и терция колокольчиков слышнехонько звучит в воздухе с своей дребезжащей квинтой.

Я смотрю, где стоги; но вместо стогов, уже с открытыми глазами, вижу какой-то дом с балконом и зубчатую стену крепости. Меня мало интересует рассмотреть

хорошенько этот дом и крепость: мне, главное, хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал, слышать звон церковного колокола и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю.

IX

Я спал крепко; но терция колокольчиков все время была слышна и виделась мне во сне то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то орга́на, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым не переставая сжимают мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение поталкивало меня и сани; тот же Игнашка сидел боком и похлопывал ногами; та же пристяжная, вытянув шею и невысоко поднимая ноги, рысью бежала по глубокому снегу, кисточка подпрыгивала на шлее и хлесталась о брюхо лошади. Голова коренной с развевающейся гривой, натягивая и отпуская поводья, привязанные к дуге, мерно покачивалась. Но все это, больше чем прежде, покрыто, занесено было снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил на воротники и шапки. Ветер был то справа, то слева, играл воротником, полой Игнашкина армяка, гривой пристяжной и завывал над дугой и в оглоблях.

Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею; посмотришь кругом — все бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно. Алешка спал в ногах и в самой глубине саней; вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал: он беспрестанно подергивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел так же чудно́. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще и несколько тише. Игнашка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим тоненьким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул вожжи на передок и слез. Ветер завыл

неистово; снег, как из совка, так и посыпал на полы шубы. Я оглянулся: третьей тройки уж за нами не было (она где-то отстала). Около вторых саней, в снежном тумане, видно было, как старичок попрыгивал с ноги на ногу. Игнашка шага три отошел от саней, сел на снег, распоясался и стал снимать сапоги.

— Что это ты делаешь? — спросил я.

— Перебуться надо; а то вовсе ноги заморозил, — отвечал он и продолжал свое дело.

Мне холодно было высунуть шею из-за воротника, чтобы посмотреть, как он это делал. Я сидел прямо, глядя на пристяжную, которая, отставив ногу, болезненно, устало помахивала подвязанным и занесенным снегом хвостом. Толчок, который дал Игнат санями, вскочив на облучок, разбудил меня.

— Что, где мы теперь? — спросил я, — доедем ли хоть к свету?

— Будьте покойны: доставим, — отвечал он. — Теперь важно ноги согрелись, как перебулся.

И он тронул, колокол зазвенел, сани снова стали раскачиваться и ветер свистеть под полозьями. И мы снова пустились плыть по беспредельному морю снега.

X

Я заснул крепко. Когда же Алешка, толкнув меня ногой, разбудил и я открыл глаза, было уже утро. Казалось еще холодней, чем ночью. Сверху снега не было; но сильный, сухой ветер продолжал заносить снежную пыль на поле и особенно под копытами лошадей и полозьями. Небо справа на востоке было тяжелое, темно-синеватого цвета; но яркие красно-оранжевые косые полосы яснее и яснее обозначались на нем. Над головами, из-за бегущих белых, едва окрашивающихся туч, виднелась бледная синева; налево облака были светлы, легки и подвижны. Везде кругом, что мог окинуть глаз, лежал на поле белый, острыми слоями рассыпанный, глубокий снег. Кое-где виднелся сереющий бугорок, через который упорно летела мелкая, сухая снежная пыль. Ни одного, ни санного, ни человеческого, ни звериного следа не было видно. Очертания и цвета спины ямщика и лошадей виднелись ясно и резко даже на белом фоне... Околыш Игнашкиной темно-синей шапки, его воротник, волосы и даже

сапоги были белы. Сани были занесены совершенно. У сивой коренной вся правая часть головы и холки были набиты снегом; у моей пристяжной ноги обсыпаны были до колен, и весь сделавшийся кудрявым потный круп облеплен с правой стороны. Кисточка подпрыгивала так же в такт какого бы ни захотел воображать мотива, и сама пристяжная бежала так же, только по впалому, часто поднимающемуся и опускающемуся животу и отвисшим ушам видно было, как она измучена. Один только новый предмет останавливал внимание: это был верстовой столб, с которого сыпало снег на землю и около которого ветер намел целую гору справа и все еще рвался и перебрасывал сыпкий снег с одной стороны на другую. Меня ужасно удивило, что мы ехали целую ночь на одних лошадях двенадцать часов, не зная куда и не останавливаясь, и все-таки как-то приехали. Наш колокольчик звенел как будто еще веселее. Игнат запахивался и покрикивал; сзади фыркали лошади и звенели колокольчики троек старичка и советчика; но тот, который спал, решительно в степи отбился от нас. Проехав полверсты, попался свежий, едва занесенный следок саней и тройки, и изредка розоватые пятна крови лошади, которая засекалась, верно, виднелись на нем.

— Это Филипп! Вишь, раньше нас угодил! — сказал Игнашка.

Но вот домишко с вывеской виднеется один около дороги посреди снега, который чуть не до крыш и окон занес его. Около кабака стоит тройка серых лошадей, курчавых от пота, с отставленными ногами и понурыми головами. Около двери расчищено, и стоит лопата; но с крыши все метет еще и крутит снег гудящий ветер.

Из двери, на звон наших колоколов, выходит большой, красный, рыжий ямщик со стаканом вина в руках и кричит что-то. Игнашка обертывается ко мне и просит позволения остановиться. Тут я в первый раз вижу его рожу.

XI

Лицо у него было не черноватое, сухое и прямоносое, как я ожидал, судя по его волосам и сложению. Это была круглая, веселая, совершенно курносая рожа, с большим ртом и светло, ярко-голубыми круглыми глазами. Щеки и шея его были красны, как натертые суконкой; брови,

длинные ресницы и пушок, ровно покрывающий низ его лица, были залеплены снегом и совершенно белы. До станции оставалось всего полверсты, и мы остановились.

— Только поскорее, — сказал я.

— В одну минутую, — отвечал Игнашка, соскакивая с облучка и подходя к Филиппу.

— Давай, брат, — сказал он, снимая с правой руки и бросая на снег рукавицу с кнутом, и, опрокинув голову, залпом выпил поданный ему стаканчик водки.

Целовальник, должно быть, отставной казак, с полуштофом в руке, вышел из двери.

— Кому подносить? — сказал он.

Высокий Василий, худощавый русый мужик с козлиной бородкой, и советчик, толстый, белобрысый, с белой густой бородой, обкладывающей его красное лицо, подошли и тоже выпили по стаканчику. Старичок подошел было тоже к группе пьющих, но ему не подносили, и он отошел к своим привязанным сзади лошадям и стал поглаживать одну из них по спине и заду.

Старичок был точно такой, каким я воображал его: маленький, худенький, со сморщенным посинелым лицом, жиденькой бородкой, острым носиком и съеденными желтыми зубами. Шапка на нем была ямская, совершенно новая, но полушубчишка, истертый, испачканный дегтем и прорванный на плече и полах, не закрывал колен и посконного нижнего платья, всунутого в огромные валяные сапоги. Сам он весь сгорбился, сморщился и, дрожа лицом и коленами, копошился около саней, видимо, стараясь согреться.

— Что́ ж, Митрич, поставь косушку-то: согрелся бы важно, — сказал ему советчик.

Митрича подернуло. Он поправил шлею у своей лошади, поправил дугу и подошел ко мне.

— Что ж, барин, — сказал он, снимая шапку с своих седых волос и низко кланяясь, — всю ночь с вами плутали, дорогу искали: хоть бы на косушечку пожаловали. Право, батюшка, ваше сиятельство! А то обогреться не на что, — прибавил он с подобострастной улыбочкой.

Я дал ему четвертак. Целовальник вынес косушку и поднес старичку. Он снял рукавицу с кнутом и поднес маленькую черную, корявую и немного посиневшую руку к стакану; но большой палец его, как чужой, не повиновался ему: он не мог удержать стакана и, разлив вино, уронил его на снег.

Все ямщики расхохотались.

— Вишь, замерз Митрич-то как! аж вина не сдержит.

Но Митрич очень огорчился тем, что пролил вино.

Ему, однако, налили другой стакан и вылили в рот. Он тотчас же развеселился, сбегал в кабак, запалил трубку, стал осклабливать свои желтые съеденные зубы и ко всякому слову ругаться. Допив последнюю косуху, ямщики разошлись к тройкам, и мы поехали.

Снег все становился белее и ярче, так что ломило глаза, глядя на него. Оранжевые, красноватые полосы выше и выше, ярче и ярче расходились вверх по небу; даже красный круг солнца завиднелся на горизонте сквозь сизые тучи; лазурь стала блестящее и темнее. По дороге около станицы след был ясный, отчетливый, желтоватый, койгде были ухабы; в морозном, сжатом воздухе чувствительна была какая-то приятная легкость и прохлада.

Моя тройка бежала очень шибко. Голова коренной и шея с развевающейся по дуге гривой раскачивались быстро, почти на одном месте, под охотницким колокольчиком, язычок которого уже не бился, а скоблил по стенкам. Добрые пристяжные дружно натянули замерзлые кривые постромки, энергически подпрыгивали, кисточка билась под самое брюхо и шлею. Иногда пристяжная сбивалась в сугроб с пробитой дороги и запорашивала глаза снегом, бойко выбиваясь из него. Игнашка покрикивал веселым тенором; сухой мороз повизгивал под полозьями; сзади звонко-празднично звенели два колокольчика и слышны были пьяные покрикиванья ямщиков. Я оглянулся назад: серые курчавые пристяжные, вытянув шеи, равномерно сдерживая дыхание, с перекосившимися удилами, попрыгивали по снегу. Филлип, помахивая кнутом, поправлял шапку, старичок, задрав ноги, так же как и прежде, лежал в середине саней.

Через две минуты сани заскрипели по доскам საметенного подъезда станционного дома, и Игнашка повернул ко мне свое засыпанное снегом, дышащее морозом, веселое лицо.

— Доставили-таки, барин! — сказал он.

11 февраля 1856 г.

ДВА ГУСАРА

Повесть

Посвящается графине М. Н. Толстой

...Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова...

Д. Давыдов

В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, — в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, — когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, — в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, — в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы.

I

— Ну, все равно, хоть в залу, — говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.

— Съезд такой, батюшка ваше сиятельство, огромный, — говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его «ваше сиятельство». — Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать; так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый нумер, — говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.

В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего, во весь рост, портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек — *здешних* дворян, должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие, в синих шубах.

Войдя в комнату и зазвав туда *Блюхера,* огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку.

— Сашка, — крикнул граф, — дай ему!

Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.

— Что ж, батюшка васясо, как, кажется, старался твоей милости! полтинник обещал, а они четвертак пожаловали.

— Сашка! дай ему целковый!

Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика.

— Будет с него, — сказал он басом, — да у меня и денег нет больше.

Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел.

— Вот пригнал! — сказал граф, — последние пять рублей.

— По-гусарски, граф, — улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. — Вы здесь долго намерены пробыть, граф?

— Денег достать нужно; а то бы я не остался. Да и нумеров нет. Черт их дери, в этом кабаке проклятом...

— Позвольте, граф, — возразил кавалерист, — да не угодно ли ко мне? я вот здесь, в седьмом нумере. Коли не побрезгуете покамест проночевать. А вы пробудьте у нас денька три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!

— Право, граф, погостите, — подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек, — куда вам торопиться! А ведь это в три года раз бывает — выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф!

— Сашка! давай белье: поеду в баню, — сказал граф, вставая. — А оттуда, посмотрим, может, и в самом деле к предводителю дернуть.

Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись, ответил, «что все дело рук человеческих», и вышел.

— Так я, батюшка, к вам в нумер велю перенести чемодан, — крикнул граф из-за двери.

— Сделайте одолжение, осчастливите, — отвечал кавалерист, подбегая к двери. — Седьмой нумер! не забудьте.

Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:

— А ведь это тот самый.

— Ну?

— Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар, — ну, Турбин, известный. Он меня узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедяни с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была — мы вместе сотворили, — от этого он как будто ничего. А молодчина, а?

— Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего так не заметно, — отвечал красивый молодой человек, — как мы скоро сошлись... Что, ему лет двадцать пять, не больше?

— Нет, оно так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто увез? — он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя

Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать! Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар — душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что́ такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!

И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому, что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых, потому, что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был произведен в прапорщики, вышел в оставку. Но десять лет тому назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами семьсот рублей и сшил себе уже было уланский мундир с ранжевыми отворотами, с тем чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяни, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни, так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть по мягкосердечию и честности истинно достойнейшим человеком.

— Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата. — Он сел верхом на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом. — Едешь, бывало, перед эскадроном; под тобой черт, а не лошадь, в ланцадах вся; сидишь, бывало, этак чертом. Подъедет эскадронный командир на смотру. «Поручик, говорит, пожалуйста — без вас ничего не будет — проведите эскадрон церемониалом». Хорошо, мол, а уж тут — есть! Оглянешься, крикнешь, бывало, на усачей своих. Ах, черт возьми, времечко было!

Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами, из бани и вошел прямо в седьмой нумер, в котором уже сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастии, которое ему выпало на долю, — жить в одной комнате с известным Турбиным. «Ну, что, — приходило ему в голову, — как вдруг возьмет да разденет меня, голого вывезет за заставу да посадит в снег, или... дегтем вымажет, или просто... Нет, по-товарищески не сделает...» — утешал он себя.

— Блюхера накормить, Сашка! — крикнул граф.

Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно.

— Ты уж не утерпел, напился, каналья!.. Накормить Блюхера!

— И так не издохнет: вишь, какой гладкий! — отвечал Сашка, поглаживая собаку.

— Ну, не разговаривать! пошел накорми.

— Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.

— Эй, прибью! — крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах и кавалеристу даже стало немного страшно.

— Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека, — проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.

— Он мне зубы разбил, — ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой почесывая спину облизывавшегося Блюхера, — он мне зубы разбил. Блюшка, а все он мой граф, и я за него могу пойти в огонь — вот что! Потому он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?

Полежав немного, он встал, накормил собаку и, почти трезвый, пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.

— Вы меня просто обидите, — говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели, — я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостию готов служить рублей двести. У меня теперь нет их, а только сто; но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф!

— Спасибо, батюшка, — сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста, — спасибо. Ну, так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть: хорошенькие кто? кутит кто? в карты кто играет?

Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет; что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей

гусарской, а так только — малый добрый; что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, Стешка запевает, и что нынче к ним *все* от предводителя собираются.

— И игра есть порядочная, — рассказывал он. — Лухнов, приезжий, играет с деньгами, и Ильин, что в восьмом нумере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот: вот уж нескупой — последнюю рубашку отдаст.

— Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой, — сказал граф.

— Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут.

II

Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в восемь часов вечера и проиграл пятнадцать часов сряду, до одиннадцати утра. Он проиграл что-то много, но сколько именно, он не знал, потому что у него было тысячи три своих денег и пятнадцать тысяч казенных, которые он давно смешал вместе с своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, — что уже и казенных недоставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в шесть часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту — валета, которую ему убили на пятьсот рублей, но, не веря еще хорошенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Он узнал некоторые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки, вспомнил весь ход игры. Своих трех тысяч уже не было, и из казенных недоставало уже двух с половиною тысяч.

Улан играл четыре ночи сряду.

Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. В К. его задержал смотритель под предлогом неимения лошадей, но, в сущности, по уговору, который он сделал давно с содержателем гостиницы, — задерживать на день всех проезжающих. Улан, молоденький, веселый мальчик,

только что получивший в Москве от родителей три тысячи на обзаведение в полку, был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К. и надеялся тут на славу повеселиться. Один помещик семейный был ему знаком, и он сбирался поехать к нему, поволочиться за его дочерьми, когда кавалерист явился знакомиться к улану и в тот же вечер, без всякой дурной мысли, свел его с своими знакомыми, Лухновым и другими игроками, в общей зале. С того же вечера улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику, но не спрашивал больше про лошадей и не выходил четыре дня из комнаты.

Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы прогнать неотвязчивые игорные воспоминания. Он надел шинель и вышел на улицу. Солнце уже спряталось за белые дома с красными крышами; наступали сумерки. Было тепло. На грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался.

«Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь», — подумал он.

«Погубил я свою молодость», — сказал он вдруг сам себе, не потому, чтобы он действительно думал, что он погубил свою молодость, — он даже вовсе и не думал об этом ,— но так ему пришла в голову эта фраза.

«Что теперь я буду делать? — рассуждал он. — Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-то барыня прошла по тротуару. «Вот так глупая барыня,— подумал он отчего-то.— Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. «Коли бы восьмерку я не снял, я бы отыгрался». Нищая старуха хныкала, следуя за ним. «Занять-то не у кого». Какой-то господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно! Погубил я свою молодость. Ах, хомуты славные с набором висят. Вот бы на тройку сесть. Эх вы, голубчики! Пойду домой. Лухнов скоро придет, играть станем». Он вернулся домой, еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз: опять из казенных недоставало две с половиной тысячи рублей. «Поставлю первую двадцать пять, вторую — угол... на семь кушей... на пятнадцать, на тридцать, на шестьдесят... три тысячи. Куплю хомуты и уеду. Не даст,

злодей! Погубил я свою молодость». Вот что происходило в голове улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.

— Что, давно встали, Михайло Васильич? — спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.

— Нет, сейчас только. Отлично спал.

— Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского... не слыхали?

— Нет, не слыхал... А что же, еще никого нет?

— Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут.

Действительно, скоро вошли в нумер: гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову; купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами; толстый, пухлый помещик, винокуренный заводчик, игравший по целым ночам, всегда семпелями по полтиннику. Всем хотелось начать игру поскорее; но главные игроки ничего не говорили об этом предмете, особенно Лухнов чрезвычайно спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве.

— Надо вообразить, — говорил он, — Москва — первопрестольный град, столица — и по ночам ходят с крюками мошенники, в чертей наряжены, глупую чернь пугают, грабят проезжих — и конец. Что полиция смотрит? Вот что мудрено.

Улан слушал внимательно рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел потихоньку подать карты. Толстый помещик первый высказался:

— Что ж, господа, золотое-то времечко терять! За дело, так за дело!

— Да, вы по полтинничкам натаскали вчера, так вам и нравится, — сказал грек.

— Точно, пора бы, — сказал гарнизонный офицер.

Ильин посмотрел на Лухнова. Лухнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю о мошенниках, наряженных в чертей с когтями.

— Будете метать? — спросил улан.

— Не рано ли?

— Белов! — крикнул улан, покраснев отчего-то, — принеси мне обедать... я еще не ел ничего, господа... шампанского принеси и карты подай.

В это время в нумер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, чокнувшись выпили шампанского

и через пять минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью.

— Экой молодчина улан! — говорил он. — Усищи-то, усищи-то!

У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.

— Что, вы играть собираетесь, кажется? — сказал граф. — Ну, желаю тебе выиграть, Ильин! Ты, я думаю, мастер! — прибавил он, улыбаясь.

— Да вот, собираются, — отвечал Лухнов, раздирая дюжину карт, — а вы, граф, не изволите?

— Нет, нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Я как пойду гнуть, так у меня всякий банк затрещит! Не на что. Проигрался под Волочком на станции. Попался мне там пехоташка какой-то, с перстнями, должно быть, шулер, — и облапошил дочиста.

— Разве ты долго сидел там на станции? — спросил Ильин.

— Двадцать два часа просидел. Памятна эта станция, проклятая! ну, да и смотритель не забудет.

— А что?

— Приезжаю, знаешь: выскочил смотритель, мошенницкая рожа, плутовская, — лошадей нет, говорит; а у меня, надо тебе сказать, закон: как лошадей нет, я не снимаю шубы и отправляюсь к смотрителю в комнату, — знаешь, не в казенную, а к смотрителю, и приказываю отворить настежь все двери и форточки: угарно будто бы. Ну, и тут то же. А морозы, помнишь, какие были в прошлом месяце — градусов двадцать было. Смотритель разговаривать было стал, я его в зубы. Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли, похватали горшки и бежать было на деревню... Я к двери; говорю: давай лошадей, так уеду, а то не выпущу, всех заморожу!

— Вот так отличная манера! — сказал пухлый помещик, заливаясь хохотом, — это как тараканов вымораживают!

— Только не укараулил я как-то, вышел, — и удрал от меня смотритель со всеми бабами. Одна старуха осталась у меня под залог, на печке она все чихала и богу молилась. Потом уж мы переговоры вели: смотритель приходил и издалека все уговаривал, чтоб отпустить старуху, а я его Блюхером притравливал, — отлично берет смотрителей Блюхер. Так и не дал мерзавец лошадей до другого утра. Да тут подъехал этот пехоташка. Я ушел

в другую комнату, и стали играть. Вы видели Блюхера?.. Блюхер!.. Фю!

Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом.

— Однако что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал. Ведь я болтун, — сказал Турбин, — *любишь не любишь* — дело хорошее.

III

Лухнов придвинул к себе две свечи, достал огромный, наполненный деньгами коричневый бумажник, медлительно, как бы совершая какое-то таинство, открыл его на столе, вынул оттуда две сторублевые бумажки и положил их под карты.

— Так же, как вчера, — банку двести, — сказал он, поправляя очки и распечатывая колоду.

— Хорошо, — сказал, не глядя на него, Ильин между разговором, который он вел с Турбиным.

Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря: «Пришлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча, красиво подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел сбоку банкомета и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Завальшевский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставал из кармана штанов красненькую или синенькую, клал сверх нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговаривал: «Вывези, семерочка!», закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил весь в движение, продолжавшееся до тех пор, пока не выходила карта. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел вовсе на улана и ничего не говорил ему: только изредка его очки на мгновение направлялись на руки улана, но большая часть его карт проигрывала.

— Вот бы мне эту карточку убить, — приговаривал Лухнов про карту толстого помещика, игравшего по полтине.

— Вы бейте у Ильина, а мне-то что, — замечал помещик.

И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нервически раздирал под столом проигравшую карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин встал с дивана и попросил грека пустить его сесть подле банкомета. Грек пересел на другое место, а граф, сев на его стул, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова.

— Ильин! — сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который, совершенно невольно для него, заглушал все другие, — зачем рутерок держишься? Ты не умеешь играть!

— Уж как ни играй, все равно.

— Так ты наверно проиграешь. Дай я за тебя попонтирую.

— Нет, извини, пожалуйста: уж я всегда сам. Играй за себя, ежели хочешь.

— За себя, я сказал, что не буду играть; я за тебя хочу. Мне досадно, что ты проигрываешься.

— Уж, видно, судьба!

Граф замолчал и, облокотясь, опять так же пристально стал смотреть на руки банкомета.

— Скверно! — вдруг проговорил он громко и протяжно.

Лухнов оглянулся на него.

— Скверно, скверно! — проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову.

Игра продолжалась.

— Не-хо-ро-шо! — опять сказал Турбин, только что Лухнов убил большую карту Ильина.

— Что это вам не нравится, граф? — учтиво и равнодушно спросил банкомет.

— А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете. Вот что скверно.

Лухнов сделал плечами и бровями легкое движение, выражавшее совет во всем предаваться судьбе, и продолжал играть.

— Блюхер, фю! — крикнул граф, вставая, — узи его! — прибавил он быстро.

Блюхер, стукнувшись спиной об диван и чуть не сбив

с ног гарнизонного офицера, выскочил оттуда, подбежал к своему хозяину и зарычал, оглядываясь на всех и махая хвостом, как будто спрашивая: «Кто тут грубит? а?»

Лухнов положил карты и со стулом отодвинулся в сторону.

— Этак нельзя играть, — сказал он, — я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда целую псарню приведут!

— Особенно эти собаки: они пиявки называются, кажется, — поддакнул гарнизонный офицер.

— Что ж, будем играть, Михайло Васильич, или нет? — сказал Лухнов хозяину.

— Не мешай нам, пожалуйста, граф! — обратился Ильин к Турбину.

— Поди сюда на минутку, — сказал Турбин, взяв Ильина за руку, и вышел с ним за перегородку.

Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновенным голосом. А голос у него был такой, что его всегда слышно было за три комнаты.

— Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках — шулер первой руки.

— Э, полно! что ты говоришь!

— Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне бы все равно. В другой раз я бы сам тебя обыграл; да так, мне что-то жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег?

— Нет; да и с чего ты выдумал?

— Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю; я тебе говорю, что в очках — это шулер. Брось, пожалуйста. Я тебя прошу, как товарища.

— Ну, вот я только одну талию, и кончу.

— Знаю, как одну; ну, да посмотрим.

Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт и столько их ему убили, что он проиграл много.

Турбин положил руки на середину стола.

— Ну, баста! Поедем.

— Нет, уж я не могу; оставь меня, пожалуйста, — сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые карты и не глядя на Турбина.

— Ну, черт с тобой! проигрывай наверняка, коли тебе нравится, а мне пора! Завальшевский! поедем к предводителю.

И они вышли. Все молчали, и Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору.

— Эка башка! — сказал помещик, смеясь.

— Ну, теперь не будет мешать, — прибавил торопливо и еще шепотом гарнизонный офицер.

И игра продолжалась.

IV

Музыканты, дворовые люди предводителя, стоя в буфете, очищенном на случай бала, уже заворотив рукава сюртуков, по данному знаку заиграли старинный польский «Александр, Елисавета» и при ярком и мягком освещении восковых свеч по большой паркетной зале начинали плавно проходить: екатерининский генерал-губернатор со звездой, под руку с худощавой предводительшей, предводитель под руку с губернаторшей и т. д. — губернские власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда Завальшевский, в синем фраке с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг себя запах жасминных духов, которыми были обильно спрыснуты его усы, лацкана и платок, вместе с красавцем гусаром в голубых обтянутых рейтузах и шитом золотом красном ментике, на котором висели владимирский крест и медаль двенадцатого года, вошли в залу. Граф был невысок ростом, но отлично, красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами, темно-русые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем: красивый молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. «Еще на смех подымет этот мальчишка», — было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похитит?» — было более или менее мнение молодых женщин и барышень.

Как только польский кончился и пары взаимно раскланивались, снова отделяясь женщины к женщинам, мужчины к мужчинам, Завальшевский, счастливый и гордый, подвел графа к хозяйке. Предводительша, испытывая некоторый внутренний трепет, чтобы гусар этот не сделал с ней при всех какого-нибудь скандала, гордо и презрительно отворотясь, сказала: «Очень рада-с! надеюсь, будете танцевать?» — и недоверчиво взглянула на

него с выражением, говорившим: «Уж ежели ты женщину обидишь, то ты совершенный подлец после этого». Граф, однако, скоро победил это предубеждение своею любезностью, внимательностью и прекрасной веселой наружностью, так что чрез пять минут выражение лица предводительши уже говорило всем окружающим: «Я знаю, как вести этих господ: он сейчас понял, с кем говорит; вот и будет со мной весь вечер любезничать». Однако тут же подошел к графу губернатор, знавший его отца, и весьма благосклонно отвел его в сторону и поговорил с ним, что еще больше успокоило губернскую публику и возвысило в ее мнении графа. Потом Завальшевский подвел его знакомить к своей сестре — молодой полненькой вдовушке, с самого приезда графа впившейся в него своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцевать вальс, который заиграли в это время музыканты, и уже окончательно своим искусством танцевать победил общее предубеждение.

— А мастер танцевать! — сказала толстая помещица, следя за ногами в синих рейтузах, мелькавшими по зале, и мысленно считая: раз, два, три; раз, два, три...— мастер!

— Так и строчит, так и строчит, — сказала другая приезжая, считавшаяся дурного тона в губернском обществе, — как он шпорами не заденет! Удивительно, очень ловок!

Граф затмил своим искусством танцевать трех лучших танцоров в губернии: и высокого белобрысого адъютанта губернаторского, отличавшегося своею быстротой в танцах и тем, что он держал даму очень близко, и кавалериста, отличавшегося грациозным раскачиванием во время вальса и частым, но легким притоптыванием каблучка; и еще другого, штатского, про которого все говорили, что он хотя и недалек по уму, но танцор превосходный и душа всех балов. Действительно, этот штатский с начала бала и до конца приглашал всех дам по порядку, как они сидели, не переставал танцевать ни на минуту и только изредка останавливался, чтоб обтереть сделавшимся совершенно мокрым батистовым платочком изнуренное, но веселое лицо. Граф затмил всех их и танцевал с тремя главными дамами: с большой — богатой, красивой и глупой, с средней — худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся, и с маленькой — некрасивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много.

Но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилась графу: с ней он танцевал и кадриль, и экосес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадрили, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой, и с Дианой, и с розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платьице или из одной руки в другую перекладывая опахало. Когда же она говорила: «Полноте, граф, вы шутите», — и т. п., голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смешною глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле.

Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствия всего условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутки разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову с такой силой желание вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он серьезно должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, которое она производила; но что-то ее начинало тревожить и пугать в обращении графа, несмотря на то, что молодой гусар был вместе с заискивающею любезностью почтителен, по теперешним понятиям, до приторности. Он бегал ей за оршадом, подымал платок, вырвал стул из рук какого-то золотушного молодого помещика, который хотел тоже прислужить ей, чтобы подать его скорее, и т. д.

Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая ей забавные анекдоты; уверял, что он, если она прикажет, готов сейчас стать на голову, закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось: вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки, и была совершенно довольна своим кавалером. Графу же она с каждой минутой все более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренно влюблен в нее.

Когда после кадрили к вдовушке подошел ее давнишний восемнадцатилетний обожатель, неслужащий сын

самого богатого помещика, золотушный молодой человек, тот самый, у которого вырвал стул Турбин, она приняла его чрезвычайно холодно, и в ней не было заметно и десятой доли того смущения, которое она испытывала с графом.

— Хороши вы, — сказала она ему, глядя в это время на спину Турбина и бессознательно соображая, сколько аршин золотого шнурка пошло на всю куртку, — хороши вы: обещали за мной заехать кататься и конфект мне привезти.

— Да я ведь приезжал, Анна Федоровна, а вас уже не было, и конфекты самые лучшие оставил, — сказал молодой человек, несмотря на высокий рост, очень тоненьким голоском.

— Вы найдете всегда отговорки! не нужно мне ваших конфект. Пожалуйста, не думайте...

— Я уж вижу, Анна Федоровна, как вы ко мне переменились, и знаю отчего. Только это нехорошо, — прибавил он, но, видимо, не докончив своей речи от какого-то внутреннего сильного волнения, заставившего весьма быстро и странно дрожать его губы.

Анна Федоровна не слушала его и продолжала следить глазами за Турбиным.

Предводитель, хозяин дома, величаво-толстый беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. Как только Турбин вышел, Анна Федоровна почувствовала, что в зале совершенно нечего делать, и, взяв под руку старую, сухую барышню, свою приятельницу, вышла с ней в уборную.

— Ну, что? мил? — спросила барышня.

— Только ужасно как пристает, — отвечала Анна Федоровна, подходя к зеркалу и глядясь в него.

Лицо ее просияло, глаза засмеялись, она покраснела даже и вдруг, подражая балетным танцовщицам, которых видела на этих выборах, перевернулась на одной ножке, потом засмеялась своим горловым, но милым смехом и припрыгнула даже, поджав колени.

— Каков? он у меня сувенир просил, — сказала она приятельнице, — только ничего ему не бу-у-у-дет, — пропела она последнее слово и подняла один палец в лайковой, до локтя высокой перчатке...

В кабинете, куда привел предводитель Турбина, стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское.

В табачном дыму сидели и ходили дворяне, разговаривая о выборах.

— Когда все благородное дворянство нашего уезда почтило его выбором, — говорил вновь выбранный исправник, уже значительно выпивший, — то он не должен был манкировать перед всем обществом, никогда не должен был...

Приход графа прервал разговор. Все стали с ним знакомиться, и особенно исправник обеими руками долго жал его руку и несколько раз просил, чтобы он не отказался ехать с ними в компании после бала в новый трактир, где он угащивает дворян и где цыгане петь будут. Граф обещал непременно быть и выпил с ним несколько бокалов шампанского.

— Что ж вы не танцуете, господа? — спросил он перед тем, как выходить из комнаты.

— Мы не танцоры, — отвечал исправник, смеясь, — мы больше насчет вина, граф... А впрочем, ведь это при мне повыросло, все эти барышни, граф! Я этак иногда тоже в экосесе пройдусь, граф... могу, граф...

— А пойдем теперь пройдемся, — сказал Турбин, — разгуляемся перед цыганами.

— Что ж, пойдемте, господа! потешим хозяина.

И человека три дворян, с самого начала бала пившие в кабинете, с красными лицами, надели кто черные, кто шелковые вязаные перчатки и вместе с графом уже собрались идти в залу, когда их задержал золотушный молодой человек, весь бледный и едва удерживая слезы, подошедший к Турбину.

— Вы думаете, что вы граф, так можете толкаться, как на базаре, — говорил он, с трудом переводя дыхание, — оттого, что это неучтиво...

Снова против его воли запрыгавшие губы остановили поток его речи.

— Что? — крикнул Турбин, вдруг нахмурившись. — Что? Мальчишка! — крикнул он, схватив его за руки и сжав так, что у молодого человека кровь в голову бросилась, не столько от досады, сколько от страха, — что́, вы стреляться хотите? Так я к вашим услугам.

Едва Турбин выпустил руки, которые он сжал так крепко, как уже двое дворян подхватили под руки молодого человека и потащили к задней двери.

— Что, вы с ума сошли? Вы напились, верно. Вот папеньке сказать. Что с вами? — говорили они ему.

— Нет, не напился, а он толкается и не извиняется. Он свинья! вот что! — пищал молодой человек, уже совершенно расплакавшись.

Однако его не послушали и увезли домой.

— Полноте, граф! — увещевали с своей стороны Турбина исправник и Завальшевский, — ведь ребенок, его секут еще, ему ведь шестнадцать лет. И что с ним сделалось, нельзя понять. Какая его муха укусила? И отец его почтенный такой человек, кандидат наш.

— Ну, черт с ним, коли не хочет...

И граф вернулся в залу и, так же как и прежде, весело танцевал экосес с хорошенькой вдовушкой и от всей души хохотал, глядя на па, которые выделывали господа, вышедшие с ним из кабинета, и залился звонким хохотом на всю залу, когда исправник поскользнулся и во весь рост шлепнулся посередине танцующих.

V

Анна Федоровна, в то время как граф ходил в кабинет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующеюся графом, стала расспрашивать: «Что это за гусар такой, что со мной танцевал? скажите, братец». Кавалерист объяснил сколько мог сестрице, какой был великий человек этот гусар, и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли и что он сам дал ему сто рублей взаймы, но этого мало, так не может ли сестрица ссудить ему еще рублей двести; но Завальшевский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь ничего не говорить. Анна Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете, но почему-то во время экосеса ей ужасно захотелось предложить самой графу сколько он хочет денег. Она долго сбиралась, краснела и наконец, сделав над собою усилие, таким образом приступила к делу.

— Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастие было и денег теперь нет. А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была.

Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела. Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа.

— Ваш братец дурак! — сказал он резко. — Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются; а когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы?

У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала.

— Женщину целуют при всех, — тихо сказал граф, нагнувшись, ей на ухо. — Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать, — потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы.

— Ах, только не сейчас,— проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая.

— Так когда же? Я завтра рано еду... А уж вы мне это должны.

— Ну, так, стало быть, нельзя, — сказала Анна Федоровна, улыбаясь.

— Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтоб поцеловать вашу руку. Я уж найду его.

— Да как же вы найдете?

— Это не ваше дело. Чтоб видеть вас, для меня все возможно... Так хорошо?

— Хорошо.

Экосес кончился; протанцевали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, ловя платки, становясь на одно колено и прихлопывая шпорами как-то особенно, по-варшавски, так что все старики вышли из-за бостона смотреть в залу, и кавалерист, лучший танцор, сознал себя превзойденным. Поужинали, протанцевали еще гросфатер и стали разъезжаться. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании — видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в лакейскую, а оттуда, без шубы, на двор, к тому месту, где стояли экипажи.

— Анны Федоровны Зайцевой экипаж! — закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. — Стой! — закричал он кучеру, по колено в снегу подбегая к карете.

— Чего надо? — отозвался кучер.

— В карету надо сесть, — отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. — Стой же, черт! Дурень!

— Васька! стой! — крикнул кучер на форейтора и остановил лошадей. — Что ж в чужую карету лезете? это барыни Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета.

— Ну, молчи ж, болван! На тебе целковый да слезь закрой дверцы, — говорил граф. Но так как кучер не шевелился, то он сам подобрал ступеньки и, открыв окно, кое-как захлопнул дверцы. В карете, как и во всех старых каретах, в особенности обитых желтым басоном, пахло какой-то гнилью и горелой щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли в тонких сапогах и рейтузах, да и все тело прохватывал зимний холод. Кучер ворчал на козлах и, кажется, сбирался слезть. Но граф ничего не слыхал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало. Он напряженно схватился за желтый ремень, высунулся в боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали: «Зайцевой карету!», кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали одно за другим мимо окна кареты.

— Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь, — сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру, — я тебя вздую, а не скажешь — еще десять рублей.

Едва он успел опустить окно, как кузов уж снова сильнее закачался, и карета остановилась. Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился: так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились, одна за другой с шумом попадали ступеньки, зашумело женское платье, в затхлую карету ворвался запах жасминных духов, быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося салопа по ноге графа, молча, но тяжело дыша, опустилась на сиденье подле него.

Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить, даже сама Анна Федоровна; но когда он взял ее за руку и сказал: «Ну, уж теперь поцелую-таки вашу ручку», — она очень мало изъявила испуга, ничего не

отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась.

— Скажи ж что-нибудь. Ты не сердишься? — говорил он ей.

Она молча прижалась в свой угол, но вдруг отчего-то заплакала и сама упала головой к его груди.

VI

Вновь выбранный исправник с своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании.

— Батюшка ваше сиятельство! ждали не дождались! — говорил косой черный цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в сенях и бросаясь снимать шубу. — С Лебедяни не видали... Стеша зачахла совсем по вас...

Стеша, стройная молоденькая цыганочка с кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими, глубокими черными глазами, осененными длинными ресницами, выбежала тоже навстречу.

— А! графчик! голубчик! золотой! вот радость-то! — заговорила она сквозь зубы с веселой улыбкой.

Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с мест и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто крестовым братством.

Молодых цыганок Турбин всех расцеловал в губы; старухи и мужчины целовали его в плечико и в ручку. Дворяне тоже были очень обрадованы приездом гостя, тем более что гульба, дойдя до своего апогея, теперь уже остывала. Каждый начинал испытывать пресыщение; вино, потеряв возбудительное действие на нервы, только тяготило желудок. Каждый уже выпустил весь свой заряд ухарства и пригляделся один к другому; все песни были пропеты и перемешались в голове каждого, оставляя какое-то шумное, распущенное впечатление. Что бы кто ни сделал странного и лихого, всем начинало приходить в голову, что ничего тут нет любезного и смешного. Исправник, лежа в безобразном виде на полу у ног какой-то старухи, заболтал ногами и закричал:

— Шампанского!.. граф приехал!.. шампанского!.. приехал!.. ну, шампанского!.. ванну сделаю из шампанского и буду купаться... Господа дворяне! люблю благородное дворянское общество... Стешка! пой «Дорожку».

Кавалерист был тоже навеселе, но в другом виде. Он сидел на диване в уголке, очень близко рядом с высокой красивой цыганкой Любашей и, чувствуя, как хмель туманил его глаза, хлопал ими, помахивал головою и, повторяя одни и те же слова, шепотом уговаривал цыганку бежать с ним куда-то. Любаша, улыбаясь, слушала его так, как будто то, что он ей говорил, было очень весело и вместе с тем несколько печально, бросала изредка взгляды на своего мужа, косого Сашку, стоявшего за стулом против нее, и в ответ на признание в любви кавалериста нагибалась ему на ухо и просила купить ей потихоньку, чтоб другие не видали, душков и ленту.

— Ура! — закричал кавалерист, когда вошел граф.

Красивый молодой человек, с озабоченным видом, старательно, твердыми шагами ходил взад и вперед по комнате и напевал мотивы из «Восстания в серале».

Старый отец семейства, увлеченный к цыганкам неотвязными просьбами господ дворян, которые говорили, что без него все расстроится и лучше не ехать, лежал на диване, куда он повалился тотчас, как приехал, и никто на него не обращал внимания. Какой-то чиновник, бывший тут же, сняв фрак, с ногами сидел на столе, ерошил свои волосы и тем сам доказывал, что он очень кутит. Как только вошел граф, он расстегнул ворот рубашки и подсел еще выше на стол. Вообще с приездом графа кутеж оживился.

Цыганки, разбредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил Стешку, запевалу, себе на колени и велел еще подать шампанского.

Илюшка с гитарой стал перед запевалой, и началась *пляска,* то есть цыганские песни: «Хожу ль я по улице», «Эй вы, гусары...», «Слышишь, разумеешь...» и т. д., в известном порядке. Стешка славно пела. Ее гибкий, звучный, из самой груди выливавшийся контральто, ее улыбки во время пенья, смеющиеся страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянное вскрикиванье при начале хора — все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка, улыбкой, спиной, ногами, всем существом

изображая сочувствие песне, аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно, в такт песни наклонял и поднимал голову. Потом он вдруг выпрямлялся при последней певучей ноте и, как будто чувствуя себя выше всех в мире, гордо, решительно вскидывал ногой гитару, перевертывал ее, притопывал, встряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Все его тело от шеи и до пяток начинало плясать каждой жилкой... И двадцать энергических, сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страннее и необыкновеннее вторить один другому, переливались в воздухе. Старухи подпрыгивали на стульях, помахивая платочками и оскаливая зубы, вскрикивали, в лад и в такт, одна громче другой. Басы, склонив головы набок и напружив шеи, гудели, стоя за стульями.

Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто желая помочь ей, а красивый молодой человек в восторге вскрикивал, что теперь бемоли пошли.

Когда заиграли плясовую и, дрожа плечами и грудью, прошлась Дуняша и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, Турбин вскочил с места, скинул мундир и, оставшись в одной красной рубахе, лихо прошелся с нею в самый раз и такт, выделывая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, переглядывались друг с другом.

Исправник сел по-турецки, хлопнул себя кулаком по груди и закричал: «Виват!», а потом, ухватив графа за ногу, стал рассказывать, что у него было две тысячи рублей, а теперь всего пятьсот осталось, и что он может сделать все, что захочет, ежели только граф позволит. Старый отец семейства проснулся и хотел уехать, но его не пустили. Красивый молодой человек упрашивал цыганку протанцевать с ним вальс. Кавалерист, желая похвастаться своей дружбой с графом, встал из своего угла и обнял Турбина.

— Ах ты, мой голубчик! — сказал он, — зачем ты только от нас уехал? А? — Граф молчал, видимо, думая о другом. — Куда ездил? Ах ты, плут, граф, уж я знаю, куда ездил.

Турбину отчего-то не понравилось это панибратство. Он, не улыбаясь, молча посмотрел в лицо кавалериста и вдруг пустил в упор на него такое страшное, грубое

ругательство, что кавалерист огорчился и долго не знал, как ему принять такую обиду: в шутку или не в шутку. Наконец он решил, что в шутку, улыбнулся и пошел опять к своей цыганке, уверял ее, что он на ней непременно женится после святой. Запели другую песню, третью, еще раз поплясали, провеличали, и всем продолжало казаться весело. Шампанское не кончалось. Граф пил много. Глаза его как бы покрылись влагою, но он не шатался, плясал еще лучше, говорил твердо и даже сам славно подпевал в хоре и вторил Стеше, когда она пела «Дружбы нежное волненье». В середине пляски купец, содержатель трактира, пришел просить гостей ехать по домам, потому что уже был третий час утра.

Граф схватил купца за шиворот и велел ему плясать вприсядку. Купец отказывался. Граф схватил бутылку шампанского и, перевернув купца ногами кверху, велел его держать так и, к общему хохоту, медлительно вылил на него всю бутылку.

Уже рассветало. Все были бледны и изнурены, исключая графа.

— Однако мне пора в Москву, — сказал он вдруг, вставая. — Пойдем все ко мне, ребята. Проводите меня... и чаю напьемся.

Все согласились, исключая заснувшего помещика, который тут и остался, набились битком в трое саней, стоявших у подъезда, и поехали в гостиницу,

VII

— Закладывать! — крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. — Сашка! не цыган Сашка, а мой, скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам! Завальшевский! распоряжайся чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он, — прибавил Турбин и, выйдя в коридор, направился в нумер улана.

Ильин только что кончил игру и, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосяной материи, один за одним выдергивая волосы, кладя их в рот, перекусывая и выплевывая. Две сальные свечи, из которых одна уже догорела до бумажки, стоя на ломберном, заваленном картами столе, слабо боролись с светом утра, проникавшим в окна. Мыслей в голове улана

никаких не было: какой-то густой туман игорной страсти застилал все его душевные способности; даже раскаяния не было. Он попробовал раз подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки денег, как заплатить пятнадцать тысяч проигранных казенных денег, что скажет полковой командир, что скажет его мать, что скажут товарищи, — и на него нашел такой страх и такое отвращение к самому себе, что он, желая забыться чем-нибудь, встал, стал ходить по комнате, стараясь ступать только на щели половиц, и снова начал припоминать себе все мельчайшие обстоятельства происходившей игры; он живо воображал, что уже отыгрывается и снимает девятку, кладет короля пик на две тысячи рублей, направо ложится дама, налево туз, направо король бубен, — и все пропало; а ежели бы направо шестерка, а налево король бубен, тогда совсем бы отыгрался, поставил бы еще все на пе и выиграл бы тысяч пятнадцать чистых, купил бы себе тогда иноходца у полкового командира, еще пару лошадей, фаэтон купил бы. Ну, что же еще потом? да ну и славная, славная бы штука была!

Он опять лег на диван и стал грызть волосы.

«Зачем это поют песни в седьмом нумере? — подумал он. — Это, верно, у Турбина веселятся. Пойти нешто туда да выпить хорошенько».

В это время вошел граф.

— Ну что, продулся, брат, а? — крикнул он.

«Притворюсь, что сплю, — подумал Ильин, — а то надо с ним говорить, а мне уж спать хочется».

Однако Турбин подошел к нему и погладил его по голове.

— Ну что, дружок любезный, продулся? проигрался? говори.

Ильин не отвечал.

Граф дернул его за руку.

— Проиграл. Ну что тебе? — пробормотал Ильин сонным, равнодушно недовольным голосом, не переменяя положения.

— Все?

— Ну да. Что ж за беда. Все. Тебе что?

— Послушай, говори правду, как товарищу, — сказал граф, под влиянием выпитого вина расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам. — Право, я тебя полюбил. Говори правду: ежели проиграл казенные,

я тебя выручу; а то поздно будет... Казенные деньги были?

Ильин вскочил с дивана.

— Уж ежели ты хочешь, чтоб я говорил, так не говори со мной, оттого что... и, пожалуйста, не говори со мной... пулю в лоб — вот что мне осталось одно! — проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами, несмотря на то, что за минуту перед этим преспокойно думал об иноходцах.

— Эх ты, красная девушка! Ну, с кем этого не бывало! Не беда: еще авось поправим. Подожди-ка меня тут.

Граф вышел из комнаты.

— Где стоит Лухнов, помещик? — спросил он у коридорного.

Коридорный вызвался проводить графа. Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка рейнвейна, который он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа.

— Вы, кажется, меня не узнаете? — сказал граф, решительными шагами подходя к столу.

Лухнов узнал графа и спросил:

— Что вам угодно?

— Мне хочется поиграть с вами, — сказал Турбин, садясь на диван.

— Теперь?

— Да.

— В другой раз с моим удовольствием, граф! а теперь я устал и соснуть сбираюсь. Не угодно ли винца? доброе винцо.

— А я теперь хочу поиграть немножко.

— Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет, а я не буду, граф! Вы уж, пожалуйста, меня извините.

— Так не будете?

Лухнов сделал плечами жест выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.

— Ни за что не будете?

Опять тот же жест.

— А я вас очень прошу... Что ж, будете играть?..

Молчание.

— Будете играть? — второй раз спросил граф. — Смотрите!

То же молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа.

— Будете играть? — громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка рейнвейна упала и разлилась. — Ведь вы нечисто выиграли? Будете играть? третий раз спрашиваю.

— Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф! и вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку, — заметил Лухнов, не поднимая глаз.

Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги, — и закричал таким пронзительно-отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда представительной фигуры. Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал было на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты.

— Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам, в своем нумере еще пробуду полчаса, — прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.

— Мошенник! грабитель!.. — послышалось оттуда. — Под уголовный подведу!

Ильин все так же, не обратив никакого внимания на обещания графа выручить его, лежал у себя в нумере на диване, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших его душу, вызвала ласка участия графа, не покидало его. Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы — все было навеки потеряно. Источник слез начинал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливала его внимание. В это время послышались твердые шаги графа.

На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство.

— На! отыграл! — сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций. — Сочти, все ли? Да приходи

скорей в общую залу, я сейчас еду, — прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты.

VIII

Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтоб сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы триста рублей с воротником стоит, и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменил на шинель у предводителя; но Турбин сказал, что искать шинель не нужно, и пошел в свой нумер переодеваться.

Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник, потребовав водки, приглашал всех господ ехать сейчас к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепьянах души больше, а на гитаре бемолей нельзя брать. Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтоб повеличать еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что *барорай* (по-цыгански: граф или князь, или, точнее, большой барин) прогневается. Вообще, уже догорала во всех последняя искра разгула.

— Ну, на прощанье еще песню и марш по домам, — сказал граф, свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье.

Цыгане снова расположились кружком и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа.

— У меня всего было пятнадцать тысяч казенных, а ты мне дал шестнадцать тысяч триста, — сказал он, — эти твои, стало быть.

— Хорошее дело! давай!

Ильин отдал деньги, робко глядя на графа, открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глаза, потом схватил руку графа и начал жать ее.

— Убирайся! Илюшка!.. слушай меня... на вот тебе деньги; только провожать меня с песнями до заставы. — И он бросил ему на гитару тысячу триста рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать сто рублей, которые занял у него вчера.

Уже было десять часов утра. Солнышко поднялось выше крыш, народ сновал по улицам, купцы давно отворили лавки, дворяне и чиновники ездили по улицам, барыни ходили по гостиному двору, когда ватага цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек, Ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и оттепель. Три ямские тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Граф, Ильин, Стешка, Илюшка и Сашка-денщик сели в первые сани. Блюхер выходил из себя и, махая хвостом, лаял на коренную. В другие сани уселись другие господа, тоже с цыганками и цыганами. От самой гостиницы сани выравнялись, и цыгане затянули хоровую песню.

Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы.

Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и особенно знакомые, видя благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганами.

Когда выехали за заставу, тройки остановились, и все стали прощаться с графом.

Ильин, выпивший довольно много на прощанье и все время правивший сам лошадьми, вдруг сделался печален, стал уговаривать графа остаться еще на денек, но когда убедился, что это было невозможно, совершенно неожиданно, со слезами, бросился целовать своего нового друга и обещал, что, как приедет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, в котором служил Турбин. Граф был особенно весел, кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в сугроб, исправника травил Блюхером, Стешку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву и наконец вскочил в сани, усадил рядом с собой Блюхера, который все хотел стоять на середине, Сашка, попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у *них* графскую шинель и

прислать ее, тоже вскочил на козлы. Граф крикнул: «Пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались.

Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело на талом, прозрачной корой обледеневшем снегу и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валил пар. Колокольчик побрякивал. Какой-то мужичок с возом на раскатывающихся санишках, подергивая веревочными вожжами, торопливо сторонился, бегом шлепая промокнувшими лаптишками по оттаявшей дороге; толстая, красная крестьянская баба с ребенком за овчинной пазухой сидела на другом возу, погоняя концами вожжей белую шелохвостую клячонку. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна.

— Назад! — крикнул он.

Ямщик не понял вдруг.

— Поворачивай назад! пошел в город! живо!

Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцевой. Граф быстро взбежал на лестницу, прошел переднюю, гостиную и, застав вдовушку еще спящею, взял ее на руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна спросонков только облизывалась и спрашивала: «Что случилось?» Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о Стешке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К.

IX

Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарелось, еще больше родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дурного старого погибло, много прекрасного молодого выросло и еще больше недоросшего, уродливого молодого появилось на свет божий.

Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арапником на

улице; сын, две капли воды похожий на него, был уже двадцатитрехлетний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью натуры любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно: двадцати трех лет уже был поручиком... При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон.

В мае месяце 1848 года С. гусарский полк проходил походом К. губернию, и тот самый эскадрон, которым командовал молодой граф Турбин, должен был ночевать в Морозовке, деревне Анны Федоровны. Анна Федоровна была жива, но уже так немолода, что сама не считала себя больше молодою, что много значит для женщины. Она очень растолстела, что, говорят, молодит женщину; но и на этой белой толщине были заметны крупные, мягкие морщины. Она уж не ездила никогда в город, с трудом даже влезала в экипаж, но так же была добродушна и все так же глупенька, — можно теперь сказать правду, когда она уже не подкупает своей красотой. С ней вместе жили ее дочь Лиза, двадцатитрехлетняя русская деревенская красавица, и братец, нам знакомый кавалерист, промотавший по добродушию все свое именьице и стариком приютившийся у Анны Федоровны. Волоса на голове его были седые совершенно; верхняя губа упала, но над нею усы тщательно были вычернены. Морщины покрывали не только его лоб и щеки, но даже нос и шею, спина согнулась; а все-таки в слабых кривых ногах видны были приемы старого кавалериста.

В небольшой гостиной старого домика, с открытыми балконной дверью и окнами на старинный звездообразный липовый сад, сидело все семейство и домашние Анны Федоровны. Анна Федоровна, с седой головой, в лиловой кацавейке, на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна, в чистеньких белых панталончиках и синем сюртучке, вязал на рогульке снурочек из

белой бумаги — занятие, которому его научила племянница и которое он очень полюбил, так как делать он уж ничего не мог и для чтения газеты, любимого его занятия, глаза уже были слабы. Пимочка, воспитанница Анны Федоровны, подле него твердила урок под руководством Лизы, вязавшей вместе с тем на деревянных спицах чулки из козьего пуха для дяди. Последние лучи заходящего солнца, как и всегда в эту пору, бросали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее окно и этажерку, стоявшую около него. В саду и в комнате было так тихо, что слышалось, как за окном быстро прошумит крыльями ласточка, или в комнате тихо вздохнет Анна Федоровна, или покряхтит старичок, перекладывая ногу на ногу.

— Как это кладется? Лизанька, покажи-ка. Я все забываю, — сказала Анна Федоровна, остановясь в раскладывании пасьянса.

Лиза, не переставая работать, подошла к матери и взглянула на карты.

— Ах, вы перепутали, голубушка мамаша! — сказала она, перекладывая карты, — вот так надо было. Все-таки сбудется, что вы загадали, — прибавила она, незаметно снимая одну карту.

— Ну, уж ты всегда меня обманываешь: говоришь, что вышло.

— Нет, право, значит удастся. Вышло.

— Ну, хорошо, хорошо, баловница! Да не пора ли чаю?

— Я уж велела разогревать самовар. Сейчас пойду. Вам сюда принести?.. Ну, кончай, Пимочка, скорей урок и пойдем бегать.

И Лиза вышла из двери.

— Лизочка! Лизанька! — заговорил дядя, пристально вглядываясь в свою рогульку, — опять, кажется, спустил петлю. Подними, голубчик!

— Сейчас, сейчас! только сахар отдам наколоть.

И действительно, она через три минуты вбежала в комнату, подошла к дяде и взяла его за ухо.

— Вот вам, чтобы не спускали петлей, — сказала она, смеясь, — урок и не довязали.

— Ну, полно, полно; поправь же, какой-то узелочек было видно.

Лиза взяла рогульку, вынула булавку у себя из косыночки, которую при этом распахнуло немного ветром

из окна, и как-то булавочкой добыла петлю, протянула раза два и передала рогульку дяде.

— Ну, поцелуйте же меня за это, — сказала она, подставив ему румяную щечку и закалывая косынку, — вам с ромом нынче чаю? Нынче ведь пятница.

И она опять ушла в чайную.

— Дяденька, идите смотреть: гусары идут к нам! — послышался оттуда звучный голосок.

Анна Федоровна вместе с братцем вошли в чайную комнату, из которой окна были на деревню, посмотреть гусаров. Из окна очень мало было видно, заметно было только сквозь пыль, что какая-то толпа двигается.

— А жаль, сестрица, — заметил дядя Анне Федоровне, — жаль, что так тесно и флигель не отстроен еще: попросить бы к нам офицеров. Гусарские офицеры — ведь это все такая молодежь славная, веселая; посмотрел бы хоть на них.

— Что ж, я бы душой рада; да ведь вы сами знаете, братец, что негде: моя спальня, Лизина горница, гостиная да вот эта ваша комната — вот и всё. Где же их тут поместить, сами посудите. Им старостину избу очистил Михайло Матвеев; говорит — чисто тоже.

— А мы бы тебе, Лизочка, из них жениха приискали, славного гусара! — сказал дядя.

— Нет, я не хочу гусара; я хочу улана: ведь вы в уланах служили, дядя?.. А я этих знать не хочу. Они все отчаянные, говорят.

И Лиза покраснела немного, но снова засмеялась своим звучным смехом.

— Вот и Устюшка бежит; надо спросить ее, что видела, — сказала она.

Анна Федоровна велела позвать Устюшку.

— Нет того, чтоб посидеть за работой; какая надобность бегать на солдат смотреть, — сказала Анна Федоровна. — Ну, что, где поместились офицеры?

— У Еремкиных, сударыня. Два их, красавцы такие! Один граф, сказывают.

— А фамилия как?

— Казаров ли, Турбинов ли; не запомнила, виноват-с.

— Вот дура, ничего и рассказать не умеет. Хоть бы узнала, как фамилия.

— Что ж, я сбегаю.

— Да уж я знаю, что ты на это мастерица, — нет, пускай Данило сходит; скажите ему, братец, чтоб он сходил да спросил, не нужно ли чего-нибудь офицерам-то; все учтивость надо сделать, что барыня, мол, спросить велела.

Старики снова уселись в чайную, а Лиза пошла в девичью положить в ящик наколотый сахар. Устюша рассказывала там про гусаров.

— Барышня, голубушка, вот красавчик этот граф-то,— говорила она,— просто херувимчик чернобровый. Вот бы вам такого женишка, так уж точно бы парочка была.

Другие горничные одобрительно улыбнулись; старая няня, сидевшая у окна с чулком, вздохнула и прочитала даже, втягивая в себя дух, какую-то молитву.

— Так вот как тебе понравились гусары, — сказала Лиза,— да ведь ты мастерица рассказывать. Принеси, пожалуйста, морсу, Устюша,— кисленьким гусаров поить.

И Лиза, смеясь, с сахарницей вышла из комнаты.

«А хотелось бы посмотреть, что это за гусар такой, — думала она, — брюнет или блондин? И он ведь рад бы был, я думаю, познакомиться с нами. А пройдет, так и не узнает, что я тут была и об нем думала. И сколько уж этаких прошло мимо меня. Никто меня не видит, кроме дяденьки да Устюши. Как бы я ни зачесалась, какие бы рукава ни надела, никто и не полюбуется, — подумала она, вздохнув, глядя на свою белую, полную руку. — Он должен быть высок ростом, большие глаза, верно, маленькие черные усики. Нет, вот уж двадцать два года минуло, а никто в меня не влюбился, кроме Ивана Ипатыча рябого; а четыре года тому назад я еще лучше была; и так, никому не на радость, прошла моя девичья молодость. Ах, я несчастная, несчастная деревенская барышня».

Голос матери, звавший ее разливать чай, вызвал деревенскую барышню из этой минутной задумчивости. Она встряхнула головкой и вошла в чайную.

Лучшие вещи всегда выходят нечаянно: а чем больше стараешься, тем выходит хуже. В деревнях редко стараются давать воспитание и потому нечаянно большею частию дают прекрасное. Так и случилось, в особенности с Лизой. Анна Федоровна по ограниченности ума и беззаботности нрава, не давала никакого воспитания Лизе: не учила ее ни музыке, ни столь полезному французскому языку, а нечаянно родила от покойного мужа здо-

ровенькое, хорошенькое дитя — дочку, отдала ее кормилице и няньке, кормила ее, одевала в ситцевые платьица и козловые башмачки, посылала гулять и сбирать грибы и ягоды, учила ее грамоте и арифметике посредством нанятого семинариста — и нечаянно чрез шестнадцать лет увидела в Лизе подругу и всегда веселую, добродушную и деятельную хозяйку в доме. У Анны Федоровны, по добродушию ее, всегда бывали воспитанницы или из крепостных, или из подкидышей. Лиза с десяти лет уже стала заниматься ими: учить, одевать, водить в церковь и останавливать, когда они уже слишком шалили. Потом явился дряхлый, добродушный дядя, за которым надо было ходить, как за ребенком. Потом дворовые и мужики, обращавшиеся к молодой барышне с просьбами и с недугами, которые она лечила бузиной, мятой и камфарным спиртом. Потом домашнее хозяйство, перешедшее нечаянно все в ее руки. Потом неудовлетворенная потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина. Правда, были маленькие тщеславные страдания при виде соседок в модных шляпках, привезенных из К., стоящих рядом с ней в церкви; были досады до слез на старую, ворчливую мать за ее капризы; были и любовные мечты в самых нелепых и иногда грубых формах, — но полезная и сделавшаяся необходимостью деятельность разгоняла их, и в двадцать два года ни одного пятна, ни одного угрызения не запало в светлую, спокойную душу полной физической и моральной красоты развившейся девушки. Лиза была среднего роста, скорее полная, чем худая; глаза у ней были карие, небольшие, с легким темным оттенком на нижнем веке; длинная и русая коса. Походка у ней была широкая, с развальцем — уточкой, как говорится. Выражение лица ее, когда она была занята делом и ничто особенно не волновало ее, так и говорило всем, кто вглядывался в него: хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста. Даже в минуты досады, смущения, тревоги или печали сквозь слезу, нахмуренную левую бровку, сжатые губки так и светилось, как назло ее желанию, на ямках щек, на краях губ и в блестящих глазках, привыкших улыбаться и радоваться жизнью, — так и светилось не испорченное умом, доброе, прямое сердце.

X

Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступал в Морозовку. Впереди, по пыльной улице деревни, рысцой, оглядываясь и с мычаньем изредка останавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону. Крестьянские старики, бабы, дети и дворовые жадно смотрели на гусар, толпясь по обеим сторонам улицы. В густом облаке пыли, на вороных, замундштученных, изредка пофыркивающих конях, топая, двигались гусары. С правой стороны эскадрона, распущенно сидя на красивых вороных лошадях, ехали два офицера. Один был командир, граф Турбин, другой — очень молодой человек, недавно произведенный из юнкеров, Полозов.

Из лучшей избы вышел гусар в белом кителе и, сняв фуражку, подошел к офицерам.

— Где квартира для нас отведена? — спросил его граф.

— Для вашего сиятельства? — отвечал квартирьер, вздрогнув всем телом, — здесь, у старосты, избу очистил. Требовал на барском дворе, так говорят: нетути. Помещица такая злющая.

— Ну, хорошо, — сказал граф, слезая и расправляя ноги у старостиной избы, — а что, коляска моя приехала?

— Изволила прибыть, ваше сиятельство! — отвечал квартирьер, указывая фуражкой на кожаный кузов коляски, видневшийся в воротах, и бросаясь вперед в сени избы, набитой крестьянским семейством, собравшимся посмотреть на офицеров. Одну старушку он даже столкнул с ног, бойко отворяя дверь в очищенную избу и сторонясь перед графом.

Изба была довольно большая и просторная, но не совсем чистая. Немец-камердинер, одетый как барин, стоял в избе и, уставив железную кровать и постлав ее, разбирал белье из чемодана.

— Фу, мерзость какая квартира! — сказал граф с досадой. — Дяденко! разве нельзя было лучше отвести, у помещика где-нибудь?

— Коли ваше сиятельство прикажете, я пойду выгоню кого на барский двор, — отвечал Дяденко, — да домишко-то некорыстный, не лучше избы показывает.

— Теперь уж не надо. Ступай.

И граф лег на постель, закинув за голову руки.

— Иоган! — крикнул он на камердинера, — опять бугор посередине сделал! Как ты не умеешь постелить хорошенько.

Иоган хотел поправить.

— Нет, уж не надо теперь... А халат где? — продолжал он недовольным голосом.

Слуга подал халат.

Граф, прежде чем надевать его, посмотрел полу.

— Так и есть: не вывел пятна. То есть можно ли хуже тебя служить! — прибавил он, вырывая у него из рук халат и надевая его, — ты, скажи, это нарочно делаешь?.. Чай готов?..

— Я не мог успевать, — отвечал Иоган.

— Дурак!

После этого граф взял приготовленный французский роман и довольно долго молча читал его; а Иоган вышел в сени раздувать самовар. Видно было, что граф был в дурном расположении духа, — должно быть, под влиянием усталости, пыльного лица, узкого платья и голодного желудка.

— Иоган! — крикнул он снова, — подай счет десяти рублей. Что ты купил в городе?

Граф посмотрел поданный счет и сделал недовольные замечания насчет дороговизны покупок.

— К чаю рому подай.

— Рому не покупал, — сказал Иоган.

— Отлично! сколько раз я тебе говорил, чтоб был ром!

— Денег недоставало.

— Отчего же Полозов не купил? Ты бы у его человека взял.

— Корнет Полозов? не знаю. Они купили чаю и сахару.

— Скотина!.. Ступай!.. Только ты один умеешь меня выводить из терпения... знаешь, что я всегда пью чай в походе с ромом.

— Вот два письма из штаба к вам, — сказал камердинер.

Граф лежа распечатал письма и начал читать. Вошел с веселым лицом корнет, отводивший эскадрон.

— Ну что, Турбин? Тут, кажется, хорошо. А устал-таки я, признаюсь. Жарко было.

— Очень хорошо! Поганая вонючая изба и рому нет

по твоей милости: твой болван не купил, и этот тоже. Ты бы хоть сказал.

И он продолжал читать. Дочитав до конца письмо, он смял его и бросил на пол.

— Отчего же ты не купил рому? — спрашивал в это время в сенях корнет шепотом у своего денщика, — ведь у тебя деньги были?

— Да что ж мы одни все покупать будем! И так все я расход держу; а ихний немец только трубку курит, да и все.

Второе письмо было, видно, не неприятно, потому что граф, улыбаясь, читал его.

— От кого это? — спросил Полозов, возвратясь в комнату и устраивая себе ночлег на досках подле печки.

— От Мины, — весело отвечал граф, подавая ему письмо.— Хочешь прочесть? Что это за прелесть женщина!.. Ну, право, лучше наших барышень... Посмотри, сколько тут чувства и ума, в этом письме!.. Одно нехорошо — денег просит.

— Да, это нехорошо,— заметил корнет.

— Я ей, правда, обещал; да тут поход, да и... впрочем, ежели прокомандую еще месяца три эскадроном, я ей пошлю. Не жалко, право! что за прелесть!.. а? — говорил он, улыбаясь, следя глазами за выражением лица Полозова, который читал письмо.

— Безграмотно ужасно, но мило, и кажется, что она точно тебя любит, — отвечал корнет.

— Гм! еще бы! Только эти женщины и любят истинно, когда уж любят.

— А то письмо от кого? — спросил корнет, передавая то, которое он читал.

— Так... это там есть господин один, дрянной очень, которому я должен по картам, и он уже третий раз напоминает... не могу я отдать теперь... глупое письмо! — отвечал граф, видимо, огорченный этим воспоминанием.

Довольно долго после этого разговора оба офицера молчали. Корнет, видимо, находившийся под влиянием графа, молча пил чай, изредка поглядывая на красивую отуманившуюся наружность Турбина, пристально глядевшего в окно, и не решался начать разговора.

— А что, ведь может отлично выйти,— вдруг, обернувшись к Полозову и весело тряхнув головой, сказал граф,— ежели у нас на линии будет в нынешнем году

производство, да еще в дело попадем, я могу своих ротмистров гвардии перегнать.

Разговор и за вторым стаканом чаю продолжался на эту тему, когда вошел старый Данило и передал приказание Анны Федоровны.

— Да еще приказали спросить, не сынок ли изволите быть графа Федора Иваныча Турбина? — добавил от себя Данило, узнавший фамилию офицера и помнивший еще приезд покойного графа в город К.— Наша барыня, Анна Федоровна, очень с ними знакомы были.

— Это мой отец был; да доложи барыне, что очень благодарен, ничего не нужно, только, мол, приказали просить, ежели бы можно, комнатку почище где-нибудь, в доме или где-нибудь.

— Ну, зачем ты это? — сказал Полозов, когда Данило вышел, — разве не все равно? одна ночь здесь разве не все равно; а они будут стесняться.

— Вот еще! Кажется, довольно мы пошлялись по курным избам!.. Сейчас видно, что ты непрактический человек... Отчего же не воспользоваться, когда можно хоть на одну ночь поместиться как людям? А они, напротив, ужасно довольны будут. Одно только противно: ежели эта барыня точно знала отца,— продолжал граф, открывая улыбкой свои белые, блестящие зубы,— как-то всегда совестно за *папашу* покойного: всегда какая-нибудь история скандальная или долг какой-нибудь. От этого я терпеть не могу встречать этих отцовских знакомых. Впрочем, тогда век такой был,— добавил он уже серьезно.

— А я тебе не рассказывал,— сказал Полозов,— я как-то встретил уланской бригады командира Ильина. Он тебя очень хотел видеть и без памяти любит твоего отца.

— Он, кажется, ужасная дрянь, этот Ильин. А главное, что все эти господа, которые уверяют, что знали моего отца, чтоб подделаться ко мне, и, как будто очень милые вещи, рассказывают про отца такие штуки, что слушать совестно. Оно правда, я не увлекаюсь и беспристрастно смотрю на вещи, — он был слишком пылкий человек, иногда и не совсем хорошие штуки делал. Впрочем, все дело времени. В наш век он, может быть, вышел бы и очень дельный человек, потому что способности-то у него были огромные, надо отдать справедливость.

Через четверть часа вернулся слуга и передал просьбу помещицы пожаловать ночевать в доме.

XI

Узнав, что гусарский офицер был сын графа Федора Турбина, Анна Федоровна захлопоталась.

— А, батюшки мои! голубчик он мой!.. Данило! скорей беги, скажи: барыня к себе просит,— заговорила она, вскакивая и скорыми шагами направляясь в девичью.— Лизанька! Устюшка! приготовить надо твою комнату, Лиза. Ты перейди к дяде; а вы, братец... братец! вы в гостиной уж ночуйте. Одну ночь ничего.

— Ничего, сестрица! я на полу лягу.

— Красавчик, я чай, коли на отца похож. Хоть погляжу на него, на голубчика... Вот ты посмотри, Лиза! А отец красавец был... Куда несешь стол? оставь тут,— суетилась Анна Федоровна,— да две кровати принеси — одну у приказчика возьми; да на этажерке подсвечник хрустальный возьми, что мне братец в именины подарил, и калетовскую свечу поставь.

Наконец все было готово. Лиза, несмотря на вмешательство матери, устроила по-своему свою комнатку для двух офицеров. Она достала чистое, надушенное резедой постельное белье и приготовила постели; велела поставить графин воды и свечи подле на столике; накурила бумажкой в девичьей и сама перебралась с своею постелькой в комнату дяди. Анна Федоровна успокоилась немного, уселась опять на свое место, взяла было даже в руки карты, но, не раскладывая их, оперлась на пухлый локоть и задумалась. «Времечко-то, времечко как летит! — шепотом про себя твердила она. — Давно ли, кажется? как теперь гляжу на него. Ах, шалун был! — И у нее слезы выступили на глаза. — Теперь Лизанька... но все она не то, что я была в ее года-то... хороша девочка, но нет, не то...»

— Лизанька, ты бы платьице муслин-де-леневое надела к вечеру.

— Да разве вы их будете звать, мамаша? Лучше не надо,— отвечала Лиза, испытывая непреодолимое волнение при мысли видеть офицеров, — лучше не надо, мамаша!

Действительно, она не столько желала их видеть, сколько боялась какого-то волнующего счастия, которое, как ей казалось, ожидало ее.

— Может быть, сами захотят познакомиться, Лизочка! — сказала Анна Федоровна, гладя ее по волосам

и вместе с тем думая: «Нет, не те волоса, какие у меня были в ее годы... Нет, Лизочка, как бы я желала тебе...» И она точно чего-то очень желала для своей дочери; но женитьбы с графом она не могла предполагать, тех отношений, которые были с отцом его, она не могла желать,— но чего-то такого она очень-очень желала для своей дочери. Ей хотелось, может быть, пожить еще раз в душе дочери той же жизнью, которою она жила с покойником.

Старичок кавалерист тоже был несколько взволнован приездом графа. Он вышел в свою комнату и заперся в ней. Через четверть часа он явился оттуда в венгерке и голубых панталонах и с смущенно-довольным выражением лица, с которым девушка в первый раз надевает бальное платье, пошел в назначенную для гостей комнату.

— Посмотрю на нынешних гусаров, сестрица! Покойник граф точно истинный гусар был. Посмотрю, посмотрю.

Офицеры пришли уже с заднего крыльца в назначенную для них комнату.

— Ну, вот видишь ли,— сказал граф, как был, в пыльных сапогах, ложась на приготовленную постель,— разве тут не лучше, чем в избе с тараканами!

— Лучше-то лучше, да как-то обязываться хозяевам...

— Вот вздор! Надо во всем быть практическим человеком. Они ужасно довольны, наверно... Человек! — крикнул он,— спроси чего-нибудь завесить это окошко, а то ночью дуть будет.

В это время вошел старичок знакомиться с офицерами. Он, хотя и краснея несколько, разумеется не преминул рассказать о том, что был товарищем покойного графа, что пользовался его расположением, и даже сказал, что он не раз был облагодетельствован покойником. Разумел ли он под благодеяниями покойного то, что тот так и не отдал ему занятых ста рублей, или то, что бросил его в сугроб, или что ругал его,— старичок не объяснил нисколько. Граф был весьма учтив с старичком кавалеристом и благодарил за помещение.

— Уж извините, что не роскошно, граф (он чуть было не сказал: ваше сиятельство,— так уж отвык от обращения с важными людьми), домик сестрицы маленький. А вот это сейчас завесим чем-нибудь, и будет хорошо,— прибавил старичок и, под предлогом занавески, но глав-

ное, чтоб рассказать поскорее про офицеров, шаркая, вышел из комнаты.

Хорошенькая Устюша с барыниной шалью пришла завесить окно. Кроме того, барыня приказала ей спросить, не угодно ли господам чаю.

Хорошее помещение, по-видимому, благоприятно подействовало на расположение духа графа: он, весело улыбаясь, пошутил с Устюшей, так что Устюша назвала его даже шалуном, расспросил ее, хороша ли их барышня, и на вопрос ее, не угодно ли чаю, отвечал, что чаю, пожалуй, пусть принесут, а главное, что свой ужин еще не готов, так нельзя ли теперь водки, закусить чего-нибудь и хересу, ежели есть.

Дядюшка был в восторге от учтивости молодого графа и превозносил до небес молодое поколение офицеров, говоря, что нынешние люди не в пример авантажнее прежних.

Анна Федоровна не соглашалась — лучше графа Федора Иваныча никто не был,— и наконец уже серьезно рассердилась, сухо замечала только, что «для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучше. Известно, теперь, конечно, люди умнее стали, а что все-таки граф Федор Иваныч так танцевал экосес и так любезен был, что тогда все, можно сказать, без ума от него были; только он ни с кем, кроме меня, не занимался. Стало быть, и в старину были хорошие люди».

В это время пришло известие о требовании водки, закуски и хереса.

— Ну вот, как же вы, братец! Вы всегда не то сделаете. Надо было заказать ужинать, — заговорила Анна Федоровна. — Лиза! распорядись, дружок!

Лиза побежала в кладовую за грибками и свежим сливочным маслом, повару заказали битки.

— Только хересу у вас осталось, братец?

— Нету, сестрица! у меня и не было.

— Как же нету! а вы что-то пьете такое с чаем?

— Это ром, Анна Федоровна.

— Разве не все равно? Вы дайте этого, все равно — ром. Да уж не попросить ли их лучше сюда, братец? Вы всё знаете. Они, кажется, не обидятся?

Кавалерист объявил, что он ручается за то, что граф по доброте своей не откажется и что он приведет их непременно. Анна Федоровна пошла надеть для чего-то платье гро-гро и новый чепец; а Лиза так была занята,

что и не успела снять розового холстинкового платья с широкими рукавами, которое было на ней. Притом она была ужасно взволнована: ей казалось, что ждет ее что-то поразительное, точно низкая черная туча нависла над ее душой. Этот граф-гусар, красавец, казался ей каким-то совершенно новым для нее, непонятным, но прекрасным существом. Его нрав, его привычки, его речи — все должно было быть такое необыкновенное, какого она никогда не встречала. Все, что он думает и говорит, должно быть умно и правда; все, что он делает, должно быть честно; вся его наружность должна быть прекрасна. Она не сомневалась в этом. Ежели бы он не только потребовал закуски и хересу, но ванну из шалфея с духами, она бы не удивилась, не обвиняла бы его и была бы твердо уверена, что это так нужно и должно.

Граф тотчас же согласился, когда кавалерист выразил ему желание сестрицы, причесал волосы, надел шинель и взял сигарочницу.

— Пойдем же,— сказал он Полозову.

— Право, лучше не ходить,— отвечал корнет,— ils feront des frais pour nous recevoir [1].

— Вздор! это их осчастливит. Да я уж и навел справки: там дочка хорошенькая есть... Пойдем,— сказал граф по-французски.

— Ie vous en prie, messieurs! [2] — сказал кавалерист только для того, чтобы дать почувствовать, что и он знает по-французски и понял то, что сказали офицеры.

XII

Лиза покраснела и, потупясь, будто бы занялась доливанием чайника, боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату. Анна Федоровна, напротив, торопливо вскочила, поклонилась и, не отрывая глаз от лица графа, начала говорить ему, то находя необыкновенное сходство с отцом, то рекомендуя свою дочь, то предлагая чаю, варенья или пастилы деревенской. На корнета, по его скромному виду, никто не обращал внимания, чему он был очень рад, потому что, сколько возможно было прилично, всматривался и до подробно-

---

[1] они израсходуются для того, чтобы принять нас *(франц.)*.
[2] Прошу вас, господа! *(франц.)*

стей разбирал красоту Лизы, которая, как видно, неожиданно поразила его. Дядя, слушая разговор сестры с графом, с готовой речью на устах выжидал случая порассказать свои кавалерийские воспоминания. Граф за чаем, закурив свою крепкую сигару, от которой с трудом сдерживала кашель Лиза, был очень разговорчив, любезен, сначала, в промежутки непрерывных речей Анны Федоровны, вставляя свои рассказы, а под конец один овладев разговором. Одно немного странно поражало его слушателей: в рассказах своих он часто говорил слова, которые, не считаясь предосудительными в его обществе, здесь были несколько смелы, причем Анна Федоровна пугалась немного, а Лиза до ушей краснела; но граф не замечал этого и был все так же спокойно прост и любезен. Лиза молча наливала стаканы, не подавая в руки гостям, ставила их поближе к ним и, еще не оправясь от волнения, жадно вслушивалась в речи графа. Его незамысловатые рассказы, запинки в разговоре понемногу успокоивали ее. Она не слышала от него предполагаемых ею очень умных вещей, не видела той изящности во всем, которую она смутно ожидала найти в нем. Даже при третьем стакане чаю, после того как робкие глаза ее встретились раз с его глазами и он не опустил их, а както слишком спокойно продолжал, чуть-чуть улыбаясь, глядеть на нее, она почувствовала себя даже несколько враждебно расположенной к нему и скоро нашла, что не только ничего не было в нем особенного, но он нисколько не отличался от всех тех, кого она видела, что не стоило бояться его, — только ногти чистые, длинные, а даже и красоты особенной нет в нем. Лиза вдруг, не без некоторой внутренней тоски расставшись с своей мечтой, успокоилась, и только взгляд молчаливого корнета, который она чувствовала устремленным на себя, беспокоил ее. «Может быть, это не он, а он!» думала она.

XIII

После чаю старушка пригласила гостей в другую комнату и снова уселась на свое место.

— Да вы отдохнуть не хотите ли, граф? — спрашивала она. — Так чем бы вас занять, дорогих гостей? — продолжала она после отрицательного ответа.— Вы играете,

в карты, граф? Вот бы вы, братец, заняли, партию бы составили во что-нибудь...

— Да ведь вы сами играете в преферанс,— отвечал кавалерист,— так уж вместе давайте. Будете, граф? и вы будете?

Офицеры изъявили согласие делать все то, что угодно будет любезным хозяевам.

Лиза принесла из своей комнаты свои старые карты, в которые она гадала о том, скоро ли пройдет флюс у Анны Федоровны, вернется ли нынче дядя из города, когда он уезжал, приедет ли сегодня соседка и т. д. Карты эти, хотя служили уже месяца два, были почище тех, в которые гадала Анна Федоровна.

— Только вы не станете по маленькой играть, может быть? — спросил дядя. — Мы играем с Анной Федоровной по полкопейки... И то она нас всех обыгрывает.

— Ах, по чем прикажете, я очень рад,— отвечал граф.

— Ну, так по копейке ассигнациями! уж для дорогих гостей идет: пускай они меня обыграют, старуху,— сказала Анна Федоровна, широко усаживаясь в своем кресле и расправляя свою мантилию.

«А может, и выиграю у них целковый»,— подумала Анна Федоровна, получившая под старость маленькую страсть к картам.

— Хотите, я вас выучу с табелькой играть,— сказал граф,— и с мизерами! Это очень весело.

Всем очень понравилась новая петербургская манера. Дядя уверял даже, что он ее знал, и это то же, что в бостон было, но забыл только немного. Анна же Федоровна ничего не поняла и так долго не понимала, что нашлась вынужденной, улыбаясь и одобрительно кивая головой, утверждать, что теперь она поймет и все для нее ясно. Немало было смеху в середине игры, когда Анна Федоровна с тузом и королем бланк говорила мизер и оставалась с шестью. Она даже начинала теряться, робко улыбаться и торопливо уверять, что не совсем еще привыкла по-новому. Однако на нее записывали, и много, тем более, что граф, по привычке играть большую коммерческую игру, играл сдержанно, подводил очень хорошо и никак не понимал толчков под столом ногой корнета и грубых его ошибок в вистованье.

Лиза принесла еще пастилы, трех сортов варенья и сохранившиеся особенного моченья опортовые яблоки и

остановилась за спиной матери, вглядываясь в игру и изредка поглядывая на офицеров и в особенности на белые с тонкими розовыми отделанными ногтями руки графа, которые так опытно, уверенно и красиво бросали карты и брали взятки.

Опять Анна Федоровна, с некоторым азартом перебивая у других, докупившись до семи, обремизилась без трех и, по требованию братца уродливо изобразив какую-то цифру, совершенно растерялась и заторопилась.

— Ничего, мамаша, еще отыграетесь!.. — улыбаясь, сказала Лиза, желая вывести мать из смешного положения.— Вы дяденьку обремизите раз: тогда он попадется.

— Хоть бы ты мне помогла, Лизочка! — сказала Анна Федоровна, испуганно глядя на дочь.— Я не знаю, как это...

— Да и я не знаю по этому играть,— отвечала Лиза, мысленно считая ремизы матери.— А вы этак много проиграете, мамаша! и Пимочке на платье не останется,— прибавила она шутя.

— Да, этак легко можно рублей десять серебром проиграть,— сказал корнет, глядя на Лизу и желая вступить с ней с разговор.

— Разве мы не ассигнациями играем? — оглядываясь на всех, спросила Анна Федоровна.

— Я не знаю как, только я не умею считать ассигнациями,— сказал граф.— Как это? то есть что это ассигнации?

— Да теперь уж никто ассигнациями не считает,— подхватил дядюшка, который играл кремешком и был в выигрыше.

Старушка велела подать шипучки, выпила сама два бокала, раскраснелась и, казалось, на все махнула рукой. Даже одна прядь седых волос выбилась у ней из-под чепца, и она не поправляла ее. Ей, верно, казалось, что она проиграла миллионы и что она совсем пропала. Корнет все чаще и чаще толкал ногой графа. Граф списывал ремизы старушки. Наконец партия кончилась. Как ни старалась Анна Федоровна, кривя душою, прибавлять свои записи и притворяться, что она ошибается в счете и не может счесть, как ни приходила в ужас от величины своего проигрыша, в конце расчета оказалось, что она проиграла девятьсот двадцать призов. «Это ассигнациями выходит девять рублей?» — несколько раз спрашивала

Анна Федоровна, и до тех пор не поняла всей громадности своего проигрыша, пока братец, к ужасу ее, не объяснил, что она проиграла тридцать два рубля с полтиной ассигнациями и что их нужно заплатить непременно. Граф даже не считал своего выигрыша, а тотчас по окончании игры встал и подошел к окну, у которого Лиза устанавливала закуску и выкладывала на тарелку грибки из банки к ужину, и совершенно спокойно и просто сделал то, чего весь вечер так желал и не мог сделать корнет,— вступил с ней в разговор о погоде.

Корнет же в это время находился в весьма неприятном положении. Анна Федоровна с уходом графа и особенно Лизы, поддерживавшей ее в веселом расположении духа, откровенно рассердилась.

— Однако как досадно, что мы вас так обыграли,— сказал Полозов, чтоб сказать что-нибудь.— Это просто бессовестно.

— Да еще бы, выдумали какие-то табели да мизеры! Я в них не умею; как же ассигнациями-то, сколько же выходит всего? — спрашивала она.

— Тридцать два рубля, тридцать два с полтинкой,— твердил кавалерист, находясь под влиянием выигрыша в игривом расположении духа,— давайте-ка денежки, сестрица... давайте-ка.

— И дам вам все; только уж больше не поймаете, нет! Это я и в жизнь не отыграюсь.

И Анна Федоровна ушла к себе, быстро раскачиваясь, вернулась назад и принесла девять рублей ассигнациями. Только по настоятельному требованию старичка она заплатила все.

На Полозова нашел некоторый страх, чтобы Анна Федоровна не выбранила его, ежели он заговорит с ней. Он молча потихоньку отошел от нее и присоединился к графу и Лизе, которые разговаривали у открытого окна.

В комнате на накрытом для ужина столе стояли две сальные свечи. Свет их изредка колыхался от свежего, теплого дуновения майской ночи. В окне, открытом в сад, было тоже светло, но совершенно иначе, чем в комнате. Почти полный месяц, уже теряя золотистый оттенок, всплывал над верхушками высоких лип и больше и больше освещал белые тонкие тучки, изредка застилавшие его. На пруде, которого поверхность, в одном месте посеребренная месяцем, виднелась сквозь аллеи, заливались лягушки. В сиреневом душистом кусте под самым

окном, изредка медленно качавшем влажными цветами, чуть-чуть перепрыгивали и встряхивались какие-то птички.

— Какая чудная погода! — сказал граф, подходя к Лизе и садясь на низкое окно,— вы, я думаю, много гуляете?

— Да,— отвечала Лиза, не чувствуя почему-то уже ни малейшего смущения в беседе с графом,— я по утрам, часов в семь, по хозяйству хожу, так и гуляю немножко с Пимочкой — маменькиной воспитанницей.

— Приятно в деревне жить! — сказал граф, вставив в глаз стеклышко, глядя то на сад, то на Лизу,— а по ночам, при лунном свете, вы не ходите гулять?

— Нет. А вот в третьем годе мы с дяденькой каждую ночь гуляли, когда луна была. На него странная какая-то болезнь — бессонница находила. Как полная луна, так он заснуть не мог. Комнатка же его, вот эта, прямо на сад, и окошко низенькое: луна прямо к нему ударяла.

— Странно,— заметил граф,— да ведь это ваша комнатка, кажется?

— Нет, я только нынче тут ночую. Мою комнатку вы занимаете.

— Неужели?.. Ах, боже мой!.. Век себе не прощу этого беспокойства,— сказал граф, в знак искренности чувства выбрасывая стеклышко из глаза,— ежели бы я знал, что я вас потревожу...

— Что за беспокойство! Напротив, я очень рада: дяденькина комнатка такая чудесная, веселенькая, окошечко низенькое; я буду там себе сидеть, пока не засну, или в сад перелезу, погуляю еще на ночь.

«Экая славная девочка! — подумал граф, снова вставив стеклышко, глядя на нее и, как будто усаживаясь на окне, стараясь ногой тронуть ее ножку. — И как она хитро дала мне почувствовать, что я могу увидеть ее в саду у окна, коли захочу». Лиза даже потеряла в его глазах бóльшую часть прелести: так легка ему показалась победа над нею.

— А какое, должно быть, наслаждение,— сказал он, задумчиво вглядываясь в темные аллеи,— провести такую ночь в саду с существом, которое любишь.

Лиза смутилась несколько этими словами и повторенным, как будто нечаянным, прикосновением ноги. Она, прежде чем подумала, сказала что-то для того только, чтобы смущение ее не было заметно. Она сказала: «Да,

славно в лунные ночи гулять». Ей становилось что-то неприятно. Она увязала банку, из которой выкладывала грибки, и собиралась уйти от окна, когда к ним подошел корнет, и ей захотелось узнать, что это за человек такой.

— Какая прелестная ночь! — сказал он.

«Однако только про погоду и разговаривают», — подумала Лиза.

— Какой вид чудесный! — продолжал корнет,— только вам, я думаю, уж надоело,— прибавил он, по странной, свойственной ему склонности говорить вещи, немного неприятные людям, которые ему очень нравились.

— Отчего ж вы так думаете? кушанье одно и то же, платье — надоест, а сад хороший не надоест, когда любишь гулять, особенно когда месяц еще повыше поднимется. Из дяденькиной комнаты весь пруд виден. Вот я нынче буду смотреть.

— А соловьев у вас нет, кажется? — спросил граф, весьма недовольный тем, что пришел Полозов и помешал ему узнать положительные условия свиданья.

— Нет, у нас всегда были; только в прошлом году охотники одного поймали, и нынче на прошлой неделе славно запел было, да становой приехал с колокольчиком и спугнул. Мы, бывало, в третьем году, сядем с дяденькой в крытой аллее и часа два слушаем.

— Что эта болтушка вам рассказывает? — сказал дядя, подходя к разговаривающим, — закусить не угодно ли?

После ужина, во время которого граф похваливанием кушаний и аппетитом успел как-то рассеять несколько дурное расположение духа хозяйки, офицеры распрощались и пошли в свою комнату. Граф пожал руку дяде, к удивлению Анны Федоровны, и ее руку, не целуя, пожал только, пожал даже и руку Лизы, причем взглянул ей прямо в глаза и слегка улыбнулся своею приятной улыбкой. Этот взгляд снова смутил девушку.

«А очень хорош,— подумала она,— только уж слишком занимается собой».

XIV

— Ну, как тебе не стыдно? — сказал Полозов, когда офицеры вернулись в свою комнату,— я старался нарочно проиграть, толкал тебя под столом. Ну, как тебе не совестно? Ведь старушка совсем огорчилась.

Граф ужасно расхохотался.

— Уморительная госпожа! как она обиделась!

И он опять принялся хохотать так весело, что даже Иоган, стоявший перед ним, потупился и слегка улыбнулся в сторону.

— Вот те и сын друга семейства!.. ха, ха, ха! — продолжал смеяться граф.

— Нет, право, это нехорошо. Мне ее жалко даже стало,— сказал корнет.

— Вот вздор! Как ты еще молод! Что ж, ты хотел, чтоб я проиграл? Зачем же я бы проиграл? И я проигрывал, когда не умел. Десять рублей, братец, пригодятся. Надо смотреть практически на жизнь, а то всегда в дураках будешь.

Полозов замолчал; притом ему хотелось одному думать о Лизе, которая казалась ему необыкновенно чистым, прекрасным созданием. Он разделся и лег в мягкую и чистую постель, приготовленную для него.

«Что за вздор эти почести и слава военная! — думал он, глядя на завешенное шалью окно, сквозь которое прокрадывались бледные лучи месяца. — Вот счастье — жить в тихом уголке, с милой, умной, простой женою! Вот это прочное, истинное счастье!»

Но почему-то он не сообщал этих мечтаний своему другу и даже не упоминал о деревенской девушке, несмотря на то, что был уверен, что и граф о ней думал.

— Что ж ты не раздеваешься? — спросил он графа, который ходил по комнате.

— Не хочется еще спать что-то. Туши свечу, коли хочешь; я так лягу.

И он продолжал ходить взад и вперед.

— Не хочется еще спать что-то,— повторил Полозов, чувствуя себя после нынешнего вечера больше чем когда-нибудь недовольным влиянием графа и расположенным взбунтоваться против него. «Я воображаю,— рассуждал он, мысленно обращаясь к Турбину,— какие в твоей причесанной голове теперь мысли ходят! я видел, как тебе она понравилась. Но ты не в состоянии понять это простое, честное существо; тебе Мину надобно, полковничьи эполеты. Право, спрошу его, как она ему понравилась».

И Полозов было обернулся к нему, но раздумал: он чувствовал, что не только не в состоянии будет спорить с ним, если взгляд графа на Лизу тот, который он предполагал, но что даже не в силах будет не согласиться с ним,—

так уж он привык подчиняться влиянию, которое становилось для него с каждым днем тяжелее и несправедливее.

— Куда ты? — спросил он, когда граф надел фуражку и подошел к двери.

— Пойду на конюшню, посмотрю: все ли в порядке.

«Странно!» — подумал корнет, но потушил свечу и, стараясь разогнать нелепо-ревнивые и враждебные к прежнему своему другу мысли, лезшие ему в голову, перевернулся на другой бок.

Анна Федоровна этим временем, перекрестив и расцеловав, по обыкновению, нежно брата, дочь и воспитанницу, тоже удалилась в свою комнату. Давно уж в один день не испытывала старушка столько сильных впечатлений, так что и молиться она не могла спокойно: все грустно-живое воспоминание о покойном графе и о молодом франтике, который так безбожно обыграл ее, не выходило у нее из головы. Однако же, по обыкновению, раздевшись, выпив полстакана квасу, приготовленного у постели на столике, она легла в постель. Любимая ее кошка тихо вползла в комнату. Анна Федоровна подозвала ее и стала гладить, вслушиваясь в ее мурлыканье, и все не засыпала.

«Это кошка мешает»,— подумала она и прогнала ее. Кошка мягко упала на пол, медленно поворачивая пушистым хвостом, вскочила на лежанку; но тут девка, спавшая на полу в комнате, принесла стлать свой войлок, тушить свечку и зажигать лампадку. Наконец и девка захрапела; но сон все еще не приходил к Анне Федоровне и не успокоивал ее расстроенного воображения. Лицо гусара так и представлялось ей, когда она закрывала глаза, и, казалось, являлось в различных странных видах в комнате, когда она с открытыми глазами при слабом свете лампадки смотрела на комод, на столик, на висевшее белое платье. То ей казалось жарко в перине, то несносно били часы на столике и невыносимо носом храпела девка. Она разбудила ее и велела перестать храпеть. Опять мысли о дочери, о старом и молодом графе, преферансе странно перемешивались в ее голове. То она видела себя в вальсе с старым графом, видела свои полные белые плечи, чувствовала на них чьи-то поцелуи и потом видела свою дочь в объятиях молодого графа. Опять храпеть начала Устюшка...

«Нет, что-то не то теперь, люди не те. Тот в огонь за меня готов был. Да и было за что. А этот небось спит

себе дурак дураком, рад, что выиграл; нет того, чтоб поволочиться. Как тот, бывало, говорит на коленях: «Что ты хочешь, чтоб я сделал: убил бы себя сейчас, и что хочешь?» — и убил бы, коли б я сказала».

Вдруг чьи-то босые шаги раздались по коридору, и Лиза в одном накинутом платке, вся бледная и дрожащая, вбежала в комнату и почти упала к матери на постель...

Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уже весь блестевший серебряным сияньем.

Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед ней совершенно в новом свете: старая капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые, мужики, обожающие барышню, дойные коровы и телки; вся эта, все та же столько раз умиравшая и обновлявшаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что давало ей такой легкий, приятный душевный отдых,— все это вдруг показалось не *то,* все это показалось *скучно, ненужно.* Как будто кто-нибудь сказал ей: «Дурочка, дурочка! двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье!» Она это думала теперь, вглядываясь в глубину светлого, неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее; но он дурен, бедный, и молчалив как-то. Она невольно забывала его и с злобой и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то», — говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен! Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог бы быть любимым, — идеал, ни разу не обрезанный для того, чтобы слить его с какою-нибудь грубою действительностью.

Сначала уединение и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душу каждого из нас одинаково вложило провидение, была еще цела и невозмутима в ее сердце; теперь же уже слишком долго она жила грустным счастием чувствовать в себе присутствие этого чего-то и,

изредка открывая таинственный сердечный сосуд, наслаждаться созерцанием его богатств, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь все то, что там было. Дай бог, чтобы она до гроба наслаждалась этим скупым счастием. Кто знает, не лучше ли и не сильнее ли оно? и не одно ли оно истинно и возможно?

«Господи боже мой! — думала она,— неужели я даром потеряла счастие и молодость, и уж не будет... никогда не будет? неужели это правда?» — и она вглядывалась в высокое, светлое около месяца небо, покрытое белыми волнистыми тучами, которые, застилая звездочки, подвигались к месяцу. «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит правда»,— подумала она. Туманная дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде; черные тени дерев стали менее заметны. И, как будто вторя мрачной тени, осенившей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна росистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени.

«Нет, это неправда, — утешала она себя, — а вот если соловей запоет нынче ночью, то, значит, вздор все, что я думаю, и не надо отчаиваться»,— подумала она. И долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осветилось и ожило и снова несколько раз набегали на месяц тучки и все померкало. Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздававшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешительные слезы налились в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами.

Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты...

XV

Действительно, это был граф. Услышав крик девушки и кряхтенье сторожа за забором, отозвавшегося на этот крик, он опрометью, с чувством пойманного вора, бросился бежать по мокрой, росистой траве в глубину сада. «Ах я дурак! — твердил он бессознательно.— Я ее испугал. Надо было тише, словами разбудить. Ах, я скотина неловкая!» Он остановился и прислушался: сторож через калитку прошел в сад, волоча палку по песчаной дорожке. Надо было спрятаться. Он спустился к пруду. Лягушки торопливо, заставляя его вздрагивать, побултыкали из-под его ног в воду. Здесь, несмотря на промоченные ноги, он сел на корточки и стал припоминать все, что он делал: как он перелез через забор, искал ее окно и наконец увидал белую тень; как несколько раз, прислушиваясь к малейшему шороху, он подходил и отходил от окна; как то ему казалось несомненно, что она с досадой на его медлительность ожидает его, то казалось, что это невозможно, чтобы она так легко решилась на свидание; как, наконец, предполагая, что она только от конфузливости уездной барышни притворяется, что спит, он решительно подошел и увидал ясно ее положение, но тут вдруг почему-то убежал опрометью назад и, только сильно устыдив трусостью самого себя, подошел к ней смело и тронул ее за руку. Сторож снова крякнул и, скрипнув калиткой, вышел из саду. Окно барышниной комнаты захлопнулось и заставилось ставешком изнутри. Графу это было ужасно досадно видеть. Он бы дорого дал, чтобы только можно было начать опять все сначала: уж теперь бы он не поступил так глупо... «А чудесная барышня! свеженькая какая! просто прелесть! и так прозевал. Глупая скотина я!» Притом спать уже ему не хотелось, и он решительными шагами раздосадованного человека пошел наудачу вперед по дорожке крытой липовой аллеи.

И тут и для него эта ночь приносила свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви. Глинистая, кой-где с пробивающейся травкой или сухой веткой, дорожка освещалась кружками, сквозь густую листву лип, прямыми бледными лучами месяца. Какой-нибудь загнутый сук, как обросший белым мхом, освещался сбоку. Листья, серебрясь, шептались изредка. В доме потухли огни, замолкли все звуки; только соло-

вей наполнял собой, казалось, все необъятное молчаливое и светлое пространство. «Боже, какая ночь! какая чудная ночь! — думал граф, вдыхая в себя пахучую свежесть сада. — Чего-то жалко. Как будто недоволен и собой, и другими, и всей жизнью недоволен. А славная, милая девочка. Может быть, она точно огорчилась...» Тут мечты его перемешались, он воображал себя в этом саду вместе с уездной барышней в различных, самых странных положениях; потом роль барышни заняла его любезная Мина. «Экой я дурак! Надо было просто ее схватить за талию и поцеловать». И с этим раскаянием граф вернулся в комнату.

Корнет не спал еще. Он тотчас повернулся на постели лицом к графу.

— Ты не спишь? — спросил граф.

— Нет.

— Рассказать тебе, что было?

— Ну?

— Нет, лучше не рассказывать... или расскажу. Подожми ноги.

И граф, махнув уже мысленно рукой на прозеванную им интрижку, с оживленною улыбкой подсел на постель товарища.

— Можешь себе представить, что ведь барышня эта мне назначила rendez-vous! [1]

— Что ты говоришь? — вскрикнул Полозов, вскакивая с постели.

— Ну, слушай.

— Да как же? Когда же? Не может быть!

— А вот, пока вы считали преферанс, она мне сказала, что будет ночью сидеть у окна и что в окно можно влезть. Вот что значит практический человек! Покуда вы там с старухой считали, я это дельце обделал. Да ведь ты слышал, она при тебе даже сказала, что она будет сидеть нынче у окна, на пруд смотреть.

— Да это она так сказала.

— Вот то-то я и не знаю, нечаянно или нет она это сказала. Может быть, и точно она еще не хотела сразу, только было похоже на то. Вышла-то странная штука. Я дураком совсем поступил! — прибавил он, презрительно улыбаясь на себя.

— Да что же? Где ты был?

---

[1] свиданье! *(франц.)*

Граф, исключая своих нерешительных неоднократных подступов, рассказал все, как было.

— Я сам испортил: надо было смелее. Закричала и убежала от окошка.

— Так она закричала и убежала,— сказал корнет с неловкой улыбкой, отвечая на улыбку графа, имевшую на него такое долгое и сильное влияние.

— Да. Ну, теперь спать пора.

Корнет повернулся опять спиной к двери и молча полежал минут десять. Бог знает, что делалось у него в душе; но когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность.

— Граф Турбин! — сказал он прерывистым голосом.

— Что ты, бредишь или нет? — спокойно отозвался граф.— Что, корнет Полозов?

— Граф Турбин! вы подлец! — крикнул Полозов и вскочил с постели.

XVI

На другой день эскадрон выступил. Офицеры не видали хозяев и не простились с ними. Между собой они тоже не говорили. По приходе на первую дневку предположено было драться. Но ротмистр Шульц, добрый товарищ, отличнейший ездок, любимый всеми в полку и выбранный графом в секунданты, так успел уладить это дело, что не только не дрались, но никто в полку не знал об этом обстоятельстве, и даже Турбин и Полозов хотя не в прежних дружеских отношениях, но остались на «ты» и встречались за обедами и за партиями.

11 апреля 1856 г.

ИЗ КАВКАЗСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ.

РАЗЖАЛОВАННЫЙ

Мы стояли в отряде. Дела уже кончались, дорубали просеку и с каждым днем ожидали из штаба приказа об отступлении в крепость. Наш дивизион батарейных орудий стоял на скате крутого горного хребта, оканчивающегося быстрой горной речкой Мечиком, и должен был обстреливать расстилавшуюся впереди равнину. На живописной равнине этой, вне выстрела, изредка, особенно перед вечером, там и сям показывались невраждебные группы конных горцев, выезжавших из любопытства посмотреть на русский лагерь. Вечер был ясный, тихий и свежий, как обыкновенно декабрьские вечера на Кавказе, солнце спускалось за крутым отрогом гор налево и бросало розовые лучи на палатки, рассыпанные по горе, на движущиеся группы солдат и на наши два орудия, тяжело, как будто вытянув шеи, неподвижно стоявшие в двух шагах от нас на земляной батарее. Пехотный пикет, расположенный на бугре налево, отчетливо обозначался на прозрачном свете заката, с своими козлами ружей, фигурой часового, группой солдат и дымом разложенного костра. Направо и налево, по полугоре, на черной притоптанной земле белели палатки, а за палатками чернели голые стволы чинарного леса, в котором беспрестанно стучали топорами, трещали костры и с грохотом падали подрубленные деревья. Голубоватый дым трубой подымался со всех сторон в светло-синее морозное небо. Мимо палаток и низами около ручья тянулись с топотом и фырканьем казаки, драгуны и артиллеристы, возвращавшиеся с водопоя. Начинало подмораживать, все звуки были слышны особенно явственно, — и далеко вперед по равнине было видно в чистом, редком воздухе. Неприятельские кучки, уже не возбуждая любопытства солдат,

тихо разъезжали по светло-желтому жнивью кукурузных полей, кой-где из-за деревьев виднелись высокие столбы кладбищ и дымящиеся аулы.

Наша палатка стояла недалеко от орудий, на сухом и высоком месте, с которого вид был особенно обширен. Подле палатки, около самой батареи, на расчищенной площадке была устроена нами игра в городки, или чушки. Услужливые солдатики тут же приделали для нас плетеные лавочки и столик. По причине всех этих удобств артиллерийские офицеры, наши товарищи, и несколько пехотных любили по вечерам собираться к нашей батарее и называли это место клубом.

Вечер был славный, лучшие игроки собрались, и мы играли в городки. Я, прапорщик Д. и поручик О. проиграли сряду две партии и к общему удовольствию и смеху зрителей — офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток,— провезли два раза на своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого. Особенно забавно было положение огромного, толстого штабс-капитана Ш., который, задыхаясь и добродушно улыбаясь, с волочащимися по земле ногами проехал на маленьком и тщедушном поручике О. Но становилось уже поздно, денщики вынесли нам, на всех шесть человек, три стакана чая, без блюдечек, и мы, окончив игру, подошли к плетеным лавочкам. Около них стоял незнакомый нам небольшой человечек с кривыми ногами, в нагольном тулупе и в папахе с длинною висящей белой шерстью. Как только мы подошли близко к нему, он нерешительно несколько раз снял и надел шапку и несколько раз как будто собирался подойти к нам и снова останавливался. Но решив, должно быть, что уже больше нельзя оставаться незамеченным, незнакомый человек этот снял шапку и, обходя нас кругом, подошел к штабс-капитану Ш.

— А, Гуськантини! Ну что, батенька? — сказал ему Ш., добродушно улыбаясь еще под влиянием своей поездки.

Гуськантини, как его назвал Ш., тотчас же надел шапку и сделал вид, что он засовывает руки в карманы полушубка, но с той стороны, с которой он стоял ко мне, кармана на полушубке не было, и маленькая красная рука его осталась в неловком положении. Мне хотелось решить, кто такой был этот человек (юнкер или разжалованный?), и я, не замечая того, что мой взгляд (то есть

взгляд незнакомого офицера) смущал его, вглядывался пристально в его одежду и наружность. Ему казалось лет тридцать. Маленькие, серые, круглые глаза его как-то заспанно и вместе с тем беспокойно выглядывали из-за грязного белого курпея папахи, висевшего ему на лицо. Толстый, неправильный нос среди ввалившихся щек изобличал болезненную, неестественную худобу. Губы, весьма мало закрытые редкими, мягкими, белесоватыми усами, беспрестанно находились в беспокойном состоянии, как будто пытались принять то то, то другое выражение. Но все эти выражения были как-то недоконченны; на лице его оставалось постоянно одно преобладающее выражение испуга и торопливости. Худую, жилистую шею его обвязывал шерстяной зеленый шарф, скрывающийся под полушубком. Полушубок был затертый, короткий, с нашитой собакой на воротнике и на фальшивых карманах. Панталоны были клетчатые, пепельного цвета, и сапоги с короткими нечернеными солдатскими голенищами.

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— сказал я ему, когда он снова, робко взглянув на меня, снял было шапку.

Он поклонился мне с благодарным выражением, надел шапку и, достав из кармана грязный ситцевый кисет на шнурочках, стал делать папироску.

Я сам недавно был юнкером, старым юнкером, неспособным уже быть добродушно-услужливым младшим товарищем, и юнкером без состояния, поэтому, хорошо зная всю моральную тяжесть этого положения для немолодого и самолюбивого человека, я сочувствовал всем людям, находящимся в таком положении, и старался объяснить себе их характер и степень и направление умственных способностей, для того чтобы по этому судить о степени их моральных страданий. Этот юнкер или разжалованный, по своему беспокойному взгляду и тому умышленному беспрестанному изменению выражения лица, которое я заметил в нем, казался мне человеком очень неглупым и крайне самолюбивым, и поэтому очень жалким.

Штабс-капитан Ш. предложил нам сыграть еще партию в городки, с тем чтобы проигравшая партия, кроме перевозу, заплатила за несколько бутылок красного вина, рому, сахару, корицы и гвоздики для глинтвейна, который в эту зиму, по случаю холода, был в большой моде в нашем отряде. Гуськантини, как его опять назвал Ш., тоже

пригласили в партию, но, перед тем как начинать игру, он видимо борясь между удовольствием, которое ему доставило это приглашение, и каким-то страхом, отвел в сторону штабс-капитана Ш. и стал что-то нашептывать ему. Добродушный штабс-капитан ударил его своей пухлой, большой ладонью по животу и громко отвечал: «Ничего, батенька, я вам поверю».

Когда игра кончилась, и та партия, в которой был незнакомый нижний чин, выиграла, и ему пришлось ехать верхом на одном из наших офицеров, прапорщике Д., — прапорщик покраснел, отошел к диванчикам и предложил нижнему чину папирос в виде выкупа. Пока заказали глинтвейн и в денщицкой палатке слышалось хлопотливое хозяйничанье Никиты, посылавшего вестового за корицей и гвоздикой, и спина его натягивала то там, то сям грязные полы палатки, мы все семь человек уселись около лавочек и, попеременно попивая чай из трех стаканов и посматривая вперед на начинавшую одеваться сумерками равнину, разговаривали и смеялись о разных обстоятельствах игры. Незнакомый человек в полушубке не принимал участия в разговоре, упорно отказывался от чая, который я несколько раз предлагал ему, и, сидя на земле по-татарски, одну за другою делал из мелкого табаку папироски и выкуривал их, как видно было, не столько для своего удовольствия, сколько для того, чтобы дать себе вид чем-нибудь занятого человека. Когда заговорили о том, что назавтра ожидают отступления и, может быть, дела, он приподнялся на колени и, обращаясь к одному штабс-капитану Ш., сказал, что он был теперь дома у адъютанта и сам писал приказ о выступлении назавтра. Мы все молчали в то время, как он говорил и, несмотря на то, что он, видимо, робел, заставили его повторить это крайне для нас интересное известие. Он повторил сказанное, прибавив, однако, что он *был* и *сидел* у адъютанта, с которым *он живет вместе,* в то время как принесли приказание.

— Смотрите, коли вы не лжете, батенька, так мне надо в своей роте идти приказать кой-что к завтраму,— сказал штабс-капитан Ш.

— Нет... отчего же?.. как же можно, я наверно... — заговорил нижний чин, но вдруг замолчал и, видимо решившись обидеться, ненатурально нахмурил брови и, шепча что-то себе под нос, снова начал делать папироску. Но высыпанного мельчайшего табаку уже было

недостаточно в его ситцевом кисете, и он попросил Ш. *одолжить* ему *папиросочку*. Мы довольно долго продолжали между собою ту однообразную военную болтовню, которую знает каждый, кто бывал в походах, жаловались всё одними и теми же выражениями на скуку и продолжительность похода, одним и тем же манером рассуждали о начальстве, всё так же, как много раз прежде, хвалили одного товарища, жалели другого, удивлялись, как много выиграл тот, как много проиграл этот, и т. д., и т. д.

— Вот, батенька, адъютант-то наш прорвался так прорвался,— сказал штабс-капитан Ш.,— в штабе вечно в выигрыше был, с кем ни сядет, бывало, загребет, а теперь уж второй месяц все проигрывает. Не задался ему нынешний отряд. Я думаю, монетов тысячу спустил, да и вещей монетов на пятьсот: ковер, что у Мухина выиграл, пистолеты никитинские, часы золотые, от Сады, что ему Воронцов подарил, все ухнуло.

— Поделом ему,— сказал поручик О.,— а то уж он очень всех обдувал: с ним играть нельзя было.

— Всех обдувал, а теперь весь в трубу вылетел,— и штабс-капитан Ш. добродушно рассмеялся,— вот Гуськов у него живет — он и его чуть не проиграл, право. Так, батенька? — обратился он к Гуськову.

Гуськов засмеялся. У него был жалкий, болезненный смех, совершенно изменявший выражение его лица. При этом изменении мне показалось, что я прежде знал и видал этого человека, притом и настоящая фамилия его, Гуськов, была мне знакома, но как и когда я его знал и видел — я решительно не мог припомнить.

— Да,— сказал Гуськов, беспрестанно поднимая руки к усам и, не дотронувшись до них, опуская их снова,— Павлу Дмитриевичу очень в этот отряд не повезло, такая veine de malheur [1],— добавил он старательным, но чистым французским выговором, причем мне снова показалось, что я уже видал, и даже часто видал его где-то.— Я хорошо знаю Павла Дмитриевича, он мне все доверяет,— продолжал он,— мы с ним еще старые знакомые, то есть он меня любит,— прибавил он, видимо испугавшись слишком смелого утверждения, что он старый знакомый адъютанта.— Павел Дмитриевич отлично играет, но теперь удивительно, что с ним сделалось, он совсем как

[1] полоса неудачи *(франц.)*.

потерянный, — la chance a tourné[1], — добавил он, обращаясь преимущественно ко мне.

Мы сначала с снисходительным вниманием слушали Гуськова, но как только он сказал еще эту французскую фразу, мы все невольно отвернулись от него.

— Я с ним тысячу раз играл, и ведь согласитесь, что это странно,— сказал поручик О. с особенным ударением на этом слове,— удивительно *странно:* я ни разу у него не выиграл ни абаза. Отчего же я у других выигрываю?

— Павел Дмитриевич отлично играет, я его давно знаю,— сказал я. Действительно, я знал адъютанта уже несколько лет, не раз видал его в игре, большой по средствам офицеров, и восхищался его красивой, немного мрачной и всегда невозмутимо спокойной физиономией, его медлительным малороссийским выговором, его красивыми вещами и лошадьми, его неторопливой хохлацкой молодцеватостью и особенно его умением сдержанно, отчетливо и приятно вести игру. Не раз, каюсь в том, глядя на его полные и белые руки с бриллиантовым перстнем на указательном пальце, которые мне били одну карту за другою, я злился на этот перстень, на белые руки, на всю особу адъютанта, и мне приходили на его счет дурные мысли; но, обсуживая потом хладнокровно, я убеждался, что он просто игрок умнее всех тех, с которыми ему приходится играть. Тем более что, слушая его общие рассуждения об игре, о том, как следует не отгибаться, поднявшись с маленького куша, как следует бастовать в известных случаях, как первое правило играть на *чистые* и т. д., и т. д., было ясно, что он всегда в выигрыше только оттого, что умнее и характернее всех нас. Теперь же оказалось, что этот воздержный, характерный игрок проигрался в пух в отряде не только деньгами, но и вещами, что означает последнюю степень проигрыша для офицера.

— Ему чертовски всегда везет со мной,— продолжал поручик О. — Я уж дал себе слово больше не играть с ним.

— Экой вы чудак, батенька,— сказал Ш., подмигивая на меня всей головой и обращаясь к О.,— проиграли ему монетов триста, ведь проиграли!

— Больше,— сердито сказал поручик.

— А теперь хватились за ум, да поздно, батенька: всем давно известно, что он наш полковой шулер,— ска-

[1] счастье отвернулось *(франц.).*

зал Ш., едва удерживаясь от смеха и очень довольный своей выдумкой.— Вот Гуськов налицо, он ему и карты подготавливает. От этого-то у них и дружба, батенька мой...— И штабс-капитан Ш. так добродушно, колебаясь всем телом, расхохотался, что расплескал стакан глинтвейна, который держал в руке в это время. На желтом, исхудалом лице Гуськова показалась как будто краска, он несколько раз открывал рот, поднимал руки к усам и снова опускал их к месту, где должны были быть карманы, приподнимался и опускался и наконец не своим голосом сказал Ш.:

— Это не шутка, Николай Иванович; вы говорите такие вещи и при людях, которые меня не знают и видят в нагольном полушубке... потому что...— Голос у него оборвался, и снова маленькие красные ручки с грязными ногтями заходили от полушубка к лицу, то поправляя усы, волосы, нос, то прочищая глаз или почесывая без всякой надобности щеку.

— Да что и говорить, всем известно, батенька,— продолжал Ш., искренно довольный своей шуткой и вовсе не замечая волнения Гуськова. Гуськов еще прошептал что-то и, уперев локоть правой руки на коленку левой ноги, в самом неестественном положении, глядя на Ш., стал делать вид, как будто он презрительно улыбается.

«Нет,— решительно подумал я, глядя на эту улыбку,— я не только видел его, но говорил с ним где-то».

— Мы с вами где-то встречались,— сказал я ему, когда под влиянием общего молчания начал утихать смех Ш. Переменчивое лицо Гуськова вдруг просветлело, и его глаза в первый раз с искренно-веселым выражением устремились на меня.

— Как же, я вас сейчас узнал,— заговорил он по-французски.— В сорок восьмом году я вас довольно часто имел удовольствие видеть в Москве, у моей сестры Ивашиной.

Я извинился, что не узнал его сразу в этом костюме и в этой новой одежде. Он встал, подошел ко мне и своей влажной рукой нерешительно, слабо пожал мою руку и сел подле меня. Вместо того чтобы смотреть на меня, которого он будто бы был так рад видеть, он с выражением какого-то неприятного хвастовства оглянулся на офицеров. Оттого ли, что я узнал в нем человека, которого несколько лет тому назад видал во фраке в гостиной, или оттого, что при этом воспоминании он вдруг

поднялся в своем собственном мнении, мне показалось, что его лицо и даже движения совершенно изменились: они выражали теперь бойкий ум, детское самодовольство от сознания этого ума и какую-то презрительную небрежность, так что, признаюсь, несмотря на жалкое положение, в котором он находился, мой старый знакомый уже внушал мне не сострадание, а какое-то несколько неприязненное чувство.

Я живо вспомнил нашу первую встречу. В сорок восьмом году я часто в бытность мою в Москве езжал к Ивашину, с которым мы росли вместе и были старые приятели. Его жена была приятная хозяйка дома, любезная женщина, что называется, но она мне никогда не нравилась... В ту зиму, когда я ее знал, она часто говорила с худо скрываемой гордостью про своего брата, который недавно кончил курс и будто бы был одним из самых образованных и любимых молодых людей в лучшем петербургском свете. Зная по слухам отца Гуськовых, который был очень богат и занимал значительное место, и зная направление сестры, я встретился с молодым Гуськовым с предубеждением. Раз вечером, приехав к Ивашину, я застал у него невысокого, весьма приятного на вид молодого человека в черном фраке, в белом жилете и галстуке, с которым хозяин забыл познакомить меня. Молодой человек, по-видимому собиравшийся ехать на бал, с шляпой в руке стоял перед Ивашиным и горячо, но учтиво спорил с ним про общего нашего знакомого, отличившегося в то время в венгерской кампании. Он говорил, что этот знакомый был вовсе не герой и человек, рожденный для войны, как его называли, а только умный и образованный человек. Помню, я принял участие в споре против Гуськова и увлекся в крайность, доказывая даже, что ум и образование всегда в обратном отношении к храбрости, и помню, как Гуськов приятно и умно доказывал мне, что храбрость есть необходимое следствие ума и известной степени развития, с чем я, считая себя умным и образованным человеком, не мог втайне не согласиться! Помню, что в конце нашего разговора Ивашина познакомила меня с своим братом, и он, снисходительно улыбаясь, подал мне свою маленькую руку, на которую еще не совсем успел натянуть лайковую перчатку, и так же слабо и нерешительно, как и теперь, пожал мою руку. Хотя я и был предубежден против него, я не мог тогда не отдать справедливости Гуськову и не

согласиться с его сестрою, что он был действительно умный и приятный молодой человек, который должен был иметь успех в свете. Он был необыкновенно опрятен, изящно одет, свеж, имел самоуверенно-скромные приемы и вид чрезвычайно моложавый, почти детский, за который вы невольно извиняли ему выражение самодовольства и желание умерить степень своего превосходства перед вами, которое постоянно носили на себе его умное лицо и в особенности улыбка. Говорили, что он в эту зиму имел большой успех у московских барынь. Видав его у сестры, я только по выражению счастия и довольства, которое постоянно носила на себе его молодая наружность, и по его иногда нескромным рассказам мог заключить, в какой степени это было справедливо. Мы встречались с ним раз шесть и говорили довольно много, или, скорее, много говорил он, а я слушал. Он говорил большею частию по-французски, весьма хорошим языком, очень складно, фигурно и умел мягко, учтиво перебивать других в разговоре. Вообще он обращался со всеми и со мною довольно свысока, а я, как это всегда со мной бывает в отношении людей, которые твердо уверены, что со мной следует обращаться свысока, и которых я мало знаю,— чувствовал, что он совершенно прав в этом отношении.

Теперь, когда он подсел ко мне и сам подал мне руку, я живо узнал в нем прежнее высокомерное выражение, и мне показалось, что он не совсем честно пользуется выгодой своего положения нижнего чина перед офицером, так небрежно расспрашивая меня о том, что я делал все это время и как попал сюда. Несмотря на то, что я всякий раз отвечал по-русски, он заговаривал на французском языке, на котором уже заметно выражался не так свободно, как прежде. Про себя он мне мельком сказал, что после своей несчастной, глупой истории (в чем состояла эта история, я не знал, и он не сказал мне) он три месяца сидел под арестом, потом был послан на Кавказ в N. полк,— теперь уже три года служит солдатом в этом полку.

— Вы не поверите,— сказал он мне по-французски,— сколько я должен был выстрадать в этих полках от общества офицеров; еще счастье мое, что я прежде знал адъютанта, про которого мы сейчас говорили: он хороший человек, право,— заметил он снисходительно,— я у него живу, и для меня это все-таки маленькое облегчение.

Oui, mon cher, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas[1],— добавил он и вдруг замялся, покраснел и встал с места, заметив, что к нам подходил тот самый адъютант, про которого мы говорили.

— Такая отрада встретить такого человека, как вы,— сказал мне шепотом Гуськов, отходя от меня,— мне бы много, много хотелось переговорить с вами.

Я сказал, что я очень рад этому, но, в сущности, признаюсь, Гуськов внушал мне несимпатическое, тяжелое сострадание.

Я предчувствовал, что с глазу на глаз мне будет неловко с ним, но мне хотелось узнать от него многое и в особенности, почему, когда отец его был так богат, он был в бедности, как это было заметно по его одежде и приемам.

Адъютант поздоровался со всеми нами, исключая Гуськова, и подсел со мной рядом на место, которое занимал разжалованный. Всегда спокойный и медлительный, характерный игрок и денежный человек, Павел Дмитриевич был теперь совершенно другим, как я его знал в цветущие времена его игры; он как будто торопился куда-то, беспрестанно оглядывал всех, и не прошло пяти минут, как он, всегда отказывавшийся от игры, предложил поручику О. составить банчик. Поручик О. отказался под предлогом занятий по службе, собственно же, потому, что, зная, как мало вещей и денег оставалось у Павла Дмитриевича, он считал неблагоразумным рисковать свои триста рублей против ста рублей, а может, и меньше, которые он мог выиграть.

— А что, Павел Дмитриевич,— сказал поручик, видимо желая избавиться от повторения просьбы,— правда говорят — завтра выступление?

— Не знаю,— заметил Павел Дмитриевич,— только велено приготовиться, а право, лучше бы сыграли, я бы вам заложил моего кабардинца.

— Нет, уж нынче...

— Серого, уж куда ни шло, а то, ежели хотите, деньгами. Что ж?

— Да я что ж... Я бы готов, вы не думайте,— заговорил поручик О., отвечая на свое собственное

[1] Да, дорогой мой, дни следуют один за другим, но не повторяются *(франц.)*.

сомнение, — а то завтра, может, набег или движение, выспаться надо.

Адъютант встал и, заложив руки в карманы, стал ходить по площадке. Лицо его приняло обычное выражение холодности и некоторой гордости, которое я любил в нем.

— Не хотите ли стаканчик глинтвейну? — сказал я ему.

— Можно-с,— и он направился ко мне, но Гуськов торопливо взял стакан у меня из рук и понес его адъютанту, стараясь притом не глядеть на него. Но, не обратив вниманья на веревку, натягивающую палатку, Гуськов спотыкнулся на нее и, выпустив из рук стакан, упал на руки.

— Эка филя! — сказал адъютант, протянувший уже руку к стакану. Все расхохотались, не исключая Гуськова, потиравшего рукой свою худую коленку, которую он никак не мог зашибить при падении.

— Вот как медведь пустыннику услужил,— продолжал адъютант. — Так-то он мне каждый день услуживает, все колышки на палатках пооборвал, — все спотыкается.

Гуськов, не слушая его, извинялся перед нами и взглядывал на меня с чуть заметной грустной улыбкой, которою он как будто говорил, что я один могу понимать его. Он был жалок, но адъютант, его покровитель, казался почему-то озлобленным на своего сожителя и никак не хотел оставить его в покое.

— Как же, ловкий мальчик! куда ни поверните.

— Да кто ж не спотыкается на эти колышки, Павел Дмитриевич,— сказал Гуськов, — вы сами третьего дня спотыкнулись.

— Я, батюшка, не нижний чин, с меня ловкости не спрашивается.

— Он может ноги волочить,— подхватил штабс-капитан Ш.,— а нижний чин должен подпрыгивать...

— Странные шутки,— сказал Гуськов почти шепотом и опустив глаза. Адъютант был, видимо, неравнодушен к своему сожителю, он с алчностью вслушивался в его каждое слово.

— Придется опять в секрет послать,— сказал он, обращаясь к Ш. и подмигивая на разжалованного.

— Что ж, опять слезы будут,— сказал Ш., смеясь. Гуськов не глядел уже на меня, а делал вид, что достает табак из кисета, в котором давно уже ничего не было.

— Сбирайтесь в секрет, батенька,— сквозь смех проговорил Ш., — нынче лазутчики донесли, нападение на лагерь ночью будет, так надо надежных ребят назначать. — Гуськов нерешительно улыбался, как будто сбираясь сказать что-то, и несколько раз поднимал умоляющий взгляд на Ш.

— Что ж, ведь я ходил, и пойду еще, коли пошлют,— пролепетал он.

— Да и пошлют.

— Ну, и пойду. Что ж такое?

— Да, как на Аргуне, убежали из секрета и ружье бросили,— сказал адъютант и, отвернувшись от него, начал нам рассказывать приказания на завтрашний день.

Действительно, в ночь ожидали со стороны неприятеля стрельбу по лагерю, а назавтра какое-то движение. Потолковав еще о разных общих предметах, адъютант, как будто нечаянно вдруг вспомнив, предложил поручику О. прометать ему маленькую. Поручик О. совершенно неожиданно согласился, и они вместе с Ш. и прапорщиком пошли в палатку адъютанта, у которого был складной зеленый стол и карты. Капитан, командир нашего дивизиона, пошел спать в палатку, другие господа разошлись тоже, и мы остались одни с Гуськовым. Я не ошибался, мне действительно было с ним неловко с глазу на глаз. Я невольно встал и стал ходить взад и вперед по батарее. Гуськов молча пошел со мной рядом, торопливо и беспокойно поворачиваясь, чтобы не отставать и не опережать меня.

— Я вам не мешаю? — сказал он кротким, печальным голосом. Сколько я мог рассмотреть в темноте его лицо, оно мне показалось глубоко задумчивым и грустным.

— Нисколько,— отвечал я; но так как он не начинал говорить и я не знал, что сказать ему, мы довольно долго ходили молча.

Сумерки уже совершенно заменились темнотою ночи, над черным профилем гор зажглась яркая вечерняя зарница, над головами на светло-синем морозном небе мерцали мелкие звезды, со всех сторон краснело во мраке пламя дымящихся костров, вблизи серели палатки и мрачно чернела насыпь нашей батареи. От ближайшего костра, около которого, греясь, тихо разговаривали наши денщики, изредка блестела на батарее медь наших тяжелых орудий, и показывалась фигура часового в шинели внакидку, мерно двигавшегося вдоль насыпи.

— Вы не можете себе представить, какая отрада для меня говорить с таким человеком, как вы,— сказал мне Гуськов, хотя он еще ни о чем не говорил со мной,— это может понять только тот, кто побывал в моем положении.

Я не знал, что отвечать ему, и мы снова молчали, несмотря на то, что ему, видимо, хотелось высказаться, а мне выслушать его.

— За что вы были... за что вы пострадали? — спросил я его наконец, не придумав ничего лучше, чтоб начать разговор.

— Разве вы не слышали про эту несчастную историю с Метениным?

— Да, дуэль, кажется; слышал мельком,— отвечал я,— ведь я уже давно на Кавказе.

— Нет, не дуэль, но эта глупая и ужасная история! Я вам все расскажу, коли вы не знаете. Это было в тот самый год, когда мы с вами встречались у сестры, я жил тогда в Петербурге. Надо вам сказать, я имел тогда то, что называется une position dans le monde [1], и довольно выгодную, ежели не блестящую. Mon père me donnait dix milles par an [2]. В сорок девятом году мне обещали место при посольстве в Турине, дядя мой по матери мог и всегда был готов очень много для меня сделать. Дело прошлое теперь, j'étais reçu dans la meilleure société de Pétersbourg, je pouvais prétendre [3] на лучшую партию. Учился я, как все мы учились в школе, так что особенного образования у меня не было; правда, я читал много после, mais j'avais surtout, знаете, ce jargon du monde [4], и, как бы то ни было, меня находили почему-то одним из первых молодых людей Петербурга. Что меня еще больше возвысило в общем мнении — c'est cette liaison avec madame D. [5], про которую много говорили в Петербурге, но я был ужасно молод в то время и мало ценил все эти выгоды. Просто я был молод и глуп, чего мне еще нужно было? В то время в Петербурге этот Метенин имел репутацию... — И Гуськов продолжал в этом роде рассказывать мне историю своего несчастия, которую, как вовсе не интересную, я пропущу здесь. — Два месяца я сидел

[1] положение в свете *(франц.)*.
[2] Отец давал мне десять тысяч ежегодно *(франц.)*.
[3] Я был принят в лучшем обществе Петербурга, я мог рассчитывать *(франц.)*.
[4] но особенно я владел этим светским жаргоном *(франц.)*.
[5] так это связь с госпожой Д. *(франц.)*.

под арестом,— продолжал он, — совершенно один, и чего не передумал я в это время. Но знаете, когда все это кончилось, как будто уж окончательно была разорвана связь с прошедшим, мне стало легче. Mon père, vous en avez entendu parler [1], наверно, он человек с характером железным и с твердыми убеждениями, il m'a déshérité [2] и прекратил все сношения со мною. По его убеждениям так надо было сделать, и я нисколько не обвиняю его: il a été conséquent [3]. Зато и я не сделал шагу для того, чтобы он изменил своему намерению. Сестра была за границей, madame D. одна писала ко мне, когда позволили, и предлагала помощь, но вы понимаете, что я отказался. Так что у меня не было тех мелочей, которые облегчают немного в этом положении, знаете,— ни книг, ни белья, ни пищи, ничего. Я много, много передумал в это время, на все стал смотреть другими глазами; например, этот шум, толки света обо мне в Петербурге не занимали меня, не льстили нисколько, все это мне казалось смешно. Я чувствовал, что сам был виноват, неосторожен, молод, я испортил свою карьеру и только думал о том, как снова поправить ее. И я чувствовал в себе на это силы и энергию. Из-под ареста, как я вам говорил, меня отослали сюда, на Кавказ, в N. полк. Я думал,— продолжал он, воодушевляясь более и более,— что здесь, на Кавказе, la vie de camp [4], люди простые, честные, с которыми я буду в сношениях, война, опасности, все это придется к моему настроению духа как нельзя лучше, что я начну новую жизнь. On me verra au feu [5], полюбят меня, будут уважать меня не за одно имя, — крест, унтерофицер, снимут штраф, и я опять вернусь et, vous savez, avec ce prestige du malheur! Ho quel désenchantement [6]. Вы не можете себе представить, как я ошибся!.. Вы знаете общество офицеров нашего полка? — Он помолчал довольно долго, ожидая, как мне показалось, что я скажу ему, что знаю, как нехорошо общество здешних офицеров; но я ничего не отвечал ему. Мне было противно, что он, потому верно, что я знал по-французски, предполагал,

---

[1] Мой отец, вы слышали о нем *(франц.)*.

[2] он лишил меня права на наследство *(франц.)*.

[3] он был последователен *(франц.)*.

[4] лагерная жизнь *(франц.)*.

[5] Меня увидят под огнем *(франц.)*.

[6] и, знаете, с этим обаянием несчастья! Но какое разочарование *(франц.)*.

что я должен был быть возмущен против общества офицеров, которое я, напротив, пробыв долго на Кавказе, успел оценить вполне и уважал в тысячу раз больше, чем то общество, из которого вышел господин Гуськов. Я хотел ему сказать это, но его положение связывало меня.

— В N. полку общество офицеров в тысячу раз хуже здешнего,— продолжал он.— J'espére que c'est beaucoup dire [1], то есть вы не можете себе представить, что это такое! Уже не говорю о юнкерах и солдатах. Это ужас что такое! Меня приняли сначала хорошо, это совершенная правда, но потом, когда увидали, что я не могу не презирать их, знаете, в этих незаметных мелких отношениях, увидали, что я человек совершенно другой, стоящий гораздо выше их, они озлобились на меня и стали отплачивать мне разными мелкими унижениями. Ce que j'ai eu à souffrir, vous ne vous faites pas une idée [2]. Потом эти невольные отношения с юнкерами, а главное avec les petits moyens que j'avais, je manquais de tout [3], у меня было только то, что сестра мне присылала. Вот вам доказательство, сколько я выстрадал, что я с моим характером, avec ma fierté, j'ai écrit à mon père [4], умолял его прислать мне хоть что-нибудь. Я понимаю, что прожить пять лет такой жизнью — можно сделаться таким же, как наш разжалованный Дромов, который пьет с солдатами и ко всем офицерам пишет записочки, прося *ссудить* его тремя рублями, и подписывает «tout à vous [5] Дромов». Надобно было иметь такой характер, который я имел, чтобы совершенно не погрязнуть в этом ужасном положении.— Он долго молча ходил подле меня.— Avez-vous un papiros? [6] — сказал он мне. — Да, так на чем я остановился? Да. Я не мог этого выдержать, не физически, потому что хотя и плохо, холодно и голодно было, я жил как солдат, но все-таки и офицеры имели какое-то уважение ко мне. Какой-то prestige [7] оставался на мне и для них. Они не посылали меня в караулы, на ученье. Я бы этого не вынес. Но морально страдал я ужасно. И главное,

[1] Надеюсь, что этим достаточно сказано *(франц.)*.

[2] Вы не можете себе представить, сколько я перестрадал *(франц.)*.

[3] при тех маленьких средствах, которые у меня были, я нуждался во всем *(франц.)*.

[4] с моей гордостью, я написал отцу *(франц.)*.

[5] весь ваш *(франц.)*.

[6] Есть у вас папироса? *(франц.)*

[7] авторитет *(франц.)*.

не видел выхода из этого положения. Я писал дяде, умолял его перевести меня в здешний полк, который по крайней мере бывает в делах, и думал, что здесь Павел Дмитриевич, qui est le fils de l'intendant de mon père [1], все-таки он мог быть мне полезен. Дядя сделал это для меня, меня перевели. После того полка этот показался для меня собранием камергеров. Потом Павел Дмитриевич тут, он знал, кто я такой, и меня приняли прекрасно. По просьбе дяди... Гуськов, vous savez... [2] но я заметил, что с этими людьми, без образования и развития,— они не могут уважать человека и оказывать ему признаки уважения, ежели на нем нет этого ореола богатства, знатности; я замечал, как понемногу, когда увидали, что я беден, их отношения со мной становились небрежнее, небрежнее и наконец сделались почти презрительные. Это ужасно! но это совершенная правда.

— Здесь я был в делах, дрался, on m'a vu au feu [3], — продолжал он,— но когда это кончится? Я думаю, никогда! а силы мои и энергия уже начинают истощаться. Потом я воображал la guerre, la vie de camp [4], но все это не так, как я вижу,— в полушубке, немытые, в солдатских сапогах вы идете в секрет и целую ночь лежите в овраге с каким-нибудь Антоновым, за пьянство отданным в солдаты, и всякую минуту вас из-за куста могут застрелить, вас или Антонова, все равно. Тут уж не храбрость — это ужасно. C'est affreux, ça tue [5].

— Что ж, вы можете теперь за поход получить унтерофицера, а на будущий год и прапорщика,— сказал я.

— Да, могу, мне обещали, но еще два года, и то едва ли. А что такое эти два года, ежели бы знал кто-нибудь. Вы представьте себе эту жизнь с этим Павлом Дмитриевичем: карты, грубые шутки, кутеж; вы хотите сказать что-нибудь, что у вас накипело на душе, вас не понимают или над вами еще смеются, с вами говорят не для того, чтобы сообщить вам мысль, а так, чтоб, ежели можно, еще из вас сделать шута. Да и все это так пошло, грубо, гадко, и всегда вы чувствуете, что вы нижний чин, это вам всегда дают чувствовать. От этого

[1] сын управляющего моего отца *(франц.)*.
[2] вы знаете... *(франц.)*
[3] меня видели под огнем *(франц.)*.
[4] войну, лагерную жизнь *(франц.)*.
[5] Это ужасно, это убийственно *(франц.)*.

вы не поймете, какое наслаждение поговорить à coeur ouvert[1] с таким человеком, как вы.

Я никак не понимал, какой это я был человек, и поэтому не знал, что отвечать ему...

— Закусывать будете? — сказал мне в это время Никита, незаметно подобравшийся ко мне в темноте и, как я заметил, недовольный присутствием гостя.— Только вареники да битой говядины немного осталось.

— А капитан уж закусывал?

— Они спят давно,— угрюмо отвечал Никита. На мое приказание принести нам сюда закусить и водочки он недовольно проворчал что-то и потащился к своей палатке. Поворчав еще там, он, однако, принес нам погребец; на погребце поставил свечку, обвязав ее наперед бумагой от ветру, кастрюльку, горчицу в банке, жестяную рюмку с ручкой и бутылку с полынной настойкой. Устроив все это, Никита постоял еще несколько времени около нас и посмотрел, как я и Гуськов выпили водки, что ему, видимо, было очень неприятно. При матовом освещении свечи сквозь бумагу и среди окружающей темноты виднелись только тюленевая кожа погребца, ужин, стоявший на ней, лицо, полушубок Гуськова и его маленькие красные ручки, которыми он принялся выкладывать вареники из кастрюльки. Кругом все было черно, и, только вглядевшись, можно было различить черную батарею, такую же черную фигуру часового, видневшуюся через бруствер, по сторонам огни костров и наверху красноватые звезды. Гуськов печально и стыдливо чуть заметно улыбался, как будто ему неловко было глядеть мне в глаза после своего признания. Он выпил еще рюмку водки и ел жадно, выскребая кастрюльку.

— Да, для вас все-таки облегчение,— сказал я ему, чтобы сказать что-нибудь,— ваше знакомство с адъютантом; он, я слышал, очень хороший человек.

— Да,— отвечал разжалованный,— он добрый человек, но он не может быть другим, не может быть человеком, с его образованьем и нельзя требовать.— Он вдруг как будто покраснел.— Вы заметили его грубые шутки нынче о секрете,— и Гуськов, несмотря на то, что я несколько раз старался замять разговор, стал оправдываться передо мной и доказывать, что он не убежал из

[1] по душе *(франц.)*.

секрета и что он не трус, как это хотели дать заметить адъютант и Ш.

— Как я говорил вам, — продолжал он, обтирая руки о полушубок, — такие люди не могут быть деликатны с человеком — солдатом и у которого мало денег; это свыше их сил. И вот последнее время, как я пять месяцев уж почему-то ничего не получаю от сестры, я заметил, как они переменились ко мне. Этот полушубок, который я купил у солдата и который не греет, потому что весь вытерт (при этом он показал мне голую полу), не внушает ему сострадания или уважения к несчастью, а презрение, которое он не в состоянии скрывать. Какая бы ни была моя нужда, как теперь, что мне есть нечего, кроме солдатской каши, и носить нечего, — продолжал он, потупившись, наливая себе еще рюмку водки, — он не догадается предложить мне денег взаймы, зная наверно, что я отдам ему, а ждет, чтобы я в моем положении обратился к нему. А вы понимаете, каково это мне и с ним. Вам бы, например, я прямо сказал — vous êtes au-dessus de cela; mon cher, je n'ai pas le sou [1]. И знаете, — сказал он, вдруг отчаянно взглядывая мне в глаза, — вам я прямо говорю, я теперь в ужасном положении: pouvez vous me prêter dix roubles argent? [2] Сестра должна мне прислать по следующей почте et mon père... [3]

— Ах, я очень рад, — сказал я, тогда как, напротив, мне было больно и досадно, особенно потому, что накануне, проигравшись в карты, у меня у самого оставалось только рублей пять с чем-то у Никиты. — Сейчас, — сказал я, вставая, — я пойду возьму в палатке.

— Нет, после, ne vous dérangez pas [4].

Однако, не слушая его, я пролез в застегнутую палатку, где стояла моя постель и спал капитан. — Алексей Иваныч, дайте мне, пожалуйста, десять рублей до рационов, — сказал я капитану, расталкивая его.

— Что, опять продулись? а еще вчера хотели не играть больше, — спросонков проговорил капитан.

— Нет, я не играл, а нужно, дайте, пожалуйста.

— Макатюк! — закричал капитан своему денщику, — достань шкатулку с деньгами и подай сюда.

---

[1] вы выше этого, дорогой мой, у меня нет ни гроша *(франц.)*.
[2] можете вы одолжить мне десять рублей серебром? *(франц.)*
[3] и мой отец... *(франц.)*
[4] не беспокойтесь *(франц.)*.

— Тише, тише, — заговорил я, слушая за палаткой мерные шаги Гуськова.

— Что? отчего тише?

— Это этот разжалованный просил у меня взаймы. Он тут!

— Вот знал бы, так не дал, — заметил капитан, — я про него слыхал — первый пакостник мальчишка! — Однако капитан дал-таки мне деньги, велел спрятать шкатулку, хорошенько запахнуть палатку и, снова повторив: — Вот коли бы знал на что, так не дал бы, — завернулся с головой под одеяло. — Теперь за вами тридцать два, помните, — прокричал он мне.

Когда я вышел из палатки, Гуськов ходил около диванчиков, и маленькая фигура его с кривыми ногами и в уродливой папахе с длинными белыми волосами выказывалась и скрывалась во мраке, когда он проходил мимо свечки. Он сделал вид, как будто не замечает меня. Я передал ему деньги. Он сказал merci и, скомкав, положил бумажку в карман панталон.

— Теперь у Павла Дмитриевича, я думаю, игра во всем разгаре, — вслед за этим начал он.

— Да, я думаю.

— Он странно играет, всегда аребур и не отгибается: когда везет, это хорошо, но зато, когда уже не пойдет, можно ужасно проиграться. Он и доказал это. В этот отряд, ежели считать с вещами, он больше полуторы тысячи проиграл. А как играл воздержно прежде, так что этот ваш офицер как будто сомневался в его честности.

— Да это он так... Никита, не осталось ли у нас чихиря? — сказал я, очень облегченный разговорчивостью Гуськова. Никита поворчал еще, но принес нам чихиря и снова с злобой посмотрел, как Гуськов выпил свой стакан. В обращении Гуськова заметна стала прежняя развязность. Мне хотелось, чтобы он ушел поскорее, и казалось, что он этого не делает только потому, что ему совестно было уйти тотчас после того, как он получил деньги. Я молчал.

— Как это вы с средствами, без всякой надобности, решились de gaieté de coeur[1] идти служить на Кавказ? вот чего я не понимаю, — сказал он мне.

Я постарался оправдаться в таком странном для него поступке.

---

[1] с легким сердцем *(франц.)*.

— Я воображаю, и для вас как тяжело общество этих офицеров, людей без понятия об образовании. Вы не можете с ними понимать друг друга. Ведь, кроме карт, вина и разговоров о наградах и походах, вы десять лет проживете, ничего не увидите и не услышите.

Мне было неприятно, что он хотел, чтобы я непременно разделял его положение, и совершенно искренно уверял его, что я очень любил и карты, и вино, и разговоры о походах и что лучше тех товарищей, которые у меня были, я не желал иметь. Но он не хотел верить мне.

— Ну, вы это так говорите, — продолжал он, — а отсутствие женщин, то есть я разумею femmes comme il faut [1], разве это не ужасное лишение? Я не знаю, что бы я дал теперь, чтоб только на минутку перенестись в гостиную и хоть сквозь щелочку посмотреть на милую женщину.

Он помолчал немного и выпил еще стакан чихиря.

— Ах, боже мой, боже мой! Может, случится еще нам когда-нибудь встретиться в Петербурге, у людей, быть и жить с людьми, с женщинами. — Он вылил последнее вино, оставшееся в бутылке, и, выпив его, сказал: — Ах, pardon, может быть, вы хотели еще, я ужасно рассеян. Однако я, кажется, слишком много выпил, et je n'ai pas la tête forte [2]. Было время, когда я жил на Морской au rez de chaussée [3], у меня была чудная квартирка, мебель, знаете, я умел это устроить изящно, хотя не слишком дорого, правда: mon père дал мне фарфоры, цветы, серебра чудесного. Le matin je sortais [4], визиты, à cinq heures régulièrement [5] я ехал обедать к ней, часто она была одна. Il faut avouer que c'était une femme ravissante! [6] Вы ее не знали? нисколько?

— Нет.

— Знаете, эта женственность была у нее в высшей степени, нежность, и потом что за любовь! Господи! я не умел ценить тогда этого счастия. Или после театра мы возвращались вдвоем и ужинали. Никогда с ней скучно не было, toujours gaie, toujours aimante [7]. Да, я не предчув-

---

[1] порядочных женщин *(франц.)*.
[2] и у меня слабая голова *(франц.)*.
[3] в нижнем этаже *(франц.)*.
[4] Утром я выезжал *(франц.)*.
[5] ровно в пять часов *(франц.)*.
[6] Надо признаться, что это была очаровательная женщина! *(франц.)*
[7] всегда веселая, всегда любящая *(франц.)*.

ствовал, какое это было редкое счастье. Et j'ai beaucoup à me reprocher перед нею. Je l'ai fait souffrir et souvent[1]. Я был жесток. Ах, какое чудное было время! Вам скучно?

— Нет, нисколько.

— Так я вам расскажу наши вечера. Бывало, я вхожу — эта лестница, каждый горшок цветов я знал — ручка двери, все это так мило, знакомо, потом передняя, ее комната... Нет, уже это никогда, никогда не возвратится! Она и теперь пишет мне, я вам, пожалуй, покажу ее письма. Но я уж не тот, я погиб, я уже не стою ее... Да, я окончательно погиб! Je suis cassé[2]. Нет во мне ни энергии, ни гордости, ничего. Даже благородства нет... Да, я погиб! И никто никогда не поймет моих страданий. Всем все равно. Я пропащий человек! никогда уж мне не подняться, потому что я морально упал... в грязь... упал... — В эту минуту в его словах слышно было искреннее, глубокое отчаяние; он не смотрел на меня и сидел неподвижно.

— Зачем так отчаиваться? — сказал я.

— Оттого, что я мерзок, эта жизнь уничтожила меня, все, что во мне было, все убито, Я терплю уж не с гордостью, а с подлостью, dignité dans le malheur[3] уже нет. Меня унижают ежеминутно, я все терплю, сам лезу на униженья. Эта грязь a déteint sur moi[4], я сам стал груб, я забыл, что знал, я по-французски уж не могу говорить, я чувствую, что я подл и низок. Драться я не могу в этой обстановке, решительно не могу, я бы, может быть, был герой: дайте мне полк, золотые эполеты, трубачей, а идти рядом с каким-то диким Антоном Бондаренко и так далее и думать, что между мной и им нет никакой разницы, что меня убьют или его убьют — все равно, эта мысль убивает меня. Вы понимаете ли, как ужасно думать, что какой-нибудь оборванец убьет меня, человека, который думает, чувствует, и что все равно бы было рядом со мной убить Антонова, существо, ничем не отличающееся от животного, и что легко может случиться, что убьют именно меня, а не Антонова, как всегда бывает une fatalité[5] для всего высокого и хорошего. Я знаю, что они зовут меня трусом; пускай я трус, я точно трус и не могу быть другим. Мало

---

[1] Я за многое упрекаю себя... Я ее заставлял страдать, и часто *(франц.)*.

[2] Я разбит *(франц.)*.

[3] достоинства в несчастье *(франц.)*.

[4] отпечаталась на мне *(франц.)*.

[5] рок *(франц.)*.

того, что я трус, я по-ихнему нищий и презренный человек. Вот я у вас сейчас выпросил денег, и вы имеете право презирать меня. Нет, возьмите назад ваши деньги, — и он протянул мне скомканную бумажку. — Я хочу, чтоб вы меня уважали. — Он закрыл лицо руками и заплакал; я решительно не знал, что говорить и делать.

— Успокойтесь, — говорил я ему, — вы слишком чувствительны, не принимайте все к сердцу, не анализируйте, смотрите на вещи проще. Вы сами говорите, что у вас есть характер. Возьмите на себя, вам недолго уже осталось терпеть, — говорил я ему, но очень нескладно, потому что был взволнован и чувством сострадания и чувством раскаяния в том, что я позволил себе мысленно осуждать человека, истинно и глубоко несчастливого.

— Да, — начал он, — ежели бы я слышал хоть раз с тех пор, как я в этом аду, хоть одно слово участия, совета, дружбы — человеческое слово, такое, какое я от вас слышу. Может быть, я бы мог спокойно переносить все; может, я даже взял бы на себя и мог быть даже солдатом, но теперь это ужасно... Когда я рассуждаю здраво, я желаю смерти, да и зачем мне любить опозоренную жизнь и себя, который погиб для всего хорошего в мире? А при малейшей опасности я вдруг невольно начинаю обожать эту подлую жизнь и беречь ее, как что-то драгоценное, и не могу, je ne puis pas[1] преодолеть себя. То есть я могу, — продолжал он опять после минутного молчания, — но мне это стоит слишком большого труда, громадного труда, коли я один. С другими, в обыкновенных условиях, как вы идете в дело, я храбр, j'ai fait mes preuves[2], потому что я самолюбив и горд: это мой порок, и при других... Знаете, позвольте мне ночевать у вас, а то у нас целую ночь игра будет, мне где-нибудь, на земле.

Пока Никита устраивал постель, мы встали и стали снова ходить в темноте по батарее. Действительно, у Гуськова голова была, должно быть, очень слаба, потому что с двух рюмок водки и двух стаканов вина он покачивался. Когда мы встали и отошли от свечки, я заметил, что он, стараясь, чтобы я не видал этого, сунул снова в карман десятирублевую бумажку, которую во все время предшествовавшего разговора держал в ладони. Он продолжал говорить, что он чувствует, что может еще подняться, ежели

---

[1] я не могу *(франц.)*.
[2] я доказал *(франц.)*.

бы был у него человек, как я, который бы принимал в нем участие.

Мы уже хотели идти в палатку ложиться спать, как вдруг над нами просвистело ядро и недалеко ударилось в землю. Так странно было, — этот тихий спящий лагерь, наш разговор, и вдруг ядро неприятельское, которое, бог знает откуда, влетело в середину наших палаток, — так странно, что я долго не мог дать себе отчета, что это такое. Наш солдатик Андреев, ходивший на часах по батарее, подвинулся ко мне.

— Вишь, подкрался! Вот тут огонь видать было, — сказал он.

— Надо капитана разбудить, — сказал я и взглянул на Гуськова.

Он стоял, пригнувшись совсем к земле, и заикался, желая выговорить что-то. «Это... а то... неприя... это пре... смешно». Больше он не сказал ничего, и я не видал, как и куда он исчез мгновенно.

В капитанской палатке зажглась свеча, послышался его всегдашний пробудный кашель, и он сам скоро вышел оттуда, требуя пальник, чтобы закурить свою маленькую трубочку.

— Что это, батюшка, — сказал он, улыбаясь, — не хотят мне нынче спать давать: то вы с своим разжалованным, то Шамиль; что же мы будем делать, отвечать или нет. Ничего не было об этом в приказании?

— Ничего. Вот он еще, — сказал я, — и из двух.

Действительно, во мраке, справа впереди, загорелось два огня, как два глаза, и скоро над нами пролетело одно ядро и одна, должно быть наша, пустая граната, производившая громкий и пронзительный свист. Из соседних палаток повылезали солдатики, слышно было их покрякиванье, и потягиванье, и говор.

— Вишь, в очко свистит, как соловей, — заметил артиллерист.

— Позовите Никиту, — сказал капитан с своей всегдашней доброй усмешкой. — Никита! ты не прячься, а горных соловьев послушай.

— Что ж, ваше высокоблагородие, — говорил Никита, стоя подле капитана, — я их видал соловьев-то, я не боюсь, а вот гость-то, что тут был, наш чихирь пил, как услышал, так живо стречка дал мимо нашей палатки, шаром прокатился, как зверь какой изогнулся!

— Однако надо съездить к начальнику артиллерии, — сказал мне капитан серьезным начальническим тоном, — спросить, стрелять ли на огонь, или нет; оно толку не будет, но все-таки можно. Потрудитесь, съездите и спросите. Велите лошадь оседлать, скорей будет, хоть моего Полкана возьмите.

Через пять минут мне подали лошадь, и я отправился к начальнику артиллерии.

— Смотрите, отзыв «дышло», — шепнул мне пунктуальный капитан, — а то в цепи не пропустят.

До начальника артиллерии было с полверсты, вся дорога шла между палаток. Как только я отъехал от нашего костра, сделалось так черно, что я не видал даже ушей лошади, а только огни костров, казавшиеся мне то очень близко, то очень далеко, мерещились у меня в глазах. Отъехав немного по милости лошади, которой я пустил поводья, я стал различать белые четвероугольные палатки, потом и черные колеи дороги; через полчаса, спросив раза три дорогу, раза два зацепив за колышки палаток, за что получал всякий раз ругательства из палаток, и раза два остановленный часовым, я приехал к начальнику артиллерии. Покуда я ехал, я слышал еще два выстрела по нашему лагерю, но снаряды не долетали до того места, где стоял штаб. Начальник артиллерии не приказал отвечать на выстрелы, тем более что неприятель приостановился, и я отправился домой, взяв лошадь в повод и пробираясь пешком между пехотными палатками. Не раз я уменьшал шаг, проходя мимо солдатской палатки, в которой светился огонь, и прислушивался или к сказке, которую рассказывал балагур, или к книжке, которую читал грамотей и слушало целое отделение, битком набившись в палатке и около нее, прерывая чтеца изредка разными замечаниями, или просто к толкам о походе, о родине, о начальниках.

Проходя около одной из палаток третьего батальона, я услыхал громкий голос Гуськова, который говорил очень весело и бойко. Ему отвечали молодые, тоже веселые, господские, не солдатские голоса. Это, очевидно, была юнкерская или фельдфебельская палатка. Я остановился.

— Я его давно знаю, — говорил Гуськов, — когда я жил в Петербурге, он ко мне ходил часто, и я бывал у него, он очень в хорошем свете жил.

— Про кого ты говоришь? — спросил пьяный голос.

— Про князя, — сказал Гуськов. — Мы ведь родня с ним, а главное — старые приятели. Оно, знаете, господа, хорошо этакого знакомого иметь. Он ведь богат страшно. Ему сто целковых пустяки. Вот я взял у него немного денег, пока мне сестра пришлет.

— Ну, посылай же.

— Сейчас. Савельич, голубчик! — заговорил голос Гуськова, подвигаясь к дверям палатки, — вот тебе десять монетов, поди к маркитанту, возьми две бутылки кахетинского и еще чего? Господа? Говорите! — И Гуськов, шатаясь, с спутанными волосами, без шапки, вышел из палатки. Отворотив полы полушубка и засунув руки в карманы своих сереньких панталон, он остановился в двери. Хотя он был в свету, а я в темноте, я дрожал от страха, чтобы он не увидал меня, и, стараясь не делать шума, пошел дальше.

— Кто тут? — закричал на меня Гуськов совершенно пьяным голосом. Видно, на холоде разобрало его. — Какой тут черт с лошадью шляется?

Я не отвечал и молча выбрался на дорогу.

15 ноября 1856 г.

УТРО ПОМЕЩИКА

I

Князю Нехлюдову было девятнадцать лет, когда он из 3-го курса университета приехал на летние ваканции в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он неустановившейся ребяческой рукой написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее переведенное здесь французское письмо:

«Милая тетушка.

Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтоб посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод; может быть, точно я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его.

Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если б вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут с своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтоб объяснить мое намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастии этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих изза планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть

хорошим хозяином; а для того чтоб быть им, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которые вы так желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов, привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведет меня к счастию. Я много и много передумал о своей будущей обязанности, написал себе правила действий, и, если только бог даст мне жизни и сил, я успею в своем предприятии.

Не показывайте письма этого брату Васе: я боюсь его насмешек; он привык первенствовать надо мной, а я привык подчиняться ему. Ваня если и не одобрит мое намерение, то поймет его».

Графиня отвечала ему следующим письмом, тоже переведенным здесь с французского:

«Твое письмо, милый Дмитрий, ничего мне не доказало, кроме того, что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда и не сомневалась. Но, милый друг, наши добрые качества больше вредят нам в жизни, чем дурные. Не стану говорить тебе, что ты делаешь глупость, что поведение твое огорчает меня, но постараюсь подействовать на тебя одним убеждением. Будем рассуждать, мой друг. Ты говоришь, что чувствуешь призвание к деревенской жизни, что хочешь сделать счастие своих крестьян и что надеешься быть добрым хозяином. 1) Я должна сказать тебе, что мы чувствуем свое призвание только тогда, когда уж раз ошибемся в нем; 2) что легче сделать собственное счастие, чем счастие других, и 3) что для того, чтоб быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком, чем ты едва ли когда-нибудь будешь, хотя и стараешься притворяться таким.

Ты считаешь свои рассуждения непреложными и даже принимаешь их за правила в жизни; но в мои лета, мой друг, не верят в рассуждения и в правила, а верят только в опыт; а опыт говорит мне, что твои планы — ребячество. Мне уже под пятьдесят лет, и я много знавала достойных людей, но никогда не слыхивала, чтоб молодой человек с именем и способностями, под предлогом делать добро, зарылся в деревне. Ты всегда хотел казаться оригиналом, а твоя оригинальность не что иное, как излишнее самолюбие. И, мой друг! выбирай лучше торные дорожки: они ближе ведут к успеху, а успех, если уж не нужен для тебя как успех, то необходим для того, чтоб иметь возможность делать добро, которое ты любишь.

Нищета нескольких крестьян — зло необходимое, или такое зло, которому можно помочь, не забывая всех своих обязанностей к обществу, к своим родным и к самому себе. С твоим умом, с твоим сердцем и любовью к добродетели нет карьеры, в которой бы ты не имел успеха; но выбирай по крайней мере такую, которая бы тебя стоила и сделала бы тебе честь.

Я верю в твою искренность, когда ты говоришь, что у тебя нет честолюбия; но ты сам обманываешь себя. Честолюбие — добродетель в твои лета и с твоими средствами; но она делается недостатком и пошлостью, когда человек уже не в состоянии удовлетворить этой страсти. И ты испытаешь это, если не изменишь своему намерению. Прощай, милый Митя. Мне кажется, что я тебя люблю еще больше за твой нелепый, но благородный и великодушный план. Делай, как знаешь, но, признаюсь, не могу согласиться с тобой».

Молодой человек, получив это письмо, долго думал над ним и наконец, решив, что и гениальная женщина может ошибаться, подал прошение об увольнении из университета и навсегда остался в деревне.

II

У молодого помещика, как он писал своей тетке, были составлены правила действий по своему хозяйству, и вся жизнь и занятия его были распределены по часам, дням, и месяцам. Воскресенье было назначено для приема просителей, дворовых и мужиков, для обхода хозяйства бедных крестьян и для подания им помощи с согласия мира, который собирался вечером каждое воскресенье и должен был решать, кому и какую помощь нужно было оказывать. В таких занятиях прошло более года, и молодой человек был уже не совсем новичок ни в практическом, ни в теоретическом знании хозяйства.

Было ясное июньское воскресенье, когда Нехлюдов, напившись кофею и пробежав главу «Maison rustique» [1], с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто, вышел из большого с колоннадами и террасами деревенского дома, в котором занимал внизу одну маленькую комнатку, и по нечищеным, заросшим до-

[1] «Ферма» *(франц.)*.

рожкам старого английского сада направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Нехлюдов был высокий, стройный молодой человек с большими, густыми, вьющимися темно-русыми волосами, с светлым блеском в черных глазах, свежими щеками и румяными губами, над которыми только показывался первый пушок юности. Во всех движеньях его и походке заметны были сила, энергия и добродушное самодовольство молодости. Крестьянский народ пестрыми толпами возвращался из церкви; старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами, в праздничных одеждах, расходились по своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу, Нехлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней, исписанной детским почерком странице прочел несколько крестьянских имен с отметками. «Иван Чурисенок — просил сошек»,— прочел он и, войдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа.

Жилище Чурисенка составляли: полусгнивший, подопрелый с углов сруб, погнувшийся набок и вросший в землю так, что над самой навозной завалиной виднелись одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем, и другое, волчье, заткнутое хлопком. Рубленые сени, с грязным порогом и низкой дверью, другой маленький срубец, еще древнее и еще ниже сеней, ворота и плетеная клеть лепились около главной избы. Все это было когда-то покрыто под одну неровную крышу; теперь же только на застрехе густо нависла черная, гниющая солома; наверху же местами видны были решетник и стропила. Перед двором был колодезь с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса и с грязной, истоптанной скотиною лужей, в которой полоскались утки. Около колодца стояли две старые, треснувшие и надломленные ракиты с редкими бледно-зелеными ветвями. Под одной из этих ракит, свидетельствовавших о том, что кто-то и когда-то заботился об украшении этого места, сидела восьмилетняя белокурая девочка и заставляла ползать вокруг себя другую, двухлетнюю девчонку. Дворной щенок, вилявший около них, увидав барина, опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным, дребезжащим лаем.

— Дома ли Иван? — спросил Нехлюдов.

Старшая девочка как будто остолбенела при этом вопросе и начала все более и более открывать глаза, ничего не отвечая; меньшая же открыла рот и собиралась плакать. Небольшая старушонка, в изорванной клетчатой

поневе, низко подпоясанной стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за двери и тоже ничего не отвечала. Нехлюдов подошел к сеням и повторил вопрос.

— Дома, кормилец, — проговорила дребезжащим голосом старушонка, низко кланяясь и вся приходя в какое-то испуганное волнение.

Когда Нехлюдов, поздоровавшись с ней, прошел через сени на тесный двор, старуха подперлась ладонью, подошла к двери и, не спуская глаз с барина, тихо стала покачивать головой. На дворе бедно; кое-где лежал старый, невоженый, почерневший навоз; на навозе беспорядочно валялись прелая колода, вилы и две бороны. Навесы вокруг двора, под которыми с одной стороны стояли соха, телега без колеса и лежала куча сваленных друг на друга пустых, негодных пчелиных колодок, были почти все раскрыты, и одна сторона их обрушилась, так что спереди перемёты лежали уже не на сохах, а на навозе. Чурисенок топором и обухом выламывал плетень, который придавила крыша. Иван Чурис был мужик лет пятидесяти, ниже обыкновенного роста. Черты его загорелого продолговатого лица, окруженного темно-русой с проседью бородою и такими же густыми волосами, были красивы и выразительны. Его темно-голубые полузакрытые глаза глядели умно и добродушно-беззаботно. Небольшой правильный рот, резко обозначавшийся из-под русых редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилам на шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому, дугообразному положению ног видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Одежда его состояла из белых посконных порток, с синими заплатками на коленях, и такой же грязной, расползавшейся на спине и руках рубахи. Рубаха низко подпоясывалась тесемкой с висевшим на ней медным ключиком.

— Бог помощь! — сказал барин, входя на двор.

Чурисенок оглянулся и снова принялся за свое дело. Сделав энергическое усилие, он выпростал плетень из-под навеса и тогда только воткнул топор в колоду и, оправляя поясок, вышел на средину двора.

— С праздником, ваше сиятельство! — сказал он, низко кланяясь и встряхивая волосами.

— Спасибо, любезный. Вот пришел твое хозяйство проведать, — с детским дружелюбием и застенчивостью

сказал Нехлюдов, оглядывая одежду мужика.— Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке.

— Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка ваше сиятельство. Хоть мало-мальски подпереть хотелось, сами изволите видеть; вот анадысь угол завалился; еще помиловал бог, что скотины в ту пору не было. Все-то еле-еле висит, — говорил Чурис, презрительно осматривая свои раскрытые кривые и обрушенные сараи. — Теперь и стропила, и откосы, и перемёты только тронь — глядишь, дерева дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? сами изволите знать.

— Так на что ж тебе пять сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропила, перемёты, столбы, — все новое нужно,— сказал барин, видимо щеголяя своим знанием дела.

Чурисенок молчал.

— Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек; так и говорить надо было.

— Вестимо нужно, да взять-то негде: не все же на барский двор ходить! Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет, насчет дубовых макушек, что на господском гумне так, без дела лежат,— сказал он, кланяясь и переминаясь с ноги на ногу,— так, може, я которые подменю, которые поурежу и из старого как-нибудь сооружую.

— Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старо и гнило; нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий; так уж ежели делать, так делать все заново, чтоб недаром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет?

— А кто е знает!

— Нет, ты как думаешь? завалится он — или нет?

Чурис на минуту задумался.

— Должон весь завалиться, — сказал он вдруг.

— Ну, вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе...

— Много довольны вашей милостью, — недоверчиво и не глядя на барина отвечал Чурисенок. — Мне хоть бы бревна четыре да сошек пожаловали, так я, может, сам управлюсь, а который негодный лес выберется, так в избу на подпорки пойдет.

— А разве у тебя и изба плоха?

— Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь, — равнодушно сказал Чурис. — Намедни и то накатина с потолка мою бабу убила!

— Как убила?

— Да так, убила, ваше сиятельство: по спине как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала.

— Что ж, прошло?

— Прошло-то прошло, да все хворает. Она точно и отроду хворая.

— Что ты, больна? — спросил Нехлюдов у бабы, продолжавшей стоять в дверях и тотчас же начавшей охать, как только муж стал говорить про нее.

— Все вот тут не пущает меня, да и шабаш, — отвечала она, указывая на свою грязную тощую грудь.

— Опять! — с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами, — отчего же ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повещали?

— Повещали, кормилец, да недосуг все: и на барщину, и дома, и ребятишки — все одна! Дело наше одинокое...

III

Нехлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образо́в и лавки. В середине этой черной, смрадной шестиаршинной избенки, в потолке, была большая щель, и, несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением.

— Да, изба очень плоха, — сказал барин, всматриваясь в лицо Чурисенка, который, казалось, не хотел начинать говорить об этом предмете.

— Задавит нас, и ребятишек задавит, — начала слезливым голосом приговаривать баба, прислонившись к печи под полатями.

— Ты не говори! — строго сказал Чурис и с тонкой, чуть заметной улыбкой, обозначившейся под его пошевелившимися усами, обратился к барину: — И ума не приложу, что с ней делать, ваше сиятельство, с избой-то; и подпорки и подкладки клал — ничего нельзя исделать!

— Как тут зиму зимовать? Ох-ох-о! — сказала баба.

— Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатник настлать, — перебил ее муж с спокойным, деловым выраженьем,— да кой-где перемёты переменить, так, может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно, только избу всю подпорками загородишь — вот что; а тронь ее, так щепки живой не будет; только поколи стоит, держится, — заключил он, видимо, весьма довольный тем, что он сообразил это обстоятельство.

Нехлюдову было досадно и больно, что Чурис довел себя до такого положения и не обратился прежде к нему, тогда как он с самого своего приезда ни разу не отказывал мужикам и только того добивался, чтоб все прямо приходили к нему за своими нуждами. Он почувствовал даже некоторую злобу на мужика, сердито пожал плечами и нахмурился; но вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса превратили его досаду в какое-то грустное, безнадежное чувство.

— Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне? — с упреком заметил он, садясь на грязную, кривую лавку.

— Не посмел, ваше сиятельство, — отвечал Чурис с той же чуть заметной улыбкой, переминаясь своими черными босыми ногами по неровному земляному полу; но он сказал это так смело и спокойно, что трудно было верить, чтоб он не посмел прийти к барину.

— Наше дело мужицкое: как мы смеем!.. — начала было, всхлипывая, баба.

— Ну, гуторь, — снова обратился к ней Чурис.

— В этой избе тебе жить нельзя; это вздор! — сказал Нехлюдов, помолчав несколько времени. — А вот что мы сделаем, братец...

— Слушаю-с, — отозвался Чурис.

— Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе, что с пустыми стенами?

— Как не видать-с, — отвечал Чурис, открывая улыбкой свои еще целые, белые зубы, — еще немало дивились, ка́к клали-то их, — мудреные избы! Ребята смеялись, что не магазеи ли будут, от крыс в стены засыпать. Избы важные! — заключил он, с выраженьем насмешливого недоумения, покачав головой, — остроги словно.

— Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны, — возразил барин, нахмурив свое молодое лицо, видимо недовольный насмешкой мужика.

— Неспорно, ваше сиятельство, избы важные.

— Ну, так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная, с сенями, с клетью и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь, — сказал барин с самодовольной улыбкой, которую он не мог удержать при мысли о том, что делает благодеяние. — Ты свою старую сломаешь, — продолжал он, — она на амбар пойдет; двор тоже перенесем. Вода там славная, огороды вырежу из новины, земли твои во всех трех клинах тоже там, под боком, вырежу. Отлично заживешь! Что ж, разве это тебе не нравится? — спросил Нехлюдов, заметив, что как только он заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю.

— Воля вашего сиятельства, — отвечал он, не поднимая глаз.

Старушка выдвинулась вперед, как будто задетая заживо, и готовилась сказать что-то, но муж предупредил ее.

— Воля вашего сиятельства,— повторил он решительно и вместе с тем покорно, взглядывая на барина и встряхивая волосами,— а на новом хуторе нам жить не приходится.

— Отчего?

— Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля ваша!

— Да отчего ж?

— Из последнего разоримся, ваше сиятельство.

— Отчего ж там жить нельзя?

— Какая же там жизнь? Ты посуди: место нежилое, вода неизвестная, выгона нетути. Конопляники у нас здесь искони навозные, а там что? Да и что там? голь! Ни плетней, ни овинов, ни сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погонишь, вконец разоримся! Место новое, неизвестное... — повторил он задумчиво, но решительно покачивая головой.

Нехлюдов стал было доказывать мужику, что переселение, напротив, очень выгодно для него, что плетни и сараи там построят, что вода там хорошая, и т. д., но тупое молчание Чуриса смущало его, и он почему-то чувствовал, что говорит не так, как бы следовало. Чурисенок не возражал ему; но когда барин замолчал, он, слегка улыбнувшись, заметил, что лучше бы всего было поселить на этом хуторе стариков дворовых и Алешу-дурачка, чтоб они там хлеб караулили.

— Вот бы важно-то было! — заметил он и снова усмехнулся. — Пустое это дело, ваше сиятельство!

— Да что ж, что место нежилое? — терпеливо настаивал Нехлюдов,— ведь и здесь когда-то место было нежилое, а вот живут же люди; и там, вот, ты только первый поселись с легкой руки... Ты непременно поселись...

— И, батюшка ваше сиятельство, как можно сличить! — с живостью отвечал Чурис, как будто испугавшись, чтоб барин не принял окончательного решения, — здесь на миру место, место веселое, обычное: и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить, и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы — вот, что мои родители садили; и дед и батюшка наши здесь богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправить — много довольны вашей милостью останемся; а нет, так и в старенькой своей век как-нибудь доживем. Заставь век бога молить,— продолжал он, низко кланяясь,— не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка!..

В то время как Чурис говорил, под полатями, в том месте, где стояла его жена, слышны были все усиливавшиеся и усиливавшиеся всхлипывания, и когда муж сказал «батюшка», жена его неожиданно выскочила вперед и, в слезах, ударилась в ноги барину.

— Не погуби, кормилец! Ты наш отец, ты наша мать! Куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие. Как бог, так и ты... — завопила она.

Нехлюдов вскочил с лавки и хотел поднять старуху, но она с каким-то сладострастьем отчаяния билась головой о земляной пол и отталкивала руку барина.

— Что ты! встань, пожалуйста! Коли не хотите, так не надо; я принуждать не стану, — говорил он, махая руками и отступая к двери.

Когда Нехлюдов сел опять на лавку и в избе водворилось молчание, прерываемое только хныканьем бабы, снова удалившейся под полати и утиравшей там слезы рукавом рубахи, молодой помещик понял, что значила для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка, обвалившийся колодезь с грязной лужей, гниющие хлевушки, сарайчики и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым оконцем,— и ему стало что-то тяжело, грустно и чего-то совестно.

— Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как

помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвятил свою жизнь для вас; что я готов сам лишить себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы, — и я перед богом клянусь, что сдержу свое слово, — говорил юный помещик, не зная того, что такого рода излияния не способны возбуждать доверия ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотнике до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных.

Но простодушный молодой человек был так счастлив тем чувством, которое испытывал, что не мог не излить его.

Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся.

— Но ведь я не могу всем давать все, что у меня просят. Если б я никому не отказывал, кто у меня просит леса, у меня самого скоро бы ничего не осталось, и я не мог бы дать тому, кто истинно нуждается. Затем-то я и отделил заказ, определил его для исправления крестьянского строения и совсем отдал миру. Лес этот теперь уж не мой, а ваш, крестьянский, и уже я им не могу распоряжаться, а распоряжается мир, как знает. Ты приходи нынче на сходку; я миру поговорю о твоей просьбе; коли он присудит тебе избу дать, так и хорошо, а у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе помочь; но коли ты не хочешь переселиться, то дело уже не мое, а мирское. Ты понимаешь меня?

— Много довольны вашей милостью, — отвечал смущенный Чурис. — Коли на двор леску ублаготворите, так мы и так поправимся. — Что мир? Дело известное...

— Нет, ты приходи.

— Слушаю. Я приду. Отчего не прийти? Только уж я у мира просить не стану.

IV

Молодому помещику, видно, хотелось еще спросить что-то у хозяев; он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую, нетопленную печь.

— Что, вы уж обедали? — наконец спросил он.

Под усами Чуриса обозначилась насмешливая улыбка,

как будто ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы; он ничего не ответил.

— Какой обед, кормилец? — тяжело вздыхая, проговорила баба. — Хлебушка поснедали — вот и обед наш. За сныткой нынче ходить неколи было, так и щец сварить не из чего, а что квасу было, так ребятам дала.

— Нынче пост голодный, ваше сиятельство, — вмешался Чурис, поясняя слова бабы, — хлеб да лук — вот и пища наша мужицкая. Еще слава ти господи, хлебушка-то у меня, по милости вашей, по сю пору хватило, а то сплошь у наших мужиков и хлеба-то нет. Луку ныне везде незарод. У Михайла-огородника, анадысь посылали, за пучок по грошу берут, а покупать нашему брату неоткуда. С пасхи почитай что и в церкву божью не ходим, и свечку Миколе купить не на что.

Нехлюдов уж давно знал, не по слухам, не на веру к словам других, а на деле, всю ту крайнюю степень бедности, в которой находились его крестьяне; но вся действительность эта была так несообразна со всем воспитанием его, складом ума и образом жизни, что он против воли забывал истину, и всякий раз, когда ему, как теперь, живо, осязательно напоминали ее, у него на сердце становилось невыносимо тяжело и грустно, как будто воспоминание о каком-то свершенном, неискупленном преступлении мучило его.

— Отчего вы так бедны? — сказал он, невольно высказывая свою мысль.

— Да каким же нам и быть, батюшка ваше сиятельство, как не бедным? Земля наша какая — вы сами изволите знать: глина, бугры, да и то, видно, прогневили мы бога, вот уж с холеры, почитай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало: которые позаказали в экономию, которые тоже в барские поля попридрали. Дело мое одинокое, старое... где и рад бы похлопотал — сил моих нету. Старуха моя больная, что ни год, то девчонок рожает: ведь всех кормить надо. Вот один маюсь, а семь душ дома. Грешен господу богу, часто думаю себе: хоть бы прибрал которых бог поскорее, — и мне бы легче было, да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать...

— О-ох! — громко вздохнула баба, как бы в подтверждение слов мужа.

— Вот моя подмога вся тут, — продолжал Чурис, указывая на белоголового шершавого мальчика лет семи, с огромным животом, который в это время робко, тихо скрип-

нув дверью, вошел в избу и, уставив исподлобья удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаху Чуриса. — Вот и подсобка моя вся тут, — продолжал звучным голосом Чурис, проводя своей шершавой рукой по белым волосам ребенка, — когда его дождешься? а мне уж работа невмочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. В ненастье хоть криком кричи, а ведь уж мне давно с тягла, в старики пора. Вон Ермилов, Демкин, Зябрев — все моложе меня, а уж давно земли посложили. Ну, мне сложить не на кого, — вот беда моя. Кормиться надо: вот и бьюсь, ваше сиятельство.

— Я бы рад тебя облегчить, точно. Как же быть? — сказал молодой барин, с участием глядя на крестьянина.

— Да как облегчить? Известное дело, коли землей владать, то и барщину править надо,— уж порядки известные. Как-нибудь малого дождусь. Только будет милость ваша насчет училища его увольте: а то намедни земский приходил, тоже, говорит, и его ваше сиятельство требует в училищу. Уж его-то увольте: ведь какой у него разум, ваше сиятельство? Он еще млад, ничего не смыслит.

— Нет, уж это, брат, как хочешь, — сказал барин, — мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет, да будет грамоте знать и читать будет уметь, и в церкви читать — ведь все у тебя дома с божьей помощью лучше пойдет, — говорил Нехлюдов, стараясь выражаться как можно понятнее и вместе с тем почему-то краснея и заминаясь.

— Неспорно, ваше сиятельство, — вы нам худа не желаете, да дома-то побыть некому: мы с бабой на барщине — ну, а он, хоть и маленек, а все подсобляет, и скотину загнать и лошадей напоить. Какой ни есть, а все мужик, — и Чурисенок с улыбкой взял своими толстыми пальцами за нос мальчика и высморкал его.

— Все-таки ты присылай его, когда сам дома и когда ему время, — слышишь? непременно.

Чурисенок тяжело вздохнул и ничего не ответил.

V

— Да я еще хотел сказать тебе, — сказал Нехлюдов, — отчего у тебя навоз не вывезен?

— Какой у меня навоз, батюшка ваше сиятельство!

И возить-то нечего. Скотина моя какая? кобыленка одна да жеребенок, а телушку осенью из телят дворнику отдал — вот и скотина моя вся.

— Так как же у тебя скотины мало, а ты еще телку из телят отдал? — с удивлением спросил барин.

— А чем кормить станешь?

— Разве у тебя соломы-то недостанет, чтоб корову прокормить? У других достает же.

— У других земли навозные, а моя земля — глина одна, ничего не сделаешь.

— Так вот и навозь ее, чтоб не было глины; а земля хлеб родит, и будет чем скотину кормить.

— Да и скотины-то нету, так какой навоз будет?

«Это странный cercle vicieux» [1], — подумал Нехлюдов, но решительно не мог придумать, что посоветовать мужику.

— Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит, а все бог, — продолжал Чурис. — Вот у меня летось на пресном осьминнике шесть копен стало, а с навозкой и крестца не собрали. Никто как бог! — прибавил он со вздохом. — Да и скотина ко двору нейдет к нашему. Вот шестой год не живет. Летось одна телка издохла, другую продал: кормиться нечем было; а в запрошлый год важная корова пала; пригнали из стада, ничего не было, вдруг зашаталась, зашаталась, и пар вон. Все мое несчастье!

— Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет оттого, что корму нет, а корму нет оттого, что скотины нет, вот тебе на корову, — сказал Нехлюдов, краснея и доставая из кармана шаровар скомканную пачку ассигнаций и разбирая ее, — купи себе на мое счастье корову, а корм бери с гумна, — я прикажу. Смотри же, чтоб к будущему воскресенью у тебя была корова: я зайду.

Чурис так долго, с улыбкой переминаясь, не подвигал руку за деньгами, что Нехлюдов положил их на конец стола и покраснел еще больше.

— Много довольны вашей милостью, — сказал Чурис с своей обыкновенной, немного насмешливой улыбкой.

Старуха несколько раз тяжело вздохнула под полатями и как будто читала молитву.

Молодому барину стало неловко; он торопливо встал с лавки, вышел в сени и позвал за собой Чуриса. Вид че-

---

[1] порочный круг *(франц.)*.

ловека, которому он сделал добро, был так приятен, что ему не хотелось скоро расстаться с ним.

— Я рад тебе помогать, — сказал он, останавливаясь у колодца, — тебе помогать можно, потому что, я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться — и я буду помогать; с божиею помощью и поправишься.

— Уж не то, что поправиться, а только бы не совсем разориться, ваше сиятельство, — сказал Чурис, принимая вдруг серьезное, даже строгое выражение лица, как будто весьма недовольный предположением барина, что он может поправиться. — Жили при бачке с братьями, ни в чем нужды не видали; а вот как помёр он да как разошлись, так все хуже да хуже пошло. Все одиночество!

— Зачем же вы разошлись?

— Все из-за баб вышло, ваше сиятельство. Тогда уже дедушки вашего не было, а то при нем бы не посмели: тогда настоящие порядки были. Он, так же как и вы, до всего сам доходил, — и думать бы не смели расходиться. Не любил покойник мужикам повадку давать; а нами после вашего дедушки заведовал Андрей Ильич — не тем будь помянут — человек был пьяный, необстоятельный. Пришли к нему проситься раз, другой — нет, мол, житья от баб, позволь разойтись; ну, подрал, подрал, а наконец, тому дело вышло, все-таки поставили бабы на своем, врозь стали жить; а уж одинокий мужик известно какой! Ну да и порядков-то никаких не было: орудовал нами Андрей Ильич как хотел. «Чтоб было у тебя все», — а из чего мужику взять, того не спрашивал. Тут подушные прибавили, столовый запас тоже сбирать больше стали, а земель меньше стало, и хлеб рожать перестал. Ну, а как межовка пришла, да как он у нас наши навозные земли в господский клин отрезал, злодей, и порешил нас совсем, хоть помирай! Батюшка ваш — царство небесное — барин добрый был, да мы его и не видали, почитай: все в Москве жил; ну, известно, и подводы туда чаще гонять стали. Другой раз распутица, кормов нет, а вези. Нельзя ж и барину без того. Мы этим обижаться не смеем; да порядков не было. Как теперь ваша милость до своего лица всякого мужичка допускаете, так и мы другие стали, и приказчик-то другой человек стал. Мы теперь знаем хоша, что у нас барин есть. И уж и сказать нельзя, как мужички твоей милости благодарны. А то в опеку настоящего барина не было: всякий барин был: и опекун барин, и Ильич

барин, и жена его барыня, и писарь из стану тот же барин. Тут-то много — ух! много горя приняли мужички!

Опять Нехлюдов испытал чувство, похожее на стыд или угрызение совести. Он приподнял шляпу и пошел дальше.

VI

«Юхванка Мудреный хочет лошадь продать», — прочел Нехлюдов в записной книжечке и перешел чрез улицу, ко двору Юхванки Мудреного. Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой с барского гумна и срублена из свежего светло-серого осинового леса (тоже из барского заказа), с двумя выкрашенными красными ставнями у окон и крылечком с навесом и с затейливыми, вырезанными из тесин перильцами. Сенцы и холодная изба были тоже исправные; но общий вид довольства и достатка, который имела эта связь, нарушался несколько пригороженной к воротищам клетью с недоплетенным забором и раскрытым навесом, видневшимся из-за нее. В то самое время, как Нехлюдов подходил с одной стороны к крыльцу, с другой подходили две крестьянские женщины с полным ушатом. Одна из них была жена, другая мать Юхванки Мудреного. Первая была плотная, румяная баба, с необыкновенно развитой грудью и широкими, мясистыми скулами. На ней была чистая, шитая на рукавах и воротнике рубаха, такая же занавеска, новая понева, коты, бусы и вышитая красной бумагой и блестками четвероугольная щегольская кичка.

Конец водоноса не покачивался, а плотно лежал на ее широком и твердом плече. Легкое напряжение, заметное в красном лице ее, в изгибе спины и мерном движении рук и ног, выказывали в ней необыкновенное здоровье и мужскую силу. Юхванкина мать, несшая другой конец водоноса, была, напротив, одна из тех старух, которые кажутся дошедшими до последнего предела старости и разрушения в живом человеке. Костлявый остов ее, на котором надета была черная изорванная рубаха и бесцветная понева, был согнут так, что водонос лежал больше на спине, чем на плече ее. Обе руки ее, с искривленными пальцами, которыми она, как будто ухватившись, держалась за водонос, были какого-то темно-бурого цвета и, казалось, не могли уж разгибаться; понурая голова, обвязанная каким-то тряпьем, носила на себе самые уродливые

следы нищеты и глубокой старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красные глаза, лишенные ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней впалой губы и, беспрестанно шевелясь, сходился иногда с острым подбородком. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на какие-то мешки, качавшиеся при каждом движении. Она тяжело и хрипло дышала; но босые искривленные ноги, хотя, казалось, чрез силу волочась по земле, мерно двигались одна за другою.

VII

Почти столкнувшись с барином, молодая баба бойко составила ушат, потупилась, поклонилась, потом блестящими глазами исподлобья взглянула на барина и, стараясь рукавом вышитой рубашки скрыть легкую улыбку, постукивая котами, взбежала на сходцы.

— Ты, матушка, водонос-то тетке Настасье отнеси, — сказала она, останавливаясь в двери и обращаясь к старухе.

Скромный молодой помещик строго, но внимательно посмотрел на румяную бабу, нахмурился и обратился к старухе, которая, выпростав корявыми пальцами водонос, взвалила его на плечи и покорно направилась было к соседней избе.

— Дома сын твой? — спросил барин.

Старуха, согнув еще более свой согнутый стан, поклонилась и хотела сказать что-то, но, приложив руки ко рту, так закашлялась, что Нехлюдов, не дождавшись, вошел в избу. Юхванка, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него, поспешно сунул на полати какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами, прижался около стены, как будто давая дорогу барину. Юхванка был русый парень лет тридцати, худощавый, стройный, с молодой остренькой бородкой, довольно красивый, если б не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под сморщенных бровей, и не недостаток двух передних зубов, который тотчас бросался в глаза, потому что губы его были коротки и беспрестанно шевелились. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами. Внутренность избы Юхванки

не была так тесна и мрачна, как внутренность избы Чуриса, хотя в ней так же было душно, пахло дымом и тулупом и так же беспорядочно было раскинуто мужицкое платье и утварь. Две вещи здесь как-то странно останавливали внимание: небольшой погнутый самовар, стоявший на полке, и черная рамка с остатком грязного стекла и портретом какого-то генерала в красном мундире, висевшая около икон. Нехлюдов, недружелюбно посмотрев на самовар, на портрет генерала и на полати, на которых торчал из-под какой-то ветошки конец трубки в медной оправе, обратился к мужику.

— Здравствуй, Епифан, — сказал он, глядя ему в глаза.

Епифан поклонился, пробормотал: «Здравия желаем, васясо», — особенно нежно выговаривая последнее слово, и глаза его мгновенно обежали всю фигуру барина, избу, пол и потолок, не останавливаясь ни на чем; потом он торопливо подошел к полатям, стащил оттуда зипун и стал надевать его.

— Зачем ты одеваешься? — сказал Нехлюдов, садясь на лавку и, видимо, стараясь как можно строже смотреть на Епифана.

— Как же, помилуйте, васясо, разве можно? Мы, кажется, можем понимать...

— Я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь, и много ли у тебя лошадей, и какую ты лошадь продать хочешь? — сухо сказал барин, видимо, повторяя приготовленные вопросы.

— Мы много довольны вашему сясу, что не побрезгали зайти ко мне, к мужику, — отвечал Юхванка, бросая быстрые взгляды на портрет генерала, на печку, на сапоги барина и на все предметы, исключая лица Нехлюдова, — мы всегда за вашего сяса богу молим...

— Зачем тебе лошадь продать? — повторил Нехлюдов, возвышая голос и прокашливаясь.

Юхванка вздохнул, встряхнул волосами (взгляд его опять обежал избу) и, заметив кошку, которая спокойно мурлыкала, лежа на лавке, крикнул на нее: «Брысь, подлая», — и торопливо оборотился к барину:

— Лошадь, которая, васясо, негодная... Коли бы животина добрая была, я бы продавать не стал, васясо.

— А сколько у тебя всех лошадей?

— Три лошади, васясо.

— А жеребят нет?

— Как можно-с, васясо! И жеребенок есть.

VIII

— Пойдем, покажи мне своих лошадей; они у тебя на дворе?

— Так точно-с, васясо; как мне приказано, так и сделано, васясо. Разве мы можем ослушаться вашего сяса? Мне приказал Яков Ильич, чтоб, мол, лошадей завтра в поле не пущать: князь смотреть будут; мы и не пущали. Уж мы не смеем ослушаться вашего сяса.

Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку с полатей и закинул ее за печку; губы его все так же беспокойно передергивались и в то время, как барин не смотрел на него.

Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую солому; двухмесячный длинноногий жеребенок какого-то неопределенного цвета, с голубоватыми ногами и мордой, не отходил от ее тощего, засоренного репьями хвоста. Посередине двора, зажмурившись и задумчиво опустив голову, стоял утробистый гнедой меренок, с виду хорошая мужицкая лошадка.

— Так тут все твои лошади?

— Никак нет-с, васясо; вот еще кобылка, да вот жеребеночек, — отвечал Юхванка, указывая на лошадей, которых барин не мог не видеть.

— Я вижу. Так какую же ты хочешь продать?

— А вот евту-с, васясо, — отвечал он, махая полой зипуна на задремавшего меренка и беспрестанно мигая и передергивая губами. Меренок открыл глаза и лениво повернулся к нему хвостом.

— Он не старый на вид и собой лошадка плотная, — сказал Нехлюдов. — Поймай-ка его да покажи мне зубы. Я узнаю, стара ли она.

— Никак не можно поймать-с одному, васясо. Вся скотина гроша не стоит, а норовистая — и зубом и передом, васясо, — отвечал Юхванка, улыбаясь очень весело и пуская глаза в разные стороны.

— Что за вздор! Поймай, тебе говорят.

Юхванка долго улыбался, переминался, и только тогда, когда Нехлюдов сердито крикнул: «Ну! что ж ты?» — бросился под навес, принес оброть и стал гоняться за лошадью, пугая ее и подходя сзади, а не спереди.

Молодому барину, видимо, надоело смотреть на это, да и хотелось, может быть, показать свою ловкость.

— Дай сюда оброть! — сказал он.

— Помилуйте! как можно васясу? не извольте...

Но Нехлюдов прямо с головы подошел к лошади и, вдруг ухватив ее за уши, пригнул к земле с такой силой, что меренок, который, как оказывалось, была очень смирная мужицкая лошадка, зашатался и захрипел, стараясь вырваться. Когда Нехлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на Юхванку, который не переставал улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши лошади и, без помощи оброти открыв ей рот, посмотрел в зубы: клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин, — стало быть, лошадь молодая.

Юхванка в это время отошел к навесу и, заметив, что борона лежала не на месте, поднял ее и, прислонив к плетню, поставил стоймя.

— Поди сюда! — крикнул барин с детски раздосадованным выражением в лице и чуть не с слезами досады и злобы в голосе. — Что, эта лошадь старая?

— Помилуйте, васясо, очень стара, годов двадцать будет... которая лошадь...

— Молчать! Ты лгун и негодяй, потому что честный мужик не станет лгать: ему незачем! — сказал Нехлюдов, задыхаясь от гневных слез, которые подступали ему к горлу. Он замолчал, чтоб не осрамиться, расплакавшись при мужике. Юхванка тоже молчал и с видом человека, который сейчас заплачет, посапывал носом и слегка подергивал головой. — Ну, на чем же ты выедешь пахать, когда продашь эту лошадь? — продолжал Нехлюдов, успокоившись достаточно, чтоб говорить обыкновенным голосом: — Тебя нарочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к пахоте, а ты последнюю хочешь продать? а главное, зачем ты лжешь?

Как только барин успокоился, и Юхванка успокоился. Он стоял прямо и, все так же передергивая губами, перебегал глазами от одного предмета к другому.

— Мы вашему сясу, — отвечал он, — не хуже других на работу выедем.

— Да на чем же ты выедешь?

— Уж будьте покойны, вашего сяса работу справим, — отвечал он, нукая на мерина и отгоняя его. — Коли бы не нужны деньги, то стал бы разве продавать?

— Зачем же тебе нужны деньги?

— Хлеба нетути ничего, васясо, да и долги отдать мужичкам надо-ти, васясо.

— Как хлеба нету? Отчего же у других, у семейных, еще есть, а у тебя, бессемейного, нету? Куда ж он девался?

— Ели, вашего сияса, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени куплю, васясо.

— Лошади продавать и думать не смей!

— Что ж, васясо, коли так, то какая же наша жизнь будет? и хлеба нету, и продать ничего не смей, — отвечал он совсем на сторону, передергивая губы и кидая вдруг дерзкий взгляд прямо на лицо барина: — Значит, с голоду помирать надо.

— Смотри, брат! — закричал Нехлюдов, бледнея и испытывая злобное чувство личности против мужика, — таких мужиков, как ты, я держать не стану. Тебе дурно будет.

— На то воля вашего сясо, — отвечал он, закрывая глаза с притворно-покорным выраженьем, — коли я вам не заслужил. А кажется, за мной никакого пороку не замечено. Известно, уж коли я вашему сиясу не полюбился, то все в воле вашей состоит; только не знаю, за что я страдать должен.

— А вот за что: за то, что у тебя двор раскрыт, навоз не запахан, плетни поломаны, а ты сидишь дома да трубку куришь, а не работаешь; за то, что ты своей матери, которая тебе все хозяйство отдала, куска хлеба не даешь, позволяешь ее своей жене бить и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила.

— Помилуйте, ваше сиясо, я и не знаю, какие эти трубки бывают, — смущенно отвечал Юхванка, которого, видно, преимущественно оскорбило обвинение в курении трубки. — Про человека все сказать можно.

— Вот ты опять лжешь! Я сам видел...

— Как я смею лгать вашему сиясу!

Нехлюдов замолчал и, кусая губу, стал ходить взад и вперед по двору. Юхванка, стоя на одном месте, не поднимая глаз, следил за ногами барина.

— Послушай, Епифан, — сказал Нехлюдов детски-кротким голосом, останавливаясь перед мужиком и стараясь скрыть свое волнение, — этак жить нельзя, и ты себя погубишь. Подумай хорошенько. Если ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени, оставь свои привычки дурные, не лги, не пьянствуй, ува-

жай свою мать. Ведь я про тебя все знаю. Занимайся хозяйством, а не тем, чтоб казенный лес воровать да в кабак ходить. Подумай, что тут хорошего! Коли тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно и зачем, и не лги, а всю правду скажи, и тогда я тебе не откажу ни в чем, что только могу сделать.

— Помилуйте, васясо, мы, кажется, можем понимать вашего сяса! — отвечал Юхванка, улыбаясь, как будто вполне понимая всю прелесть шутки барина.

Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали Нехлюдова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истинный. Притом ему все казалось, что неприлично ему, имеющему власть, усовещивать своего мужика и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сени. На пороге сидела старуха и громко стонала, — как казалось, в знак сочувствия словам барина, которые она слышала.

— Вот вам на хлеб, — сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку ассигнацию, — только сама покупай, а не давай Юхванке, а то он пропьет.

Старуха костлявой рукой ухватилась за притолоку, чтоб встать, и собралась благодарить барина; голова ее закачалась, но Нехлюдов уже был на другом конце улицы, когда она встала.

IX

«Давыдка Белый просил хлеба и кольев», — значилось в записной книжке после Юхвана.

Пройдя несколько дворов, Нехлюдов при повороте в переулок встретился с своим приказчиком, Яковом Алпатычем, который, издалека увидев барина, снял клеенчатую фуражку и, достав фуляровый платок, стал обтирать толстое, красное лицо.

— Надень, Яков! Яков, надень же, я тебе говорю...

— Где изволили быть, ваше сиятельство? — спросил Яков, защищаясь фуражкою от солнца, но не надевая ее.

— Был у Мудреного. Скажи, пожалуйста, отчего он такой сделался? — сказал барин, продолжая идти вперед по улице.

— А что, ваше сиятельство? — отозвался управляющий, который в почтительном расстоянии следовал за барином и, надев фуражку, расправлял усы.

— Как что? он совершенный негодяй, лентяй, вор, лгун, мать свою мучит и, как видно, такой закоренелый негодяй, что никогда не исправится.

— Не знаю, ваше сиятельство, что он вам так не показался...

— И жена его, — перебил барин управляющего, — кажется, прегадкая женщина. Старуха хуже всякой нищей одета; есть нечего, а она разряженная, и он тоже. Что с ним делать — я решительно не знаю.

Яков заметно смутился, когда Нехлюдов заговорил про жену Юхванки.

— Что ж, коли он так себя попустил, ваше сиятельство, — начал он, — то надо меры изыскать. Он точно в бедности, как и все одинокие мужики, но он все-таки себя сколько-нибудь наблюдает, не так, как другие. Он мужик умный, грамотный и ничего, честный, кажется, мужик. При сборе подушных он всегда ходит. И старостой при моем уж управлении три года ходил, тоже ничем не замечен. В третьем годе опекуну угодно было его ссадить, так он и на тягле исправен был. Нешто как в городу на почте живал, то хмелем немного позашибется, так надо меры изыскать. Бывало, зашалит, постращаешь — он опять в свой разум приходит: и ему хорошо, и в семействе лад; а как вам не угодно, значит, эти меры употреблять, то уж я и не знаю, что с ним будем делать. Он точно себя очень попустил. В солдаты опять не годится, потому, как изволили заметить, двух зубов нет. Да и не он один, осмелюсь вам доложить, что совершенно страху не имеют...

— Уж это оставь, Яков, — отвечал Нехлюдов, слегка улыбаясь, — про это мы с тобой говорили и переговорили. Ты знаешь, как я об этом думаю; и что ты мне ни говори, я все так же буду думать.

— Конечно, ваше сиятельство, вам это все известно, — сказал Яков, пожимая плечами и глядя сзади на барина так, как будто то, что он видел, не обещало ничего хорошего. — А что насчет старухи вы изволите беспокоиться, то это напрасно, — продолжал он, — оно, конечно, что она сирот воспитала, вскормила и женила Юхвана, и все такое; но ведь это вообще в крестьянстве, когда мать или отец сыну хозяйство передали, то уж хозяин сын и сноха, а старуха уж должна свой хлеб зарабатывать по силе по мочи. Они, конечно, тех чувств нежных не имеют, но уж в крестьянстве вообще так ведется. То и осмелюсь вам

доложить, что напрасно старуха вас трудила. Она старуха умная и хозяйка; да что ж господина из-за всего беспокоить? Ну, поссорилась с снохой, та, может быть, ее и толкнула — бабье дело! и помирились бы опять, чем вас беспокоить. Уж вы и так слишком все изволите к сердцу принимать, — говорил управляющий, с некоторой нежностью и снисходительностью глядя на барина, который молча, большими шагами шел перед ним вверх по улице. — Домой изволите? — спросил он.

— Нет, к Давыдке Белому, или Козлу... как он прозывается?

— Вот тоже ляд-то, доложу вам. Уж эта вся порода Козлов такая. Чего-чего с ним ни делал — ничто не берет. Вчера по полю крестьянскому проехал, а у него и гречиха не посеяна; что прикажете делать с таким народцем? Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же ляд: ни на себя, ни на барщину, все как через пень колоду валит. Уж что-что с ним ни делали и опекун и я: и в стан посылали, и дома наказывали — вот что вы не изволите любить...

— Кого? не-уже-ли старика?

— Старика-с. Опекун сколько раз, и при всей сходке, наказывал; так верите ли, ваше сиятельство? хоть бы те что: встряхнется, пойдет, и все то же. И ведь Давыдка, доложу вам, мужик смирный, и неглупый мужик, и не курит — не пьет то есть, — объяснил Яков, — а вот хуже пьяного другого. Одно, что в солдаты коли выйдет или на поселенье, больше делать нечего. Эта вся уж порода Козлов такая: и Матрюшка, что в черной живет, тоже ихней семьи, такая же ляд проклятый. Так я вам не нужен, ваше сиятельство? — прибавил управляющий, замечая, что барин не слушает его.

— Нет, ступай, — рассеянно отвечал Нехлюдов и направился к Давыдке Белому.

Давыдкина изба криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее не было ни двора, ни овина, ни амбара; только какие-то грязные хлевушки для скотины лепились с одной стороны; с другой стороны кучею навалены были приготовленные для двора хворост и бревна. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога, не было около избы.

Нехлюдов постучал в разбитое окно: но так как никто не отозвался ему, он подошел к сеням и крикнул: «Хозяева!» И на это никто не откликнулся. Он прошел сени,

заглянул в пустые хлевушки и вошел в отворенную избу. Старый красный петух и две курицы, подергивая ожерельями и постукивая ногтями, расхаживали по полу и лавкам. Увидев человека, они с отчаянным кудахтаньем, распустив крылья, забились по стенам, и одна из них вскочила на печку. Шестиаршинную избенку всю занимали печь с разломанной трубой, ткацкий стан, который, несмотря на летнее время, не был вынесен, и почерневший стол с выгнутою, треснувшею доскою.

Хотя на дворе было сухо, однако у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и крыше. Полатей не было. Трудно было подумать, чтоб место это было жилое, — такой решительный вид запустения и беспорядка носила на себе как наружность, так и внутренность избы; однако в этой избе жил Давыдка Белый со всем своим семейством. В настоящую минуту, несмотря на жар июньского дня, Давыдка, свернувшись с головой в полушубок, крепко спал, забившись в угол печи. Испуганная курица, вскочившая на печь и еще не успокоившаяся от волнения, расхаживая по спине Давыдки, не разбудила его.

Не видя никого в избе, Нехлюдов хотел уже выйти, как протяжный, влажный вздох изобличил хозяина.

— Эй! кто тут? — крикнул барин.

С печки послышался другой протяжный вздох.

— Кто там? Поди сюда!

Еще вздох, мычанье и громкий зевок отозвались на крик барина.

— Ну, что ж ты?

На печи медленно зашевелилось, показалась пола истертого тулупа; спустилась одна большая нога в изорванном лапте, потом другая, и наконец показалась вся фигура Давыдки Белого, сидевшего на печи и лениво и недовольно большим кулаком протиравшего глаза. Медленно нагнув голову, он, зевая, взглянул в избу и, увидев барина, стал поворачиваться немного скорее, чем прежде, но все еще так тихо, что Нехлюдов успел раза три пройти от лужи к ткацкому стану и обратно, а Давыдка все еще слезал с печи. Давыдка Белый был действительно белый: и волоса, и тело, и лицо его — все было чрезвычайно бело. Он был высок ростом и очень толст, но толст, как бывают мужики,— то есть не животом, а телом. Толщина его, однако, была какая-то мягкая, нездоровая. Довольно красивое лицо его, с светло-голубыми спокой-

пыми глазами и с широкой окладистой бородой, носило на себе отпечаток болезненности. На нем не было заметно ни загара, ни румянца; оно все было какого-то бледного, желтоватого цвета, с легким лиловым оттенком около глаз и как будто все заплыло жиром или распухло. Руки его были пухлы, желтоваты, как руки людей, больных водяною, и покрыты тонкими белыми волосами. Он так разоспался, что никак не мог совсем открыть глаз и стоять не пошатываясь и не зевая.

— Ну, как же тебе не совестно, — начал Нехлюдов, — середь белого дня спать, когда тебе двор строить надо, когда у тебя хлеба нет?..

Как только Давыдка опомнился от сна и стал понимать, что перед ним стоит барин, он сложил руки под живот, опустил голову, склонив ее немного набок, и не двигался ни одним членом. Он молчал: но выражение лица его и положение всего тела говорило: «Знаю, знаю; уж мне не первый раз это слышать. Ну бейте же; коли так надо — я снесу». Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, даже больно прибил по пухлым щекам, но оставил поскорее в покое. Замечая, что Давыдка не понимает его, Нехлюдов разными вопросами старался вывести мужика из его покорно терпеливого молчания.

— Для чего же ты просил у меня лесу, когда он у тебя вот уже целый месяц лежит, и самое свободное время так лежит — а?

Давыдка упорно молчал и не двигался.

— Ну, отвечай же!

Давыдка промычал что-то и моргнул своими белыми ресницами.

— Ведь надо работать, братец: без работы что же будет? Вот теперь у тебя хлеба уж нет, а все это отчего? Оттого, что у тебя земля дурно вспахана, да не передвоена, да не вовремя засеяна, — все от лени. Ты просишь у меня хлеба; ну, положим, я тебе дам, потому что нельзя тебе с голоду умирать, да ведь этак делать не годится. Чей хлеб я тебе дам? как ты думаешь, чей? Ты отвечай: чей хлеб я тебе дам? — упорно допрашивал Нехлюдов.

— Господский, — пробормотал Давыдка, робко и вопросительно поднимая глаза.

— А господский-то откуда? рассуди-ка сам, кто под него вспахал? заскородил? кто его посеял, убрал? мужички? так? Так вот видишь ли: уж если раздавать хлеб

господский мужикам, так надо раздавать тем больше, которые больше за ним работали, а ты меньше всех, — на тебя и на барщине жалуются, — меньше всех работал, а больше всех господского хлеба просишь. За что же тебе давать, а другим нет? Ведь коли бы все, как ты, на боку лежали, так мы давно все бы на свете с голоду умерли. Надо, братец, трудиться, а это дурно — слышишь, Давыд?

— Слушаю-с, — медленно пропустил он сквозь зубы.

X

В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотна на коромысле, и чрез минуту в избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет пятидесяти, весьма свежая и живая. Изрытое рябинами и морщинами лицо ее было некрасиво, но прямой твердый нос, сжатые тонкие губы и быстрые серые глаза выражали ум и энергию. Угловатость плеч, плоскость груди, сухость рук и развитие мышц на черных босых ногах ее свидетельствовали о том, что она уже давно перестала быть женщиной и была только работником. Она бойко вошла в избу, притворила дверь, обдернула поневу и сердито взглянула на сына. Нехлюдов что-то хотел сказать ей, но она отвернулась от него и начала креститься на выглядывавшую из-за ткацкого стана черную деревянную икону. Окончив это дело, она оправила грязный клетчатый платок, которым была повязана голова ее, и низко поклонилась барину.

— С праздником Христовым, ваше сиятельство, — сказала она, — спаси тебя бог, отец ты наш...

Увидав мать, Давыдка заметно смутился, согнул несколько спину и еще ниже опустил шею.

— Спасибо, Арина, — отвечал Нехлюдов. — Вот я сейчас с твоим сыном говорил о вашем хозяйстве.

Арина, или, как ее прозвали мужики еще в девках, Аришка Бурлак, подперла подбородок кулаком правой руки, которая опиралась на ладонь левой, и, не дослушав барина, начала говорить так резко и звонко, что вся изба наполнилась звуком ее голоса и со двора могло показаться, что вдруг говорят несколько бабьих голосов:

— Чего, отец ты мой, чего с ним говорить! Ведь он говорить-то не может как человек. Вот он стоит, олух, — продолжала она, презрительно указывая головой на жал-

кую, массивную фигуру Давыдки. — Какое *мое* хозяйство, батюшка ваше сиятельство? Мы голь; хуже нас во всей слободе у тебя нет: ни на себя, ни на барщину — срам! А все он довел. Родили, кормили, поили, не чаяли дождаться парня. Вот и дождались: хлеб лопает, а работы от него, как от прелой вон той колоды. Только знает на печи лежать, либо вот стоит, башку свою дурацкую скребет, — сказала она, передразнивая его. — Хоть бы ты его, отец, постращал бы, что ли. Уж я сама прошу: накажи ты его ради господа бога, в солдаты ли — один конец! Мо́чи моей с ним не стало — вот что.

— Ну, как тебе не грешно, Давыдка, доводить до этого свою мать? — сказал Нехлюдов, с укоризной обращаясь к мужику.

Давыдка не двигался.

— Ведь добро бы мужик хворый был, — с тою же живостью и теми же жестами продолжала Арина, — а то ведь только смотреть на него, ведь словно боров с мельницы раздулся. Есть, кажись, чему бы работать, гладух какой! Нет, вот пропадает на печи лодырем. Возьмется за что, так не глядели бы мои глаза: коли поднимется, коли передвинется, коли что, — говорила она, растягивая слова и неуклюже поворачивая с боку на бок своими угловатыми плечами. — Ведь вот нынче старик сам за хворостом в лес уехал, а ему наказал ямы копать; так нет вот, и лопаты в руки не брал... (На минуту она замолчала...) Загубил он меня, сироту! — взвизгнула она вдруг, размахнув руками и с угрожающим жестом подходя к сыну. — Гладкая твоя морда лядащая, прости господи! (Она презрительно и вместе отчаянно отвернулась от него, плюнула и снова обратилась к барину с тем же одушевлением и с слезами на глазах, продолжая размахивать руками.) Ведь все одна, кормилец. Старик-от мой хворый, старый, да и тоже проку в нем нет, а я все одна да одна. Камень, и тот треснет. Хоть бы помереть, так легче было б: один конец. Заморил он меня, подлец! Отец ты наш! мо́чи моей уж нет! Невестка с работы извелась — и мне то же будет.

XI

— Как извелась? — недоверчиво спросил Нехлюдов.

— С натуги, кормилец, как бог свят, извелась. Взяли мы ее запрошлый год из Бабурина, — продолжала она,

вдруг переменяя свое озлобленное выражение на слезливое и печальное, — ну, баба была молодая, свежая, смирная, родной. Дома-то, у отца, за золовками, в холе жила, нужды не видала, и как к нам поступила, как нашу работу узнала — и на барщину, и дома, и везде. Она да я — только и было. Мне что? я баба привычная, она же в тяжести была, отец ты мой, да горе стала терпеть: а все через силу работала — ну, и надорвалась, сердечная. Летось, петровками, еще на беду мальчишку родила, а хлебушка не было, кой-что, кой-что ели, отец ты мой, работа же спешная подошла — у ней груди и пересохни. Детенок первенький был, коровенки нетути, да и дело наше мужицкое: где уж рожком выкормишь! Ну известно, бабья глупость, — она этим пуще убиваться стала. А как детенок помер, уж она с той кручины выла-выла, голосила-голосила, да нужда, да работа, все хуже да хуже: так извелась в лето, сердечная, что к покрову и сама кончилась. Он ее порешил, бестия! — снова с отчаянной злобой обратилась она к сыну... — Что я тебя просить хотела, ваше сиятельство, — продолжала она после небольшого молчания, понижая голос и кланяясь.

— Что? — рассеянно спросил Нехлюдов, еще взволнованный ее рассказом.

— Ведь он мужик еще молодой. От меня уж какой работы ждать: нынче жива, а завтра помру. Как ему без жены быть? Ведь он тебе не мужик будет. Обдумай ты нас как-нибудь, отец ты наш.

— То есть ты женить его хочешь? Что ж? это дело!

— Сделай божескую милость; вы наши отцы-матери.

И, сделав знак своему сыну, она с ним вместе грохнулась в ноги барину.

— Зачем ты в землю кланяешься? — говорил Нехлюдов, с досадой поднимая ее за плечи. — Разве нельзя так сказать? Ты знаешь, что я этого не люблю. Жени сына, пожалуйста; я очень рад, коли у тебя есть невеста на примете.

Старуха поднялась и стала рукавом утирать сухие глаза. Давыдка последовал ее примеру и, потерев глаза пухлым кулаком, в том же терпеливо-покорном положении продолжал стоять и слушать, что говорила Арина.

— Невесты-то есть, как не быть! Вот Васютка Михейкина, девка ничего, да ведь без твоей воли не пойдет.

— Разве она не согласна?

— Нет, кормилец, коли по согласию пойдет!

— Ну так что ж делать? Я принуждать не могу; поищите другую: не у себя, так у чужих; я выкуплю, только бы шла по своей охоте, а насильно выдать замуж нельзя. И закона такого нет, да и грех это большой.

— Э-э-эх, кормилец! да статочное ли дело, глядя на нашу жизнь да на нашу нищету, чтоб охотой пошла? Солдатка самая и та такой нужды на себя принять не захочет. Какой мужик девку к нам во двор отдаст? Отчаянный не отдаст. Ведь мы голь, нищета. Одну, скажут, почитай что с голоду заморили, так и моей то же будет. Кто отдаст,— прибавила она, недоверчиво качая головой,— рассуди, ваше сиятельство.

— Так что ж я могу сделать?

— Обдумай ты нас как-нибудь, родимый, — повторила убедительно Арина, — что ж нам делать?

— Да что ж я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сделать для вас в этом случае.

— Кто ж нас обдумает, коли не ты? — сказала Арина, опустив голову и с выражением печального недоумения разводя руками.

— Вот хлеба вы просили, так я прикажу вам отпустить, — сказал барин после небольшого молчания, во время которого Арина вздыхала и Давыдка вторил ей. — А больше я ничего не могу сделать.

Нехлюдов вышел в сени. Мать и сын, кланяясь, вышли за барином.

XII

— О-ох, сиротство мое! — сказала Арина, тяжело вздыхая.

Она остановилась и сердито взглянула на сына. Давыдка тотчас повернулся и, тяжко перевалив через порог свою толстую ногу в огромном грязном лапте, скрылся в противоположной двери.

— Что я с ним буду делать, отец? — продолжала Арина, обращаясь к барину.— Ведь сам видишь, какой он! Он ведь мужик не плохой, не пьяный и смирный мужик, ребенка малого не обидит — грех напрасно сказать: худого за ним ничего нету, а уж и бог знает, что такое с ним попритчилось, что он сам себе злодей стал. Ведь он и сам тому не рад. Веришь ли, батюшка, сердце кровью обливается на него глядя, какую он муку принимает. Ведь какой ни есть, а моя утроба носила; жалею его, уж

как жалею!.. Ведь он не то, чтоб супротив меня, али отца, али начальства что б делал, он мужик боязливый, сказать, что дитя малое. Как ему вдовцом быть? Обдумай ты нас, кормилец, — повторила она, видимо, желая изгладить дурное впечатление, которое ее брань могла произвести на барина... — Я, батюшка ваше сиятельство, — продолжала она доверчивым шепотом, — и так клала, и этак прикидывала: ума не приложу, отчего он такой. Не иначе, как испортили его злые люди. (Она помолчала немного.) Коли найти человека, его излечить можно.

— Какой вздор ты говоришь, Арина! как можно испортить?

— И, отец ты мой, так испортят, что и навек нечеловеком сделают! Мало ли дурных людей на свете! По злобе вынет горсть земли из-под следу... или что там... и навек нечеловеком сделает; долго ли до греха? Я так себе думаю, не сходить ли мне к Дундуку, старику, что в Воробьевке живет: он знает всякие слова, и травы знает, и порчу снимает, и с креста воду спущает; так не пособит ли он? — говорила баба, — може, он его излечит.

«Вот она, нищета-то и невежество! — думал молодой барин, грустно наклонив голову и шагая большими шагами вниз по деревне. — Что мне делать с ним? Оставить его в этом положении невозможно и для себя, и для примера других, и для него самого, невозможно, — говорил он себе, вычитывая на пальцах эти причины. — Я не могу видеть его в этом положении, а чем вывести его? Он уничтожает все мои лучшие планы в хозяйстве. Если останутся такие мужики, мечты мои никогда не сбудутся, — подумал он, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушение его планов. — Сослать на поселенье, как говорит Яков, коли он сам не хочет, чтоб ему было хорошо, или в солдаты? точно: по крайней мере, и от него избавлюсь, и еще заменю хорошего мужика», — рассуждал он.

Он думал об этом с удовольствием: но вместе с тем какое-то неясное сознание говорило ему, что он думает только одной стороной ума, и что-то нехорошо. Он остановился. «Постой, о чем я думаю,— сказал он сам себе,— да, в солдаты, на поселенье. За что? Он хороший человек, лучше многих, да и почем я знаю... Отпустить на волю? — подумал он, рассматривая вопрос не одной стороной ума, как прежде,— несправедливо, да и невозможно». Но вдруг ему пришла мысль, которая очень обрадовала его; он улыбнулся с выражением человека, разрешившего себе труд-

пую задачу. «Взять во двор,— сказал он сам себе,— самому наблюдать за ним, и кротостью, и увещаниями, выбором занятий приучать к работе и исправлять его».

XIII

«Так и сделаю», — с радостным самодовольством сказал сам себе Нехлюдов, и, вспомнив, что ему надо было еще зайти к богатому мужику Дутлову, он направился к высокой и просторной связи с двумя трубами, стоявшей посредине деревни. Подходя к ней, он столкнулся у соседней избы с высокой, ненарядной бабой лет сорока, шедшей ему навстречу.

— С праздником, батюшка, — сказала ему, нисколько не робея, баба, останавливаясь подле него и радушно улыбаясь и кланяясь.

— Здравствуй, кормилица, — отвечал он, — как поживаешь? Вот иду к твоему соседу.

— Так-с, батюшка ваше сиятельство, хорошее дело. А что, к нам не пожалуете? Уж как бы мой старик рад был!

— Что ж, зайду, потолкуем с тобой, кормилица. Эта твоя изба?

— Эта самая, батюшка.

И кормилица побежала вперед. Войдя вслед за нею в сени, Нехлюдов сел на кадушку, достал и закурил папиросу.

— Так жарко; лучше здесь посидим, потолкуем, — отвечал он на приглашение кормилицы войти в избу. Кормилица была еще свежая и красивая женщина. В чертах лица ее и особенно в больших черных глазах было большое сходство с лицом барина. Она сложила руки под запавеской и, смело глядя на барина и беспрестанно виляя головой, начала говорить с ним:

— Что ж это, батюшка, зачем изволите к Дутлову жаловать?

— Да хочу, чтобы он у меня землю нанял, десятин тридцать, и свое бы хозяйство завел, да еще чтоб лес он купил со мной вместе. Ведь деньги у него есть, так что ж им так, даром лежать? Как ты об этом думаешь кормилица?

— Да что ж? Известно, батюшка, Дутловы люди сильные; во всей вотчине, почитай, первый мужик,— отвечала кормилица, поматывая головой.— Летось другую

связь из своего леса поставил, господ не трудили. Лошадей у них, окромя жеребят да подростков, троек шесть соберется, а скотины, коров да овец как с поля гонят да бабы выйдут на улицу загонять, так в воротах их то сопрется, что беда; да и пчел-то колодок сотни две, не то больше живет. Мужик оченно сильный, и деньги должны быть.

— А как ты думаешь, много у него денег? — спросил барин.

— Люди говорят, известно — по злобе, может, что у старика деньги немалые; ну да про то он сказывать не станет и сыновьям не открывает, а должны быть. Отчего ему рощей не заняться? Нешто побоится славу про деньги пустить. Он тоже, годов пять тому, лугами был с Шкаликом-дворником в доле, по малости стал займаться, да обманул, что ли, его Шкалик-то, так рублев триста пропало у старика; с тех пор и бросил. Да как им исправным не быть, батюшка ваше сиятельство, — продолжала кормилица, — при трех землях живут, семья большая, все работники, да и старик-от — что же худо говорить — сказать, что хозяин настоящий. Во всем-то ему задача, что дивится народ даже; и на хлеб, и на лошадей, и на скотину, и на пчел, и на ребят-то счастье. Теперь всех поженил. То у своих девок брал, а теперь Илюшку на вольной женил, сам откупил. И тоже баба хорошая вышла.

— Что ж они, ладно живут? — спросил барин.

— Как в дому настоящая голова есть, то и лад будет. Хоть бы Дутловы — известно, бабье дело; невестки за печкой полаются, полаются, а все под стариком-то и сыновья ладно живут.

Кормилица помолчала немного.

— Теперь старик большего сына, Карпа, слыхать, хочет хозяином в дому поставить. Стар, мол, уж стал, мое дело около пчел. Ну Карп-то и хороший мужик, мужик аккуратный, а все далеко против старика хозяином не выйдет. Уж того разума нету!

— Так вот Карп захочет, может быть, заняться и землей и рощами, — как ты думаешь? — сказал барин, желавший от кормилицы выпытать все, что она знала про своих соседей.

— Вряд ли, батюшка, — продолжала кормилица, — старик сыну денег не открывал. Пока сам жив да деньги у него в доме, значит, все стариков разум орудует; да и они больше извозом займаются.

— А старик не согласится?

— Побоится.

— Чего ж он побоится?

— Да как же можно, батюшка, мужику господскому свои деньги объявить? Неравён случай, и всех денег решится! Вот с дворником в дела вошел, да ошибся. Где же ему с ним судиться! Так и пропали деньги; а с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет.

— Да, от этого... — сказал Нехлюдов, краснея. — Прощай, кормилица.

— Прощайте, батюшка ваше сиятельство. Покорно благодарим.

XIV

«Нейти ли домой?» — подумал Нехлюдов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость.

Но в это время новые тесовые ворота со скрипом отворились перед ним, и красивый, румяный белокурый парень лет восьмнадцати, в ямской одежде, показался в воротах, ведя за собой тройку крепконогих, еще потных, косматых лошадей, и, бойко встряхнув белыми волосами, поклонился барину.

— Что, отец дома, Илья? — спросил Нехлюдов.

— На осике, за двором, — отвечал парень, проводя, одну за другою, лошадей в полуотворенные ворота.

«Нет, выдержу характер, предложу ему, сделаю, что от меня зависит», — подумал Нехлюдов и, пропустив лошадей, вошел на просторный двор Дутлова. Видно было, что со двора недавно был вывезен навоз: земля была еще черная, потная, и местами, особенно в воротищах, валялись красные волокнистые клочья. На дворе и под высокими навесами в порядке стояло много телег, сох, саней, колодок, кадок и всякого крестьянского добра; голуби перепархивали и ворковали в тени под широкими, прочными стропилами; пахло навозом и дегтем. В одном углу Карп и Игнат прилаживали новую подушку под большую троечную окованную телегу. Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой, Илья, встретившийся Нехлюдову в воротах, был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших; второй, Игнат, был повыше ростом, почернее, имел бородку клином и, хотя был тоже в сапогах, ямской рубахе и поярковой шляпе, не имел того праздничного, беззаботного вида, как меньшой брат.

Старший, Карп, был еще выше ростом, носил лапти, серый кафтан и рубаху без ластовиков, имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный.

— Прикажете батюшку послать, ваше сиятельство? — сказал он, подходя к барину и слегка и неловко кланяясь.

— Нет, я сам пройду к нему на осик, посмотрю его устройство там; а мне с тобой поговорить нужно, — сказал Нехлюдов, отходя в другую сторону двора, с тем чтоб Игнат не мог слышать того, что он намерен был говорить с Карпом.

Самоуверенность и некоторая гордость, заметная во всех приемах этих двух мужиков, и то, что сказала ему кормилица, так смущали молодого барина, что ему трудно было решиться говорить с ними о предполагаемом деле. Он чувствовал себя как будто виноватым, и ему казалось легче говорить с одним братом так, чтоб другой не слышал. Карп как будто удивился, зачем барин отводит его в сторону, но последовал за ним.

— Вот что, — начал Нехлюдов, запинаясь, — я хотел тебя спросить: много у вас лошадей?

— Троек пять наберется, жеребятки есть тоже, — развязно отвечал Карп, почесывая спину.

— Что, братья твои на почте ездят?

— Гоняем почту на трех тройках, а то Илюшка в извоз ходил; вот только вернулся.

— Что ж, это вам выгодно? Сколько вы этим зарабатываете?

— Да какая выгода, ваше сиятельство? По крайности кормимся с лошадьми — и то слава богу.

— Так зачем же вы другим чем-нибудь не займетесь? Ведь можно бы вам леса покупать или землю нанимать.

— Оно, конечно, ваше сиятельство, землю нанять можно, когда б где сподручная была.

— Я вот что хочу вам предложить: чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться, наймите вы лучше землю десятин тридцать у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам, да заведите свое хозяйство большое.

И Нехлюдов, увлеченный своим планом о крестьянской ферме, который он не раз сам с собою повторял и передумывал, уже не запинаясь стал объяснять мужику свое предположенье о мужицкой ферме.

Карп слушал очень внимательно слова барина.

— Мы много довольны вашей милостью, — сказал он, когда Нехлюдов, замолчав, посмотрел на него, ожидая

ответа. — Известно, тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит, балуется наш брат. Самое хорошее дело, что землей мужику заниматься.

— Так как ты думаешь?

— Поколи батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше сиятельство? На то воля его.

— Проведи-ка меня на осик; я поговорю с ним.

— Сюда пожалуйте, — сказал Карп, медленно направляясь к заднему сараю. Он отворил низенькую калитку, ведущую на осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату и молча принялся за прерванную работу.

XV

Нехлюдов, нагнувшись, прошел через низенькую калитку, из-под тенистого навеса, на находившийся за двором осик. Небольшое пространство, окруженное покрытыми соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли покрытые обрезками досок улья с шумно вьющеюся около них золотистою пчелою, было все залито горячими, блестящими лучами июньского солнца. От калитки протоптанная тропинка вела на середину к деревянному голубцу с стоявшим на нем фольговым образком, ярко блестевшим на солнце. Несколько молодых лип, стройно подымавших выше соломенной крыши соседнего двора свои кудрявые макушки, вместе с звуком жужжания пчел, чуть слышно колыхались своей темно-зеленой свежей листвой. Все тени, от крытого забора, от лип и от ульев, покрытых досками, черно и коротко падали на мелкую курчавую траву, пробивавшуюся между ульями. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце, открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленого, крытого свежей соломой мшеника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, отирая полой рубахи свое потное, загорелое лицо и кротко-радостно улыбаясь, пошел навстречу барину.

В пчельнике было так уютно, радостно, тихо, прозрачно; фигура седого старичка с лучеобразными частыми морщинками около глаз, в каких-то широких башмаках, надетых на босую ногу, который, переваливаясь и добродушно, самодовольно улыбаясь, приветствовал барина в

своих исключительных владениях, была так простодушно-ласкова, что Нехлюдов мгновенно забыл тяжелые впечатления нынешнего утра, и его любимая мечта живо представилась ему. Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своим богатством и счастием.

— Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая, кусает, — сказал старик, снимая с забора пахнущий медом грязный холстинный мешок, пришитый к лубку, и предлагая его барину. — Меня пчела знает, не кусает, — прибавил он с кроткой улыбкой, которая почти не сходила с его красивого загорелого лица.

— Так и мне не нужно. Что, роится уж? — спросил Нехлюдов, сам не зная чему, тоже улыбаясь.

— Коли роиться, батюшка Митрий Миколаич, — отвечал старик, выражая какую-то особенную ласку в этом названии барина по имени и отчеству,— вот только, только что брать зачала как след. Нынче весна холодная была, изволите знать.

— А вот я читал в книжке, — начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему в волоса, жужжала под самым ухом, — что коли вощина прямо стоит, по жердочкам, то пчела раньше роится. Для этого делают такие улья из досок... с перекладин...

— Вы не извольте махать, она хуже, — сказал старичок, — а то сетку не прикажете ли подать?

Нехлюдову было больно: но по какому-то детскому самолюбию ему не хотелось признаться в этом, и он, еще раз отказавшись от сетки, продолжал рассказывать старичку о том устройстве ульев, про которое он читал в «Maison rustique» и при котором, по его мнению, должно было в два раза больше роиться; но пчела ужалила его в шею, и он сбился и замялся в средине рассуждения.

— Оно точно, батюшка Митрий Миколаич, — сказал старик с отеческим покровительством, глядя на барина, — точно в книжке пишут. Да, может, это так, дурно писано, — что вот, мол, он сделает, как мы пишем, а мы посмеемся потом. И это бывает! Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама по колодке норовит, другой раз поперек, а то прямо. Вот извольте посмотреть, — прибавил он, оттыкая одну из ближайших колодок и заглядывая в отверстие, покрытое шумящей и ползающей пчелой по кривым вощинам, — вот эта моло-

дая; она, видать, в голове у ней матка сидит, а вощину она и прямо и вбок ведет, как ей по колодке лучше, — говорил старик, видимо, увлекаясь своим любимым предметом и не замечая положения барина. — Вот нынче она с калошкой идет; нынче день теплый, все видать, — прибавил он, затыкая опять улей и прижимая тряпкой ползающую пчелу и потом огребая грубой ладонью несколько пчел с морщинистого затылка. Пчелы не кусали его; но зато Нехлюдов уж едва мог удерживаться от желания выбежать из пчельника; пчелы местах в трех ужалили его и жужжали со всех сторон около его головы и шеи.

— А много у тебя колодок? — спросил он, отступая к калитке.

— Что бог дал, — отвечал Дутлов, посмеиваясь, — считать не надо, батюшка: пчела не любит. Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел, — продолжал он, указывая на тоненькие колодки, стоящие у забора, — об Осипе, кормилицыном муже; хоть бы вы ему заказали: в своей деревне так дурно делать по соседству, нехорошо.

— Как дурно делать?.. Ах, однако, они кусают! — отвечал барин, уже взявшись за ручку калитки.

— Да вот, что ни год, свою пчелу на моих молодых напущает. Им бы поправляться, а чужая пчела у них вощину повытаскает да и подсекает, — говорил старик, не замечая ужимок барина.

— Хорошо, после, сейчас... — проговорил Нехлюдов и, не в силах уже более терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку.

— Землей потереть: оно ничего, — сказал старик, выходя на двор вслед за барином. Барин потер землею то место, где был ужален, краснея, быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые не смотрели на него, и сердито нахмурился.

XVI

— Что я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство, — сказал старик, как будто, или действительно, не замечая грозного вида барина.

— Что?

— Да вот лошадками, слава те господи, мы исправны, и батрак есть, так барщина за нами не постоит.

— Так что ж?

— Коли бы милость ваша была, ребят на оброк от-

пустить, так Илюшка с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето: може, что бы и заработали.

— Куда ж они пойдут?

— Да как придется, — вмешался Илюшка, который в это время, привязав лошадей под навес, подошел к отцу.— Кадминские ребята на восьми тройках в Ромен ездили, так, говорят, прокормились да десятка по три на тройку домой привезли; а то и в Одест, говорят, кормы дешевые.

— Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой, — сказал барин, обращаясь к старику и желая половчее навести его на разговор о ферме. — Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься?

— Когда не выгоднее, ваше сиятельство! — опять вмешался Илья, бойко встряхивая волосами, — дома-то лошадей кормить нечем.

— Ну, а сколько ты в лето выработаешь?

— Да вот с весны, на что корма дорогие были, мы в Киев с товаром ездили, в Курском опять до Москвы крупу наложили, так и сами прокормились, и лошади сыты были, да и пятнадцать рублев денег привез.

— Оно не беда заниматься честным промыслом, каким бы то ни было, — сказал барин, снова обращаясь к старику, — по мне кажется, что можно бы другое занятие найти; да и работа эта такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит, избаловаться может, — прибавил он, повторяя слова Карпа.

— Чем же нашему брату, мужику, заниматься, как не извозом? — возразил старик с своей кроткой улыбкой. — Съездишь хорошо — и сам сыт, и лошади сыты; а что насчет баловства, так они у меня, слава ти господи, не первый год ездят, да и сам я езжал, и дурного ни от кого не видал, окроме доброго.

— Мало ли чем другим вы бы могли заняться дома: и землей и лугами...

— Как можно, ваше сиятельство! — подхватил Илюшка с одушевлением,— уж мы с этим родились, все эти порядки нам известные, способное для нас дело, самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить!

— А что, ваше сиятельство, просим чести, в избу не пожалуете ли? На новоселье еще не изволили быть, — сказал старик, низко кланяясь и мигая сыну. Илюшка рысью побежал в избу, а вслед за ним, вместе с стариком, вошел и Нехлюдов.

XVII

Войдя в избу, старик еще раз поклонился, смахнул полой зипуна с лавки переднего угла, и, улыбаясь, спросил:

— Чем вас просить, ваше сиятельство?

Изба была белая (с трубой), просторная, с полатями и нарами. Свежие осиновые бревна, между которыми виднелся недавно завядший мох, еще не почернели; новые лавки и полати не сгладились, и пол еще не убился. Одна молодая, худощавая, с продолговатым задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку, на длинном шесте привешенную к потолку. В зыбке, чуть заметно дыша и закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок; другая, плотная, краснощекая баба, хозяйка Карпа, засучив выше локтя сильные, загорелые выше кисти руки, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Рябая беременная баба, закрываясь рукавом, стояла около печи. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и сильно пахло только что испеченным хлебом. С полатей с любопытством поглядывали вниз, на барина, белокурые головки двух парнишек и девочки, забравшихся туда в ожидании обеда.

Нехлюдову было радостно видеть это довольство и вместе с тем было почему-то совестно перед бабами и детьми, которые все смотрели на него. Он, краснея, сел на лавку.

— Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю,— сказал он и покраснел еще больше.

Карпова хозяйка отрезала большой кусок хлеба и на тарелке подала его барину. Нехлюдов молчал, не зная, что сказать; бабы тоже молчали; старик кротко улыбался.

«Однако чего ж я стыжусь? точно я виноват в чем-нибудь,— подумал Нехлюдов,— отчего ж мне не сделать предложение о ферме? Какая глупость!» Однако он все молчал.

— Что ж, батюшка Митрий Миколаич, как насчет ребят-то прикажете? — сказал старик.

— Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу,— вдруг, собравшись с духом, выговорил Нехлюдов.— Я, знаешь, что тебе придумал: купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу да еще землю...

Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика.

— Как же, ваше сиятельство, на какие же деньги покупать будем? — перебил он барина.

— Да ведь небольшую рощу, рублей в двести, — заметил Нехлюдов.

Старик сердито усмехнулся.

— Хорошо, кабы были, отчего бы не купить, — сказал он.

— Разве у тебя уж этих денег нет? — с упреком сказал барин.

— Ох, батюшка ваше сиятельство! — отвечал с грустью в голосе старик, оглядываясь к двери, — только бы семью прокормить, а уж нам не рощи покупать.

— Да ведь есть у тебя деньги, что ж им так лежать? — настаивал Нехлюдов.

Старик вдруг пришел в сильное волнение; глаза его засверкали, плечи стало подергивать.

— Може, злые люди про меня сказали, — заговорил он дрожащим голосом,— так, верите богу, — говорил он, одушевляясь все более и более и обращая глаза к иконе, — что вот лопни мои глаза, провались я на сем месте, коли у меня что есть, окроме пятнадцати целковых, что Илюшка привез, и то подушные платить надо,— вы сами изволите знать: избу поставили.

— Ну, хорошо, хорошо! — сказал барин, вставая с лавки. — Прощайте, хозяева.

XVIII

«Боже мой! боже мой! — думал Нехлюдов, большими шагами направляясь к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывая листья и ветви, попадавшиеся ему на дороге,— неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой; тогда как я воображал, что, раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно-удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли?» И он с необыкновенной живостью и ясностью перенесся воображением за год тому назад, к этой счастливой минуте.

Рано-рано утром он встал прежде всех в доме и, мучительно-волнуемый какими-то затаенными, невыраженными порывами юности, без цели вышел в сад, оттуда в лес, и среди майской, сильной, сочной, но спокойной природы долго бродил один, без всяких мыслей, страдая

избытком какого-то чувства и не находя выражения ему. То со всею прелестью неизвестного юное воображение его представляло ему сладострастный образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое, высшее чувство говорило *не то* и заставляло его искать чего-то другого. То неопытный, пылкий ум его, возносясь все выше и выше, в сферу отвлечения, открывал, как казалось ему, законы бытия, и он с гордым наслаждением останавливался на этих мыслях. Но снова высшее чувство говорило *не то* и снова заставляло его искать и волноваться. Без мыслей и желаний, как это всегда бывает после усиленной деятельности, он лег на спину под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, пробегавшие над ним по глубокому, бесконечному небу. Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и, бог знает каким путем, ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением, — мысль, что любовь и добро есть истина и счастие, и одна истина и одно возможное счастие в мире. Высшее чувство не говорило *не то;* он приподнялся и стал поверять эту мысль. «Оно, оно, так! — говорил он себе с восторгом, меряя все прежние убеждения, все явления жизни на вновь открытую, ему казалось, совершенно новую истину. — Какая глупость все то, что я знал, чему верил и что любил, — говорил он сам себе. — Любовь, самоотвержение — вот одно истинное, независимое от случая счастие!» — твердил он, улыбаясь и размахивая руками. Со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ей подтверждение и в жизни и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это *то,* он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторга. «Итак, я должен делать добро, чтоб быть счастливым», — думал он, и вся будущность его уже не отвлеченно, а в о́бразах, в форме помещичьей жизни живо рисовалась пред ним.

Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятит на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности: она готова; у него есть прямая обязанность — у него есть крестьяне... И какой отрадный и благодарный труд представляется ему — «действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, испра-

вить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро... Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастия, я буду наслаждаться благодарностью их, буду видеть, как с каждым днем я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность! Как мог я прежде не видеть этого?»

«И кроме этого, — в то же время думал он, — кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастии семейной жизни?» И юное воображение рисовало ему еще более обворожительную будущность: «Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть с старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение — добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает... Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы». . .

. . . .

XIX

«Где эти мечты? — думал теперь юноша, после своих посещений подходя к дому. — Вот уже больше года, что я ищу счастия на этой дороге, и что ж я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собой! Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастия, а желаю, страстно желаю счастия. Я не испытал наслаждений, а уже отрезал от себя все, что

дает их. Зачем? за что? Кому от этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастие, чем дать его другим. Разве богаче стали мои мужики? образовались или развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжеле и тяжеле. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность... но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни», — подумал он, и ему почему-то вспоминалось, что соседи, как он слышал от няни, называли его недорослем; что денег у него в конторе ничего уже не оставалось; что выдуманная им новая молотильная машина, к общему смеху мужиков, только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый раз, при многочисленной публике, пустили в ход в молотильном сарае; что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями. И вдруг так же живо, как прежде представлялась ему деревенская прогулка по лесу и мечта о помещичьей жизни, так же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, в которой он поздно ночью сидит, при одной свечке, с своим товарищем и обожаемым шестнадцатилетним другом. Они часов пять сряду читали и повторяли какие-то скучные записки гражданского права и, окончив их, послали за ужином, сложились на бутылку шампанского и разговорились о будущности, которая ожидает их. Как совсем иначе представлялась будущность молодому студенту! Тогда будущность была полна наслаждений, разнообразной деятельности, блеска, успехов и несомненно вела их обоих к лучшему, как тогда казалось, благу в мире — к славе.

«Он уж идет и быстро идет по этой дороге, — подумал Нехлюдов про своего друга, — а я...»

Но в это время он уже подходил к крыльцу дома, около которого стояло человек десять мужиков и дворовых, с различными просьбами дожидавшихся барина, и от мечтаний он должен был обратиться к действительности.

Тут была и оборванная, растрепанная и окровавленная крестьянская женщина, которая с плачем жаловалась на свекора, будто бы хотевшего убить ее; тут были два брата, уж второй год делившие между собой свое крестьянское хозяйство и с отчаянной злобой смотревшие друг на друга; тут был и небритый седой дворовый

с дрожащими от пьянства руками, которого сын его, садовник, привел к барину, жалуясь на его беспутное поведение; тут был мужик, выгнавший свою бабу из дома за то, что она целую весну не работала; тут была и эта больная баба, его жена, которая, всхлипывая и ничего не говоря, сидела на траве у крыльца и выказывала свою воспаленную, небрежно обвязанную каким-то грязным тряпьем, распухшую ногу...

Нехлюдов выслушал все просьбы и жалобы и, посоветовав одним, разобрав других и обещав третьим, испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния, прошел в свою комнату.

XX

В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками; несколько таких же кресел; раскинутый старинный бостонный стол с инкрустациями, углублениями и медной оправой, на котором лежали бумаги, и старинный желтенький, открытый английский рояль с истертыми, погнувшимися узенькими клавишами. Между окнами висело большое зеркало в старой позолоченной резной раме. На полу, около стола, лежали кипы бумаг, книг и счетов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид; и этот живой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат большого дома. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший пред роялем, положив ногу на ногу и опустив голову.

— Что, завтракать будете, ваше сиятельство? — сказала вошедшая в это время высокая, худая, сморщенная старуха, в чепце, большом платке и ситцевом платье.

Нехлюдов оглянулся на нее и помолчал немного, как будто опоминаясь.

— Нет, не хочется, няня, — сказал он и снова задумался.

Няня сердито покачала на него головой и вздохнула:

— Эх, батюшка Дмитрий Николаич, что скучаете? И не такое горе бывает, все пройдет — ей-богу...

— Да я и не скучаю. С чего ты взяла, матушка Маланья Финогеновна? — отвечал Нехлюдов, стараясь улыбнуться.

— Да как не скучать, разве я не вижу? — с жаром начала говорить няня, — день-деньской один-одинешенек. И все-то вы к сердцу принимаете, до всего сами доходите; уж и кушать почти ничего не стали. Разве это резон? Хоть бы в город поехали или к соседям; а то виданное ли дело? Ваши года молодые, так обо всем сокрушаться! Ты меня извини, батюшка, я сяду, — продолжала няня, садясь около двери, — ведь такую повадку дали, что уж никто не боится. Разве так господа делают? Ничего тут хорошего нет: только себя губишь, да и народ-то балуется. Ведь наш народ какой: он этого не чувствует, право. Хоть бы к тетеньке поехал: она правду писала... — усовещивала его няня.

Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правая рука его, опиравшаяся на колено, вяло дотронулась до клавишей. Вышел какой-то аккорд, другой, третий... Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовленны, даже не совсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта, но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное, грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий: и хор и оркестр, сообразный с его гармонией. Главное же наслаждение доставляла ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительною ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. То представляется ему пухлая фигура Давыдки Белого, испуганно мигающего белыми ресницами при виде черного жилистого кулака своей матери, его круглая спина и огромные руки, покрытые белыми волосами, одним терпением и преданностью судьбе отвечающие на истязания и лишения. То он видит бойкую, осмелившуюся на дворне кормилицу и почему-то воображает, как она ходит по деревням и проповедует мужикам, что от помещиков деньги прятать нужно, и он бессознательно повторяет сам себе: «Да, от помещиков деньги прятать нужно». То вдруг ему представляется русая головка его будущей жены, почему-то в слезах и в глубоком горе склоняющаяся к нему на плечо; то он

видит добрые голубые глаза Чуриса, с нежностью глядящие на единственного пузатого сынишку. Да, он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. «Вот это любовь!» — шепчет он. Потом вспоминает он о матери Юхванки, вспоминает о выражении терпения и всепрощения, которое, несмотря на торчащий зуб и уродливые черты, он заметил на старческом лице ее. «Должно быть, в семьдесят лет ее жизни я первый заметил это»,— думает он и шепчет: «Странно!» — продолжая бессознательно перебирать клавиши и вслушиваться в звуки. Потом он живо вспоминает свое бегство с пчельника и выражение лиц Игната и Карпа, которым, видимо, хочется смеяться, но которые как будто не смотрят на него. Он краснеет и невольно оглядывается на няню, которая продолжает сидеть около двери и молча, пристально глядеть на него, изредка покачивая седой головой. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей и красивая, сильная фигура Илюшки с светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, чтоб его не пустили в извоз, и как горячо заступался за это любезное для него дело; и он видит серое, раннее туманное утро, подсклизлую шоссейную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных возов с большими черными буквами. Толстоногие сытые кони, погрохивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая постромки, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными шипами за склизкую дорогу. Навстречу обоза, под гору, шибко бежит почта, звеня колоколами, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущемуся с обеих сторон дороги.

— А-а-ай! — громко ребяческим голосом кричит передовой ямщик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой.

У переднего колеса первого воза тяжело шагает в огромных сапогах Карп, с своей рыжей бородой и угрюмым взглядом. На втором возу высовывается красивая голова Илюшки, который, под рогожей передка, славно пригрелся на зорьке. Три тройки, нагруженные чемоданами с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком пронеслись мимо; Илюшка снова прячет свою красивую голову под рогожу и засыпает. Вот и ясный теплый вечер. Перед усталыми, столпившимися у постоялого

двора тройками скрипят тесовые ворота, и один за другим, подпрыгивая по доске, лежащей в воротах, скрываются высокие рогожные возы под просторными навесами. Илюшка весело здоровается с белолицей, широкогрудой хозяйкой, которая спрашивает: «Издалече ли? и много ли ужинать будут?», с удовольствием поглядывая на красивого парня своими блестящими сладкими глазами. Вот он, убрав коней, идет в жаркую, набитую народом избу, крестится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами. А вот и ночлег его под открытым звездным небом, виднеющимся из-под навеса, на пахучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток и, раз тридцать сряду перекрестив свою широкую, сильную грудь и встряхнув светлыми кудрями, прочел «Отче» и раз двадцать «Господи помилуй» и, увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот видит он во сне города: Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше — и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами, — и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше...

«Славно!» — шепчет себе Нехлюдов; и мысль: зачем он не Илюшка — тоже приходит ему.

ПРИМЕЧАНИЯ

I

Произведения, вошедшие в настоящий том, относятся к раннему периоду творчества Л. Н. Толстого. Этими произведениями и трилогией «Детство», «Отрочество» и «Юность» в начале 50-х годов молодой писатель вошел в русскую литературу.

В том включены военные рассказы, созданные на Кавказе и в Крыму, а также связанные с ними единством антикрепостнической темы повести «Утро помещика», «Записки маркёра», «Два гусара», «Метель» и другие.

В 40—50-е годы, особенно в период Крымской войны, социальные противоречия крепостнического общественного строя достигают наивысшей остроты. Ликвидация крепостного права становится коренной проблемой русской жизни.

Антикрепостническая тема занимает в это время преобладающее место в творчестве Герцена, Некрасова, Тургенева, Григоровича, Гончарова, Островского, составляет пафос статей Чернышевского и Добролюбова. Эта же проблематика, но в своеобразном, лишь ему присущем аспекте, становится содержанием творчества и начинающего свой писательский путь Льва Толстого.

Своеобразие молодого писателя заключается в том, что он социальные вопросы рассматривает опосредствованно, как проблемы психологические, нравственные.

Абстрактно-моралистический подход к социальным проблемам имел своим истоком иллюзорную веру писателя в возможность через нравственное самовоспитание личности преодолеть противоречия общественной жизни. Упорным самовоспитанием, нравственным самосовершенствованием, полагал Толстой, человек может вернуть себе прирожденные начала добра, очиститься от тех извращений, отклонений от истины, которые привносит в него окружающая среда.

Это убеждение, шедшее от юношеского увлечения идеями Руссо, имело и положительное значение, поскольку привлекало пристальное внимание Толстого к внутренней жизни человека, к актуальным для тех лет проблемам общественной морали.

Еще Белинский в своих знаменитых обзорах русской литературы 40-х годов отмечал нарастающий в лучших произведениях протест против лжи и лицемерия господствующей морали. Вслед за ним А. И. Герцен выдвинул проблемы общественной нравственности на первый план. «Мы лжем на словах, лжем движениями, лжем из учтивости, лжем из добродетели, лжем из порочности,— писал он в очерках «Капризы и раздумье»,— лганье это, конечно, много способствует к растлению, к нравственному бессилию, в котором родятся и умирают целые поколения...» (А. И. Герцен. Собр соч., т. 2. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 77). По мнению Герцена, литература должна пристально изучить эту «болезнь», должна проникнуть в суть общественных отношений и в глубь психологии человека.

Исследованием, критикой господствующих нравственных норм полны в этот период произведения самого Герцена, Григоровича, Гончарова, Тургенева и других русских писателей. Всей передовой русской литературе, по мнению Чернышевского, свойственно «благородное проявление чистейшего нравственного чувства» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III. М., ГИХЛ, 1947, с. 427).

Это «чувство» в высочайшей степени присуще молодому Толстому. Он проявляет редкое упорство в своих духовных исканиях, обнаруживает честность и бесстрашие в стремлении дойти до истины. И поэтому уже самые ранние произведения Толстого проникнуты духом гуманности, демократизма и сродни лучшим творениям его современников. Творчество молодого писателя развивается в русле передового, «гоголевского» направления русской литературы, укрепляет ее самые плодотворные, реалистические основы.

II

В конце мая 1851 года 22-летний Толстой приехал со своим старшим братом Николаем на Кавказ. Этому новому этапу его жизни предшествовали четыре года мучительных поисков призвания, раздумий, увлечений и разочарований. Кавказ обогатил Толстого новыми впечатлениями и встречами. Здесь начал он свою литературную деятельность, которой впоследствии суждено было знаменовать собою шаг вперед в художественном развитии всего человечества.

Кавказская тема занимала и до Толстого большое место в русской литературе. В псевдоромантической кавказской беллетристике (Марлинский, Вонлярлярский, Вердеревский и др.) живые люди были заменены бесшабашными джигитами, а картины природы — романтическими штампами. Война изображалась как красивое, помпезное зрелище, а переживания людей — как бурные, неуемные страсти. В. Г. Белинский, отзываясь с похвалой о некоторых ранних произведениях Марлинского, писал, что «впечатление, производимое на душу человека» его кавказскими повестями, «очень походит на давление кошмара» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 50).

В ранних дневниках Толстого мы находим насмешки над такого рода экзотическими картинами и ходульными героями. В своих кавказских рассказах Толстой правдиво изобразил горцев-крестьян, в поте лица возделывающих скудные поля и защищающих сакли от врага, и таких же простых русских людей — солдат, офицеров, местных жителей-казаков, которые, не питая вражды к горцам, вынуждены вести с ними многолетнюю войну, в которой и сами несут тяжелые потери.

Включение Дагестана и Чечни в состав России создавало благоприятные условия для национального развития народов Кавказа. «Россия,— писал Энгельс в письме к Марксу в 1851 году,— действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, с. 241). Но царская военщина применяла в этой войне типично колонизаторские методы, жестоко расправлялась с местным населением и этим восстанавливала горские народы против России. В то же время и горцы, руководимые фанатичными мюридами, совершали набеги на русские селения.

Главный пафос рассказов Толстого,— бескомпромиссное осуждение войны, как явления, несущего с собой разъединение, разобщенность людей, противоречащего естественно-нравственной, гуманной природе человека. «Война? Какое непонятное явление в роде человеческом. Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет»,— писал Толстой в одном из вариантов «Набега» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 3, с. 234) [1].

Толстой отрицал войну, как явление, резко враждебное человеку, дисгармонирующее с «примирительной красотой и силой» вечно живой и прекрасной природы.

---

[1] Здесь и далее ссылки даются по изданию: Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., М., Гослитиздат, 1928—1958.

«Неужели,— писал он в «Набеге»,— тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты и добра».

Поставив в упор вопрос: на чьей стороне справедливость — на стороне ли бедного горца, защищающего семью от гибели и саклю от разорения, или блистательного русского «адъютанта», который, покоряя горцев, желает «получить поскорее чин капитана и тепленькое местечко»,— Толстой давал на него ясный и недвусмысленный ответ. Он всей душой сочувствует справедливой борьбе горцев и решительно осуждает царскую военщину.

В литературе о Толстом главная тема кавказских рассказов определяется как тема храбрости. Действительно, о храбрости много спорят персонажи рассказов, о ней говорит и автор-повествователь. Однако мужество, храбрость, отвага, по Толстому, — лишь одна из граней цельного характера русского человека, производное от других его более важных черт — естественности, природной мудрости, простоты, чувства долга, товарищества, сознания общности со своим народом. Толстого интересует в военных рассказах весь комплекс моральных черт русского человека, определяющих его поведение на войне. И поэтому тему кавказских рассказов следует определять шире, как исследование нравственного облика человека, его жизненного назначения, его истинной значимости.

Кавказские и севастопольские рассказы документальны, очерковы,— в них отражены события, которые автор наблюдал как очевидец и прямой участник. Писатели «натуральной школы» обращались к жанру очерка как самого оперативного и действенного. Но, в отличие от очерков «натуральной школы», рассказы Толстого характеризует широта обобщения, глубина проникновения в сущность человеческих характеров. Толстой наполнил свои рассказы дыханием большой жизни, переломил ее сквозь восприятия разных героев, добился достоверности и полноты воплощения действительности.

III

В рассказах «Набег» и «Рубка леса» Толстой раскрывает душевные качества простого человека.

Русского солдата, утверждает Толстой, так же трудно увлечь громкими словами, как и заставить без основания разочароваться, упасть духом. Человеку из народа в изображении Толстого чужды

аффекты, пустые речи и воинственные крики,— он предпочитает этому спокойствие, естественность поведения, деловитость, природную нравственность.

Те же человеческие и духовные качества Толстой находит и в той части офицерства, которое вышло из демократической среды и живет с солдатами одной жизнью. Таков в «Набеге» капитан Хлопов. Он не совершает исключительных подвигов, но в минуту опасности ведет себя «как следует» и потому является для Толстого воплощением «истины и простоты».

Истинная храбрость воина, высокая человечность обнаруживаются в деле, в бою, и оказывается, что по-настоящему мужественны не поручик Розенкранц («Набег») и не капитан Крафт («Рубка леса») — любители громких фраз и молодеческой лихости, а неприметный капитан Хлопов, такой же скромный офицер Тросенко («Рубка леса») и простые солдаты, выполняющие свой долг тихо, незаметно и скромно. Именно эти качества лучшей части кавказского воинства писатель утверждает как «особенно высокую черту русской храбрости».

Принципиально новым для русской литературы было изображение Толстым солдат в рассказе «Рубка леса». В каждом из них он открыл индивидуальность, характер интересный, своеобразный и противоречивый, высокий уровень человечности и моральности. Его Веленчук «покорен» и мужествен, глубоко порядочен и честен, Антонов обладает «высокими поэтическими порывами», смирен и в то же время проявляет буйство и непокорность, старый солдат Жданов благороден, обладает чувством собственного достоинства, но смирен и неприметен. Забавник Чикин умеет «во всем видеть смешное». С большими модификациями этот образ пройдет через многие произведения русской литературы, а в годы Отечественной войны неожиданно обернется превосходным образом Василия Теркина в одноименной поэме Александра Твардовского.

Солдатские типы в кавказских рассказах были открытием молодого писателя. Они продолжили галерею крестьянских образов, созданных Григоровичем и Тургеневым. Не случайно Толстой посвятил Тургеневу свой рассказ «Рубка леса». Однако кавказские рассказы не были подражанием тургеневским «Запискам охотника». Молодой художник проявил в них полную меру самостоятельности, показав действительность по-новому, с точки зрения самих солдат,— и в этом заключалось его новаторство и своеобразие.

Мысль о новаторстве кавказских рассказов Толстого первым выразил Н. А. Некрасов в отзыве о «Рубке леса». «Мое мнение об этой вещи такое,— писал он Толстому,— формою она точно напоминает Тургенева, но этим и оканчивается сходство; все

остальное принадлежит Вам, и никем, кроме Вас, не могло бы быть написано. В этом очерке множество удивительно метких заметок, и весь он *нов*, интересен и делен. Не пренебрегайте подобными очерками; о солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали Вы все, что знаете об этом предмете,— все это будет в высшей степени интересно и полезно» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X. М., 1952, с. 241).

IV

Творческая история севастопольских рассказов теснейшим образом связана с участием Толстого в Крымской войне и пребыванием в осажденном Севастополе.

Крымская война, затеянная в 1853 году Англией, Францией, Турцией и царской Россией, была несправедливой, захватнической: борьба шла за сферы влияния на Ближнем Востоке. Однако, когда в сентябре 1854 года войска союзников высадились в Крыму и осадили Севастополь, русские солдаты и офицеры грудью защищали родную землю и в конечном счете, несмотря на поражение царизма в войне, одержали моральную победу над врагами.

7 ноября 1854 года Толстой приехал из Дунайской армии в Севастополь. Побывав на военных укреплениях, возведенных вокруг города, он записал в дневнике: «Взять Севастополь нет никакой возможности...» (т. 47, с. 30).

Молодой Толстой в эти дни полон энергии. Он хлопочет об издании солдатского журнала, составляет ряд военных проектов, пишет свою знаменитую «Записку о переформировании армии», в которой с удивительной смелостью обличает коренные пороки николаевской армии.

В Севастополе Толстой все больше убеждается в преступной нераспорядительности высшего начальства. «Дух упадает ежедневно,— читаем мы в его дневнике за 21 апреля 1855 года,— и мысль о возможности взятия Севастополя начинает проявляться во многом» (т. 47, с. 42). Гнев и горечь перемежаются в его дневнике с горячей верой в неизбежность перемен к лучшему.

Военная служба в Севастополе, пребывание в течение полутора месяцев на одном из самых опасных мест обороны — на 4-м бастионе, участие в боях и вылазках обогатили молодого писателя наблюдениями для севастопольских рассказов. До сих пор они остаются лучшим из того, что создано в литературе об этой суровой и грозной поре.

Главная тема севастопольского цикла — народ и война. В каждом из трех рассказов эта тема получает различное воплощение.

Нравственные представления народа, высота его духа, его отношение к жизни, к природе, к смерти, его патриархальная приверженность к определенным формам национального существования и есть, по мнению писателя, решающая сила, определившая исход борьбы в Севастополе.

Рассказ «Севастополь в декабре месяце» — своеобразный, несколько патетический монолог автора, стремящегося сказать о главном — о народном героизме — и не имеющего пока возможности выписывать все детали панорамы. Ни «фурштатский солдатик», ни матрос на бастионе, ни солдат в лазарете не имеют ни имени, ни индивидуальной судьбы, но все вместе они олицетворяют собирательный и героический образ Севастополя, образ воюющего народа.

На мгновение мелькнул в толпе пехотный солдатик со своей гнедой тройкой лошадей, которых ведет на водопой. Мы даже не разглядели его как следует. Но по каким-то еле уловимым признакам мы убеждаемся, что этот солдат «исполняет свое дело, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудия, — так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске».

Так же спокойно делает на бастионе свое дело старик матрос, над головой которого пролетает ядро. Деловито, «покуривая трубочку», сидит под огнем неприятеля матрос на баррикаде. Неторопливо бредет под ядрами солдатик, посланный по делам службы. Спокойная уверенность в себе, глубокое сознание правоты своего дела отличают всех севастопольских солдат.

Раскрывая характер солдата, его внутренний мир, Толстой еще более, чем в кавказских рассказах, делает упор на его естественность, скромность,— качества, столь недостающие аристократическому офицерству. Ни один солдат у Толстого не рассказывает сам о своем подвиге, не произносит возвышенных слов о родине, о долге, о патриотизме.

О своем тяжелом ранении матрос в лазарете рассказывает просто и буднично: «На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет». Когда же подошедшая жена матроса рассказывает о его подвиге, он хмуро отворачивается.

«Это хозяйка моя, ваше благородие! — замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы ее извините. Известно, бабье дело — глупые слова говорит».

Так же не находит слов и раненый матрос на четвертом бастионе. «...Глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше; и в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!» — еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простите, братцы!»

Повествование в рассказе ведется как бы от лица самого читателя, который, впервые попав в город, с изумлением обнаруживает ошибочность своих прежних представлений и познает явления в их истинной сущности. В рассказе то и дело мелькает: «Вы отчалили от берега...», «Вы подходите к пристани...», «Вы начинаете понимать защитников Севастополя...». На первом плане «вы», то есть сам читатель. Но, предоставляя «вам» самому увидеть и перечувствовать те «возвышающие душу зрелища», которыми полон Севастополь, автор-повествователь тут же раскрывает смысл увиденного, обобщает «ваши» переживания и подводит вас к главному выводу. И вы постигаете, что героем обороны Севастополя является простой народ, в котором живет глубоко затаенная, «стыдливая в русском», мысль о родине. Только потому, что народ дрался «не за город, а за родину», невозможно было «поколебать где бы то ни было силу русского народа».

В рассказе не происходит никаких событий, которые бы имели протяженность во времени и пространстве. Однако читатель не ощущает статичности. Иллюзия движения возникает оттого, что все картины в рассказе даны как панорама, проходящая перед глазами *движущегося* человека. Движение это начинается ранним утром («Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон...») на ялике, подвозящем «вас» к самой мирной части города — Графской пристани, где как ни в чем не бывало торгуют горячим сбитнем,— и заканчивается к вечеру («Уже вечереет...»), на 4-м бастионе, где неприятельские ядра сеют смерть и разрушение. Читатель как бы сам проходит этот путь во времени и пространстве, и не только созерцает, но и переживает виденное. Отсюда то ощущение «событийности», то чувство полноты и разнообразия впечатлений, которое оставляет этот рассказ.

Во втором рассказе, «Севастополь в мае», высокие моральные качества простых солдат противопоставлены тщеславию и честолюбию верхушки дворянского офицерства. Поэтому персонажи здесь в значительно большей степени индивидуализированы.

Главный критерий, которым писатель оценивает своих героев,— их отношение к войне, к обороне Севастополя.

Перед нами один из типичных севастопольских офицеров, штабс-капитан Михайлов. Он далеко не худший в офицерской

среде. Толстой подчеркивает даже его «рассудительность, честность и склонность к порядочности». Но все его помыслы направлены к тому, чтобы получить повышение в чине, нацепить лишний крестик и тем самым получить доступ в среду так называемых аристократов.

Адъютант Калугин, с его великосветскими манерами и «блестящей храбростью», как о ней иронически пишет Толстой, несомненно, умнее и разностороннее Михайлова, человека робкого, с «ограниченным взглядом». Что же является стимулом его пребывания в Севастополе?

Возвращаясь с бастиона в свою богато обставленную квартиру, Калугин с наслаждением думает: «Я очень доволен... в первый раз на мое дежурство счастие. Отличное дело, я — жив и цел, представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее».

Адъютант князь Гальцин — аристократ еще более высокого ранга, чем Калугин. Перед ним заискивает весь офицерский кружок. Гальцин принадлежит к той касте военной знати, которая относится с презрением не только к солдату, но и к низшей офицерской массе. В Севастополе князь Гальцин не только не видит героизма народа, но и решительно отрицает его. Больше того, он не допускает возможности проявления героизма и в среде офицерства, живущего на бастионах. «Вот этого я не понимаю,— говорит он,— и, признаюсь, не могу верить... чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками, могли бы быть храбры».

Трусости и продажности дворянского офицерства писатель противопоставляет мужество рядовых защитников города. В них — сила Севастополя, залог его стойкости и упорства.

Рассказ «Севастополь в мае» раскрыл новые грани Толстого-художника. Композиция произведения сложнее, чем в предшествующих рассказах. Он полон действия, его герои очерчены многогранно.

Рассказ Толстого необычайно емок. Его сюжет вобрал в себя многие драматические события, которые раскрываются в быстрой смене «мирных» и батальных эпизодов. А между тем в рассказе описана только одна севастопольская ночь. Масштабность изображения сочетается в нем с лаконичностью, сжатостью стиля.

Значительнее в рассказе и роль повествователя. Если в первом севастопольском рассказе он предстает перед нами как зоркий и вдумчивый наблюдатель, комментирующий первоначальные впечатления читателя, то здесь он выступает как подлинный художник и страстный публицист, раскрывающий самую суть явлений. Недаром Толстой завершил рассказ словами: «Герой же моей

повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен,— правда».

Надо было обладать большим гражданским мужеством, чтобы в разгар войны рисовать беспощадно правдивые картины и высказывать самые суровые истины.

Третий рассказ — «Севастополь в августе 1855 года» — посвящен трагическому финалу 11-месячной героической обороны — последним дням осады, решающему штурму русских укреплений и отступлению наших войск из Севастополя. Толстой, покидавший город вместе с войсками, пережил отступление как личную трагедию, и поэтому его рассказ столь эмоционален и горестно правдив.

Страницы, в которых Толстой рисует последний штурм Севастополя и отход русских войск, полны драматизма и принадлежат к числу лучших.

Центральные в рассказе — образы братьев Козельцовых, Михаила и Владимира, представляющих лучшую часть севастопольского офицерства, ту ее прослойку, которая близка к солдатской массе, разделяет с нею радость побед и горечь поражений.

Старший Козельцов, Михаил,— бывалый, опытный офицер, прошедший сквозь горнило войны. Бессменный участник обороны, он обрел ту спокойную уверенность в себе и тот трезвый взгляд на войну, какие приобретаются долгим боевым опытом.

Толстой не прикрашивает Козельцова и даже подчеркивает в нем черты ограниченности и самоуверенности. Но, подобно Хлопову в «Набеге», Козельцов спокойно и просто делает свое дело, как его делают тысячи простых солдат, и это ставшее для него естественным чувство воинского долга помогает ему в течение многих месяцев переносить тяготы и лишения осады.

Молодой Козельцов, Владимир, во многом похож на своего старшего брата. Это, безусловно, одаренная натура, с душой, открытой для прекрасных порывов и побуждений. Его молодость — источник свежего, искреннего и непосредственного восприятия мира, веры в жизнь, в будущее, в людей. Володя Козельцов приезжает в Севастополь прямо из училища; суровый севастопольский быт — его первая жизненная школа. Действительность совсем не такова, какой ее себе представляет юный герой, война — не столько яркий подвиг, сколько черная, изнурительная работа. И юный Козельцов лишь отчасти и слишком поздно постигает эту истину.

Толстой показывает процесс крушения юношеских представлений Козельцова, путь его морального возмужания, его приобщения к всенародному делу. И в час решающей схватки юный

Козельцов с воодушевлением командует своими мортирами, «забыв об опасности».

Образ Володи Козельцова — одно из лучших поэтических созданий писателя раннего периода. Впоследствии в «Войне и мире» Толстой в образе Пети Ростова воскресит некоторые черты этого героя.

V

Поставив в своих рассказах ряд важных вопросов — о войне как моральном испытании человека, об исторической роли народа и его судьбе, о кризисе в общественных отношениях России, которая «должна пасть или совершенно преобразоваться» (т. 47, с. 31),— Толстой не на все из них нашел правильные ответы. Война, например, осмысливается им только с точки зрения ее противоречия мирной природе и человеку, его разуму. Но, даже оставаясь в кругу морально-психологической трактовки действительности, писатель от рассказа к рассказу расширяет жизненную сферу своих наблюдений. Нарастающий эпический размах придает севастопольскому циклу некоторые черты народно-героической эпопеи — жанра, который впоследствии найдет гениальное воплощение в романе «Война и мир».

Севастопольские рассказы явились новым этапом в литературе военной темы. Картины войны и народного героизма были объектом изображения в литературе и до Толстого: с большим мастерством рисовали их Пушкин в «Полтаве», Лермонтов в «Бородино», Гоголь в «Тарасе Бульбе». Однако, как отмечено исследователями, великие предшественники Толстого, захваченные идеей общности, единства нации в борьбе за независимость родины, не столь резко выявляли противоречия между низами и верхами. Толстой рисовал войну в условиях кризиса феодальной системы, в атмосфере резкого обострения социальных отношений, поэтому его внимание сосредоточено на противопоставлении простых людей и господ. И хотя сравниваются, главным образом, морально-этические качества тех и других, противопоставление тем не менее приобретает и определенный социальный, объективно-исторический смысл.

Новаторским было и само изображение войны у Толстого. Рисуя войну правдиво, без прикрас, «в крови, в страданиях, в смерти», писатель в центре своих батальных сцен поставил человека, раскрыл его внутренний мир, глубоко затаенные мысли и чувства. Объектом художественного изображения впервые стал *человек из народа, решающий* судьбу отечества. Толстой создал ряд живых солдатских и офицерских типов, которые были справедливо

оценены современниками как «вещь, доныне небывалая в русской литературе» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X. М., 1952, с. 236).

Отстаивая принципы реализма, Белинский утверждал: «Теперь выходят из моды и герои добродетели, и чудовища злодейства... Вместо их действуют люди обыкновенные, каких больше всего на свете» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1955, с. 85). Этому принципу следовал и Толстой при изображении человека. «Чтобы читатели сочувствовали герою,— писал он в дневнике 1852 года, — нужно, чтобы они узнавали в нем столько же свои слабости, сколько и добродетели...» (т. 46, с. 145). Толстой даже поставил себе за правило, «описывая типы или пейзажи необыкновенные... никогда не выпускать из виду типы и пейзажи — обыкновенные — взять их за основание и, сравнивая с ними необыкновенные, описывать их» (там же, с. 242). Его персонажи «обыкновенны» в том смысле, что автор не поднимает их на ходули, не ставит в исключительные положения, не делает олицетворениями одной какой-либо страсти. Но вместе с тем в кризисную ситуацию они способны возвыситься до настоящего героизма, до подвига. Толстой рисует человека во всем многообразии его душевных свойств и связей с внешним миром, во всей жизненной конкретности.

Герои севастопольских рассказов обогатили сокровищницу образов русского искусства. В. В. Стасов, например, сообщал Толстому 8 февраля 1879 года: «Верещагин от ваших вещей без ума и, рисуя теперь кистью громадные (не по размерам) картины из Плевны и Шипки, поминутно читает ваш «Севастополь...» («Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906». Л., «Прибой», 1929, с. 39).

В годы Великой Отечественной войны севастопольские рассказы Толстого пережили «второе рождение». Советский писатель Всеволод Вишневский записывает в эти дни в дневнике: «Чу́дно читают по радио Льва Толстого — «Севастопольские рассказы»... Да ведь это сегодняшний эпос! Как видит Толстой силу и упорство русского народа, его простоту, военные детали, психологию военного быта!» (Вс. Вишневский. Собр. соч., т. 3. М., 1956, с. 190).

Кавказские и севастопольские рассказы имели большое значение для дальнейшего развития таланта молодого писателя. Его кавказские наблюдения и раздумья, восхищение краем, где переплелись «война и свобода» (под последним Толстой разумел отсутствие у казаков и горцев крепостного права), легли в основу вскоре завершенной им повести «Казаки», а позднее — и «Хаджи-Мурата», принадлежащих к числу лучших творений художника.

Творческий опыт и достижения севастопольского периода в области батальной живописи получили свое развитие в «Войне и мире» — эпопее, где тема народного героизма воплощена с гениальным, доныне не превзойденным художественным мастерством.

VI

В ноябре 1855 года Толстой приезжает из Севастополя в Петербург и оказывается в гуще предреформенной идейной борьбы. В условиях обостряющегося кризиса только революционные демократы отстаивают передачу крестьянам земли без выкупа, стоят за перестройку самих основ социально-политического строя России.

Толстой находится в постоянном общении с кругом «Современника», но в коренном вопросе эпохи — о методах и путях ликвидации крепостничества — он расходится с ним. Толстой безусловно стоит за отмену крепостного права, за наделение крестьян землей, за глубокое уважение к личности крестьянина, но он не сочувствует призывам революционных демократов к крестьянскому восстанию.

Толстой в эти годы трезво оценивает ситуацию в стране, как критическую. Он не заблуждается насчет настроений крестьян и ясно видит, сколько злобы и ненависти к помещикам накопилось в их среде. Побывав в 1856 году на крестьянских сходах, он приходит к выводу, что «вопрос помещикам теперь уже поставлен так: жизнь или земля» (т. 60, с. 66). Но он еще озабочен судьбой дворянства, защищает его «исторические права» и верит, что гуманным отношением помещика к мужику можно спасти «все здание от пожара».

Глубокие противоречия мировоззрения писателя находят в его творчестве предреформенных лет выражение, с одной стороны, в еще более сочувственном изображении народа, утверждении его нравственного превосходства над господами («Утро помещика»), — и с другой — в еще большем отстранении от всякой «политики», в некоторой идеализации дворянского прошлого («Два гусара»). Неизменным в его творчестве остается интерес к проблеме моральной сущности человека. Эта проблема, в частности, нашла отражение в рассказе «Записки маркёра».

Тема развращения и гибели невинного юноши, только что вступившего на путь самостоятельной жизни, занимала Толстого еще на Кавказе. Уже тогда она прозвучала в незавершенном рассказе «Святочная ночь» («Как гибнет любовь»).

Черновые варианты «Записок маркёра» и дневники писателя свидетельствуют об известной автобиографичности этого рассказа.

В строгом расчете с самим собой, который звучит в заключительном письме Нехлюдова, можно уловить отзвуки некоторых неоправданно строгих суждений Толстого о себе в его ранних дневниках. Позднее покаянные интонации «Записок маркёра» прозвучат в таких произведениях, как «Исповедь» (1882), предисловие к «Воспоминаниям» (1903), «Верьте себе» (1906) и других. Вместе с тем в рассказе дана объективная картина «господской» жизни, схвачены типические черты быта и морали аристократической молодежи.

«Записки маркёра» — рассказ о моральной деградации молодого дворянина, о шаткости его нравственных устоев. И в еще большей мере — это рассказ об аморальности петербургского светского общества, о его губительном влиянии на человека.

В роли повествователя в рассказе выступает не автор, а маркёр, что позволяет писателю показать господскую жизнь снизу, как она выглядит в глазах хотя и развращенного, но простого человека. «Уж чего не делают господа!.. Сказано, господа... Одно слово — господа»,— восклицает маркёр в конце рассказа. В этой многозначительной реплике заключена и авторская позиция сурового осуждения дворянско-аристократического общества.

К «Запискам маркёра» примыкает и задуманный в то же время рассказ «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный», развенчивающий сословно-аристократические предрассудки дворянской среды. Его главная мысль заключается в том, что люди «комильфо» в столкновениях с серьезными жизненными испытаниями «падают гораздо ниже» обыкновенных людей.

Именно это и произошло с разжалованным в солдаты молодым аристократом Гуськовым. Очутившись на Кавказе, среди простого народа, он не только оказался в нравственном отношении ниже его, но и превратился в труса, подлеца и попрошайку.

Отвратительный образ дворянина Гуськова контрастирует в рассказе с образами окружающих его «солдатиков» с их простотой и естественностью.

В повести «Два гусара» Толстой изобразил представителей двух поколений аристократического дворянства — графа Федора Турбина и его сына, разных по характеру и по всему своему складу. Турбин-старший олицетворяет собою времена «Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных», когда лучших из дворян отличали широта натуры, пылкость страстей, размах, честность, рыцарство и благородство. Толстой с любовью рисует эту былую эпоху. Впоследствии, в «Войне и мире», писатель еще ярче воспроизведет аромат и неповторимые черты этого безвозвратно ушедшего времени.

Турбин-старший, прообразом которого автору послужил его двоюродный дядя, известный дуэлянт и авантюрист Федор Толстой («Американец»), является типичным представителем своей эпохи. Человек неуемных страстей и неистощимой энергии, «чудесный малый» и широкая натура, он по-своему прям, благороден и честен. Его удаль и молодечество имеют истоком полноту жизненных ощущений, чуждую ущербности и упадка.

Не таков его сын — младший Турбин. Он представляет то новое поколение дворянства, которое утратило привлекательные черты отцов, не обретя собственных моральных устоев. Турбин-младший мелок, труслив и подл. Ему чужды не только понятие о долге, дружбе и товариществе, но и элементарная порядочность. Именно в этих своих неприглядных свойствах он раскрывается при встречах с друзьями и особенно с Лизой, которую пытается соблазнить.

Основная тема «Двух гусар» — противопоставление двух нравственно-психологических типов, двух характеров, за которыми кроется различие двух эпох в развитии русского общества. На смену душевной щедрости, кипению страстей, рыцарству начала века приходят меркантильность, буржуазный практицизм, холодное благоразумие нового времени. Толстой беспощадно раскрывает эти перемены как характерные приметы эпохи. Но сам он лишь значительно позднее, в 80-х годах, сделает радикальные выводы об исторической обреченности дворянства, об утрате им прав на руководство нацией. А пока он ищет пути нравственного оздоровления дворянской среды и видит их в сближении с простым народом. Этой большой и важной теме он посвящает свою другую повесть «Утро помещика».

VII

Еще в 1846 году, приехав на каникулы в Ясную Поляну, 18-летний Толстой задумывает написать книгу: «Что нужно для блага России и очерки русских нравов».

В 1852 году, находясь на Кавказе, Толстой пристально вглядывается в быт местных казаков, изучает их жизнь без крепостных порядков и после одной из бесед «с умным мужиком» заносит в дневник: «Они довольны своим житьем, но недовольны армянским владычеством. После обеда и отдыха ходил стрелять и думал о рабстве. На свободе подумаю хорошенько — выйдет ли брошюрка из моих мыслей об этом предмете» (т. 46, с. 112).

Судя по его дневникам, Толстой в последующие месяцы серьезно обдумывает этот тревожащий его «предмет». Замысел его

претерпевает ряд изменений, расширяется, и в конце концов вместо «брошюрки» автор решает писать большое художественное произведение, которое получает в его дневниках название «Роман русского помещика».

По мысли автора, его «помещичий роман» должен был быть «догматическим», «с целью», то есть поучительным. Толстой намеревался воплотить в художественные образы свое давнее убеждение в возможность исправить пороки крепостничества путем нравственного просветления помещика, пробуждения в нем гуманных чувств к мужику. Но после почти двух лет кропотливой работы он убедился в невозможности реализовать этот замысел. В написанных главах романа вместо патриархальной идиллии единения барина и мужика изображена взбудораженная предреформенная деревня, в которой недоверие к помещику пустило глубокие корни. Враждебной крестьянству силой предстает и кулак Шкалик, олицетворяющий проникновение в деревню новых товарно-денежных, капиталистических отношений, против которых бессилен и помещик. Так задуманный давно «помещичий роман» остается недописанным, а на его основе возникает повесть «Утро помещика», которая рисует русскую деревню накануне реформы.

Главная мысль повести состоит в том, что половинчатыми мерами барской благотворительности нельзя решить наболевший крестьянский вопрос. Интересы мужиков — Чурисов и Юхванок — прямо противоположны интересам господ Нехлюдовых, и примирение между ними невозможно. Этот вывод вытекает из логики самих образов, написанных сильно и правдиво. Молодой барин Нехлюдов искренне стремится сблизиться с крестьянами, но всюду натыкается на стену недоверия и в конце концов приходит к убеждению, что между ним и мужиками лежит непроходимая пропасть.

Образ Нехлюдова в повести — в известной степени автобиографичен. Еще в ранней юности, оставив Казанский университет, Толстой посвятил себя облегчению участи своих крестьян. Позднее, вернувшись из Севастополя, он предпринял серьезные шаги, чтобы, не дожидаясь общей реформы, освободить яснополянских крестьян.

Реальные прототипы стоят в повести и за образами крестьян — Ивана Чуриса, Юхванки Мудреного, Давыдки Белого и других. Это яснополянские мужики, с которыми Толстой повседневно встречался в быту и на крестьянских сходах. Тем вернее и жизненнее изображенные в повести коллизии, тем достовернее наблюдения и размышления ее главного героя — Нехлюдова.

В чем причина крестьянской нищеты и связанного с нею резкого отчуждения мужика от барина? Казенная беллетристика видела эту причину в лености мужика, в его закоренелых пороках.

Толстой устами мужиков отвечает на это по-другому, и его ответ неопровержимо убедителен.

«Земля наша какая — вы сами изволите знать: глина, бугры, да и то, видно, прогневили мы бога, вот уже с холеры, почитай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало: которые позаказали в экономию, которые тоже в барские поля поприрали», — говорит Иван Чурис. Чурисы, показывает Толстой, обобраны, ограблены, лишены насущного — земли. Они доведены системой крепостничества до такого состояния, что у них «свечку Миколе купить не на что». И, конечно, никакими барскими «пятью сошками», о которых в повести идет речь, делу не поможешь.

Чрезвычайно любопытно в этой связи то место, где Чурис сам дает объяснение своей бедности. Все его беды пошли оттого, что он разошелся с братьями, отделился от них. «Все из-за баб вышло, ваше сиятельство». Но далее Чурис добавляет: «Тут подушные прибавили, столовый запас тоже сбирать больше стали, а земель меньше стало, и хлеб рожать перестал. Ну, а как межовка пришла, да как он (приказчик. — *А. Ш.*) у нас наши навозные земли в господский клин отрезал, злодей, и порешил нас совсем, хоть помирай!»

Так, начав с рассказа о перессорившихся бабах, Чурис понемногу разматывает весь клубок сложных причин, которые привели крепостную деревню к разорению.

Если в Чурисе и Давыдке Белом олицетворены подавленность, пассивность, приниженность крепостного крестьянства, его горе и отчаяние, то в образе Юхванки Мудреного Толстой показал крестьянина, который на словах покорен помещику, но на деле уже ни в грош не ставит его.

Юхванка Мудреный — еще не бунтарь, десятилетия рабской крепостной жизни приучили его к покорности. Но и его долготерпению приходит конец. И не один Юхванка, а многие уже на деревне, по словам управляющего, «совершенно страху не имеют».

По-своему типична в повести «исправная» семья Дутловых, все благополучие которой держится на трудолюбии и относительной свободе от барской опеки. Автор не сочувствует промыслу Дутловых — их занятию извозом, связанному с городскими соблазнами. Но он не может не любоваться крепостью и добротностью дутловского двора, достоинством и степенностью его обитателей. Грезы Нехлюдова, когда он представляет младшего Дутлова, Илью, — вольным ямщиком «под открытым небом» — и глубоко завидует ему, в известной мере характеризует идеал Толстого, почерпнутый им из народной жизни.

Крестьянские образы «Утра помещика» — новое достижение молодого писателя. Продолжая реалистические традиции

Григоровича и Тургенева, он показал в своей повести мужика без умиления, характерного для тогдашней «простонародной» литературы, и без «пресной жалости», которую Чернышевский осудил в произведениях Авдеева, Даля, Евгении Тур и других.

Мужики «Утра помещика» имеют свои недостатки, порожденные условиями их существования, но вместе с тем в каждом из них преобладает практический ум и здравый смысл, которых как раз не хватает барину Нехлюдову.

Другая важная тема повести — пагубное влияние крепостничества на самих дворян. Героем повести выступает человек, воодушевленный лучшими намерениями. Но в столкновении с реальной жизнью раскрывается его беспочвенность, непрактичность, нежизненность. В конце повести Нехлюдов переживает крушение своих прекраснодушных стремлений, испытывает «смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния». И причиной этому,— показывает автор,— условия крепостничества. Они даже лучших представителей дворянства отчуждают от народа, обрекают на мучительные сомнения, душевную тревогу, бессилие и бездеятельность.

Повесть «Утро помещика» продолжила передовую антикрепостническую линию русской литературы. «...Граф Толстой,— писал Чернышевский, — с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. Он умеет переселяться в душу поселянина,— его мужик чрезвычайно верен своей натуре,— в речах его мужика нет прикрас, нет реторики, понятия крестьян передаются у графа Толстого с такою же правдивостью и рельефностью, как характеры наших солдат» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1948, с. 682).

Проблематика «Утра помещика» имела большое и плодотворное продолжение в творчестве художника. Ближайшими произведениями на крестьянскую тему были рассказы «Поликушка», «Идиллия», «Тихон и Маланья», а вслед за ними эта тема нашла неизмеримо более глубокое воплощение в романах писателя, в его пьесах «Власть тьмы», «Плоды просвещения» и в многочисленных поздних рассказах и повестях.

Молодому Толстому суждено было пройти большой и знаменательный путь, отразивший целую эпоху русской жизни. Еще в начале творческого пути писателя Чернышевский писал о Толстом: «...Какая прекрасная надежда для нашей литературы, какие богатые новые материалы жизнь дает его поэзии! Мы предсказываем, что все, данное доныне графом Толстым нашей литературе, только залоги того, что совершит он впоследствии; но как богаты и

прекрасны эти залоги!» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, с. 431).

Произведения, включенные в настоящий том,— начало этого блистательного пути.

Набег. — Опубликовано впервые в журнале «Современник», 1853, № 3, за подписью «Л. Н.».

Рассказ создавался в мае — декабре 1852 года. Первоначально он был написан от первого лица и носил названия: «Письмо с Кавказа», «Рассказ волонтера». Однако после длительной работы автор отказался от формы дневника.

Некоторые из образов «Набега» имели реальных прототипов в среде кавказских офицеров — сослуживцев Толстого. Так, например, капитан Хлопов напоминает Хилковского, служившего в той же 4-й батарее, что и Толстой. В письме к Т. А. Ергольской от 22 июня 1851 года Толстой писал о нем: «Старый капитан Хилковский, из уральских казаков, старый солдат, простой, но благородный, храбрый и добрый» (т. 59, с. 105). Отдельными своими чертами Хлопов напоминает и брата Толстого — Николая Николаевича. В образе поручика Розенкранца узнал себя другой сослуживец Толстого — поручик А. В. Пистолькорс. Толстой отметил в дневнике: «Пистолькорс ругает меня за Розенкранца; это сильно огорчило меня и охладило к литературным занятиям...» (т. 46, с. 211). Наконец, образ генерала в рассказе был столь схож с командующим левого фланга Кавказской армии кн. А. И. Барятинским, что Толстой беспокоился, «что Барятинский узнает себя в рассказе «Набег» (т. 46, с. 160).

Посылая рассказ Некрасову, Толстой писал ему 26 декабря 1852 года: «...Не выпускайте, не прибавляйте и, главное, не переменяйте в нем ничего... Ежели, против чаяния, цензура вымарает в этом рассказе слишком много, то, пожалуйста, не печатайте его в изувеченном виде, а возвратите мне» (т. 59, с. 221). Редакция «Современника» приняла все меры, чтобы предохранить рассказ от цензурных искажений.

При печатании в журнале рассказ тем не менее подвергся значительным цензурным купюрам. По этому поводу Некрасов писал Толстому 6 апреля 1853 года:

«Вероятно, Вы недовольны появлением Вашего рассказа в печати. Признаюсь, я долго думал над измаранными его корректурами — и, наконец, решился напечатать, сознавая по убеждению, что хотя он и много испорчен, но в нем осталось еще много хорошего. Это признают и другие... Пожалуйста, не падайте духом от этих неприятностей, общих всем нашим даровитым литераторам.

Не шутя, Ваш рассказ еще и теперь очень жив и грациозен, а был он чрезвычайно хорош» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X. М., 1952, с. 190—191).

Толстой был огорчен цензурными искажениями рассказа. По его мнению, «Набег» «так и пропал от цензуры» (т. 59, с. 236).

В 1856 году Толстой издал сборник «Военных рассказов», в который включил «Набег», «Рубку леса», севастопольский цикл. Писателю удалось восстановить в тексте «Набега» отдельные цензурные купюры, а также дополнить рассказ. По тексту этого издания, воспроизведенному в Полном собрании сочинений Толстого, рассказ публикуется в данном томе.

Рассказ «Набег», как и последующие кавказские рассказы, был оценен в печати весьма высоко. Критик «Отечественных записок» С. С. Дудышкин отметил, что «Набег» был «истинным и счастливым нововведением в описании военных сцен...» («Отечественные записки», 1855, № 12, отд. IV, с. 75).

В рецензии на повесть «Утро помещика» Чернышевский, имея в виду «Набег» и позднейшие военные рассказы Толстого, отметил, что молодой писатель превосходно знает военную среду и умеет воспроизводить не только быт простых людей, но и их «взгляд на вещи» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 682).

Стр. 7. *В Дарги ходили...* — Дарго — сильно укрепленный чеченский аул на правой стороне реки Акая. В 1840 г., после разгрома русскими войсками аула Ахульго, Шамиль перенес сюда свою резиденцию. В сражении близ Дарго на речке Валерик в 1840 году участвовал «тенгинского полка поручик» М. Ю. Лермонтов. Упоминаемый солдатами в «Набеге» поход на Дарго состоялся в 1845 г. по приказу главнокомандующего М. С. Воронцова и окончился, как и ряд предыдущих походов, неудачей.

Стр. 8. *...прочтите Михайловского-Данилевского...* — Михайловский-Данилевский А. И. (1790—1848) — военный писатель и историк, автор «Описания Отечественной войны 1812 года».

Стр. 14. *Мулла-Нуров и т. п.* — Мулла-Нур — герой одноименной повести А. А. Бестужева-Марлинского (1797—1837).

Стр. 17. *...финала из «Лючии».* — «Лючия ди Ламермур» — опера итальянского композитора Г. Доницетти (1797—1848).

Стр. 20. *Пальник* — палка с железными щипцами на конце. При помощи ее вставлялся в старинные орудия фитиль.

Стр. 24. *...на всем марш-марше круто останавливает лошадь.* — Марш-марш — кавалерийское выражение, обозначающее самую быструю езду.

З а п и с к и м а р к ё р а. — Опубликовано впервые в журнале «Современник», 1855, № 1, за подписью «Л. Н. Т.».

Рассказ написан на Кавказе в течение четырех дней — с 13 по 16 сентября 1853 года. Необычайную для него легкость и быстроту написания Толстой объяснил удивительным порывом вдохновения, озарившим его в эти дни. «Пишу с таким увлечением, что мне тяжело даже: сердце замирает» (запись в дневнике от 14 сентября 1853 г. — т. 46, с. 175). И далее: «Мне кажется, что теперь только я пишу по вдохновению, от этого хорошо» (т а м ж е, запись от 13 сентября 1853 г.).

Рассказ в известной мере автобиографичен. Это устанавливается по черновым рукописям, где содержатся упоминания о некоторых обстоятельствах личной жизни Толстого и его семьи. Рассуждения героя повести схожи с отдельными дневниковыми записями Толстого.

Посылая рассказ в «Современник», Толстой писал Некрасову: «Посылаю небольшую статью для напечатания в Вашем журнале. Я дорожу ею более, чем *Детством* и *Набегом,* поэтому в третий раз повторяю условие, которое я полагаю для напечатания, — оставление ее в совершенно том виде, в котором она есть... Ежели бы цензура сделала снова вырезки, то, ради бога, возвратите мне статью или, по крайней мере, напишите мне прежде печатания» (т. 59, с. 246).

Некрасов немедленно ответил Толстому, но письмо до него не дошло, как не сохранилось и письмо Толстого к Некрасову от 14 января 1854 года с запросом о «Записках маркёра». Отвечая на это второе письмо, Некрасов 6 февраля 1854 года повторил свои замечания о рассказе. «Записки маркёра»,— писал он,— очень хороши по мысли и очень слабы по выполнению; этому виной избранная Вами форма; язык Вашего маркёра не имеет ничего характерного — это есть рутинный язык, тысячу раз употреблявшийся в наших повестях, когда автор выводит лицо из простого звания; избрав эту форму, Вы без всякой нужды только стеснили себя: рассказ вышел груб, и лучшие вещи в нем пропали» (Н. А. Н е к р а с о в. Полн собр. соч. и писем, т. X, с. 201).

По поводу возможных цензурных осложнений Некрасов писал: «Если вы заглядываете в «Современник» (начиная с XI книги включительно), то можете заметить, что теперь Ваши произведения не подвергнуты таким изменениям по цензуре, каким подвергались прежде» (т а м ж е, с. 202). При опубликовании в «Современнике» рассказ все же подвергся цензурным искажениям. Они устанавливаются при сличении его с текстом, появившимся через год в сборнике «Для легкого чтения». Цензурные сокращения главным образом коснулись тех мест, где устами маркёра

осуждается поведение господ. В настоящем издании рассказ печатается по этому последнему авторскому тексту, воспроизведенному в Полном собрании сочинений Толстого.

Рассказ имел успех. По мнению Чернышевского, в нем представлена «история падения души, созданной с благородным направлением». Эту историю, утверждал он, «мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант, сохранивший первобытную чистоту (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, с. 428). Позднее и Н. А. Некрасов, перечитав рассказ, переменил свое мнение и признал, что рассказ «очень хорош и в том виде, как написан» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, с. 217).

В печати рассказ был встречен большими похвалами. Автор статьи в «Петербургских ведомостях» писал: «Маркёр рассказывает удивительно хорошо, ни одним словом не изменяя своим понятиям и своему языку... Все сцены и разговоры небольшой повести ведены превосходно» («С.-Петербургские ведомости», 1855, № 45 от 28 февраля). По мнению рецензента «Отечественных записок», рассказ «проникнут жизнью и правдою». «Если г. Л. Н. Т.,—писал он,— будет продолжать так, как начал, то русская литература приобретет в нем писателя с дарованием истинно замечательным. Да и теперь мы вправе желать не того, чтоб он писал лучше, а только того, чтоб он писал больше. Он обязан пользоваться талантом, которым одарен» («Отечественные записки», 1855, № 2, отд. IV, с. 119—120).

Рубка леса. — Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1855, № 9, за подписью «Л. Н. Т.» и с посвящением И. С. Тургеневу.

Рассказ был начат 25 июня 1853 года на Кавказе и окончен лишь через два года — 18 июня 1855 года в Севастополе.

В процессе работы автор отказался от первоначально принятой и связывающей его формы дневника (ранние названия: «Дневник кавказского офицера», «Записки фейерверкера», «Рассказ юнкера»).

В основе сюжета «Рубки леса», как и «Набега», лежат эпизоды войны с горцами, в которой Толстой участвовал, служа на Кавказе. Прототипами рассказа являются солдаты и офицеры — сослуживцы писателя. Некоторые из них, особенно солдаты Жданов, Чикин, Спевак (в рассказе — Веленчук), многократно упоминаются в дневниках Толстого.

Посылая рассказ в «Современник», Толстой писал И. И. Панаеву, временно заменявшему Некрасова на посту редактора:

«Ежели Тургенев в Петербурге, то спросите у него позволения на статье Рассказ Юнкера надписать: посвящается И. Тургеневу.

Эта мысль пришла мне потому, что, когда я перечел статью, я нашел в ней много невольного подражания его рассказам» (т. 59, с. 316). И через день — ему же:

«Я очень боюсь, чтобы Вы не приняли небрежность переписки за небрежность сочинения, напротив, ни один рассказ мне не стоил столько труда и времени...» (т. 59, с. 319). Снова беспокоясь о возможном вмешательстве цензуры, Толстой утверждал, что любые купюры «уничтожили бы весь смысл рассказа» (там же).

В отличие от «Набега», рассказ «Рубка леса» менее пострадал от цензуры, хотя, по словам Некрасова, и из него «вылетело несколько драгоценных черт» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, с. 241). В отдельное издание «Военных рассказов графа Л. Н. Толстого» (1856) автор внес исправления. По тексту этого издания, воспроизведенному в Полном собрании сочинений, рассказ и печатается в настоящем томе.

Рассказ «Рубка леса» вызвал в печати одобрительные отклики. Н. А. Некрасов в статье «Заметки о журналах за сентябрь 1855 года» писал: «Подобно г. Тургеневу, который девять лет тому назад начал свои очерки народных характеров и постепенно поставил перед нами ряд оригинальных, живых и действительных лиц, о которых мы до него не имели понятия, г. Л. Н. Т. в своей «Рубке леса» представляет нам несколько типов русских солдат, типов, которые могут служить ключом к уразумению духа, понятий, привычек и вообще составных элементов военного сословия. Еще несколько таких очерков, и военный быт перестанет быть темною загадкою. Мастерство рассказа, полное знание изображаемого быта, глубокая истина в понимании и представлении характеров, замечания, исполненные тонкого и проницательного ума,— вот достоинства рассказа г. Л. Н. Т.» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. IX, с. 332). С. С. Дудышкин писал в «Отечественных записках» (1855, № 12, отд. IV, с. 82—83), что находит в рассказе «Рубка леса» столько же «истинной поэзии», сколько и в «Детстве» и «Отрочестве», и добавлял: «За один разговор солдат у огня, ночью, после смерти Веленчука... мы готовы отдать иной многотомный роман».

Тургенев был растроган посвящением ему рассказа и писал тогда еще не знакомому с ним Толстому: «Благодарю Вас душевно за посвящение мне Вашей «Рубки леса» — ничего еще, во всей моей литературной карьере, так не польстило моему самолюбию» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 2, с. 316).

Стр. 51. *Фейерверкер* — артиллерийский унтер-офицер.

Стр. 61. *...нечастые выстрелы наших штуцеров...* — Штуцеры (стуцеры) — первоначальное название нарезных ружей.

Стр. 62. *Единорог* — пушка с изображением фантастического животного — единорога.

...граната была распудрена — то есть зажигательная трубка была наполнена порохом, таким образом граната была приготовлена для заряда орудия.

Стр. 72. *...которое утвердили Пассек, Слепцов...* — Пассек Д. В. (1808—1845) и Слепцов Н. П. (1815—1851) — военные деятели, участники кавказских войн.

Стр. 76. *...помнишь, что Ермолов сказал...* — Ермолов А. П. (1779—1861) — командующий отдельным кавказским корпусом в 1817—1827 гг.

Стр. 81. *...при осаде Гергебиля...* — Гергебиль — сильно укрепленный аул в северном Дагестане.

Стр. 83. *...под Индейской горой...* — Имеется в виду Андийский хребет, отрог главного Кавказского хребта. Здесь в горах находился аул Дарго, резиденция Шамиля (см. прим. на стр. 382).

Севастополь в декабре месяце. — Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1855, № 6, за подписью «Л. Н. Т.».

Рассказ, носивший первоначально заглавие «Севастополь днем и ночью», должен был явиться началом целой серии описаний Севастополя, предназначавшихся автором для задуманного им журнала «Военный листок». Рассказ написан в Севастополе в марте — апреле 1855 года.

При опубликовании рассказ подвергся суровым цензурным изъятиям. Из него были вымараны все места, которые обличали беспечность и нераспорядительность севастопольского начальства. В отдельное издание «Военных рассказов графа Л. Н. Толстого» (1856) рассказ вошел в исправленном виде. По тексту этого сборника, воспроизведенному в Полном собрании сочинений, рассказ печатается в настоящем издании.

В литературных кругах рассказ был встречен восторженно. Еще 3 мая 1855 года, в ожидании присылки «статей» Толстого, И. И. Панаев писал ему: «Ваше участие в журнале моем так важно, что его будущее связано некоторым образом с Вашими трудами.— Не лишайте же их «Современника» и еще более русскую публику, которая Вас так любит и ценит» (цит. по т. 59, с. 317). Получив рассказ, Панаев 19 мая снова пишет Толстому: «Умоляю Вас присылать в «Современник» статьи в роде присланной. Они будут читаться с жадностью. О продолжении такого рода статей я объявил уже в примечании к Вашей статье». Свое письмо Панаев заканчивает словами: «Мы все, интересующиеся сколько-нибудь

русской литературой, молимся за Вас, да спасет Вас бог!.. Пожалуйста, Лев Николаевич, не забывайте русскую литературу и «Современника», если в Севастополе можно теперь о чем-нибудь помнить» (там же, с. 318).

Н. А. Некрасов высоко оценил художественное мастерство рассказа. «Статья эта, — писал он Толстому 15 июня 1855 года,— написана мастерски, интерес ее для русского общества не подлежит сомнению,— успех она имела огромный. Еще до выхода VI кн. «Современника» я имел ее здесь в корректуре, и она была читана Грановским при мне в довольно большом обществе — впечатление произвела сильное. Пожалуйста, давайте нам побольше таких статей!» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, с. 221—222).

Тургенев писал Панаеву: «Статья Толстого о Севастополе — чудо! — Я прослезился, читая ее, и кричал: ура!.. Статья Толстого произвела здесь фурор всеобщий» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 2, с. 297, 298). И. С. Аксаков писал своим родителям 25 августа 1855 года: «Прочел я в «Современнике» Толстого «Севастополь в декабре месяце». Очень хорошая вещь, после которой хочется в Севастополь — кажется, что не струсишь и храбриться не станешь. Какой тонкий и в то же время теплый анализ в сочинениях этого Толстого» («И. С. Аксаков в его письмах», т. 3. М., 1892, с. 154).

«Отечественные записки» отметили как большое достижение молодого автора, его умение достигать большой художественный эффект скупыми средствами. Автор «не сказал ни одной восторженной фразы, и заставил вас восторгаться; описание его не изобилует восклицательными знаками и, однако ж, вы удивляетесь на каждом шагу, удивляетесь всем, начиная от матроса и солдата и кончая командующими генералами» («Отечественные записки», 1855, № 7, отд. IV, с. 65). Аполлон Григорьев в «Москвитянине» отметил «суровую правду», как наиболее характерную черту творчества Толстого («Москвитянин», 1855, № 15-16, с. 203).

Стр. 86. *На Северной...* — Большая Севастопольская бухта делила Севастополь на Северную и Южную стороны. На Северной стороне были расположены военные укрепления.

Стр. 87. *...на пенящуюся белую линию бона...* — Бон — заграждение из плавучих бревен или плотов, защищающих вход в гавань от неприятельских судов.

Стр. 88. *Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика...*— Фурштатский солдат — солдат из обозной части.

Стр. 93. *...про дело двадцать четвертого...* — 24 октября 1854 г. произошло Инкерманское сражение. В результате преступной

нераспорядительности генерала Данненберга русские войска потерпели тяжелое поражение.

...про альминское дело.— Кровопролитное сражение на реке Альме 8 сентября 1854 г. — первое столкновение русских войск с союзниками.

Стр. 96. *...про бомбардированье пятого числа...*— Первая бомбардировка Севастополя союзными войсками 5 октября 1854 г.

Стр. 99. *Траверсы* — земляные валы, воздвигаемые перед окопами для защиты их от бомб и пуль.

Севастополь в мае. — Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1855, № 9, под заглавием «Ночь весною 1855 года в Севастополе», без подписи автора.

Рассказ был задуман одновременно с первым севастопольским рассказом, но написан позднее — в июне 1855 года. Автор работал над ним с большим подъемом и написал в течение восьми дней — с 19 по 26 июня.

Основные персонажи рассказа имели реальных прототипов. Это были офицеры штаба Южной армии, расквартированной в Инкермане. В частности, прототипом для образа Калугина послужил Толстому его знакомый штабной офицер Н. Я. Ростовцев.

Направляя рассказ в «Современник», Толстой писал И. И. Панаеву: «Посылаю Вам Севастопольскую статью. Хотя я убежден, что она без сравненья лучше первой, она не понравится, в этом я уверен. И даже боюсь, как бы ее совсем не пропустили. Насчет того, чтобы ее не изуродовали, как Вы сами увидите, я принял всевозможные предосторожности. Во всех местах, которые показались мне опасными, я сделал варианты с такого рода знаками (в), или скобками означил, что выключить в том случае, ежели не понравятся цензуре. Ежели же сверх того, что я отметил, стали бы вымарывать что-нибудь, решительно не печатайте. В противном случае это очень огорчит меня» (т. 59, с. 323—324).

В своем ответе Толстому Панаев согласился, что новый рассказ «несравненно лучше» первого, но предвидел, что именно поэтому его ожидают большие цензурные мытарства. «...Героем его *правда,* а правда колет глаза, голой правды не любят, к правде без украшений не привыкли» (цит. по т. 59, с. 328). Тяжелую судьбу рассказа предвидел и Некрасов. В письме к Тургеневу от 18 августа 1855 года он писал: «Толстой прислал статью о Севастополе — но эта статья исполнена такой трезвой и глубокой правды, что нечего и думать ее печатать...» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, с. 236).

В предвидении цензурных изъятий И. И. Панаев сделал ряд сокращений, некоторые из которых были намечены самим автором, а также вписал целый абзац, который, по мысли редактора «Современника», должен был усыпить бдительность цензуры: «Но не мы начали эту войну, не мы вызвали это страшное кровопролитие. Мы защищаем только родной кров, родную землю и будем защищать ее до последней капли крови».

В этом виде рассказ был доставлен цензору В. Бекетову, который после нескольких новых изъятий разрешил его к печати.

Однако на этом дело не кончилось. Корректуру рассказа затребовал председатель С.-Петербургского цензурного комитета М. Н. Мусин-Пушкин. Рассказ вызвал его возмущение. В деле цензурного комитета (Ленинградское отделение Государственного Исторического архива СССР) сохранилась корректура, на которой карандашом Мусина-Пушкина были вычеркнуты десятки фраз, а вместе с ними и целая глава. На обороте первого листа Мусин-Пушкин наложил резолюцию: «Читая эту статью, я удивлялся, что редактор решился статью представить, а г. цензор — дозволить к напечатанию. Эту статью за насмешки над нашими храбрыми офицерами, храбрыми защитниками Севастополя запретить и оставить корректурные листы при деле».

Редакции «Современника» в конце концов удалось добиться отмены этого решения. Но для того, чтобы протолкнуть рассказ через цензуру, Панаеву пришлось вычеркнуть более трети первоначального текста, а в оставшуюся часть внести большое количество «смягчающих» исправлений. Только в таком виде цензура согласилась пропустить рассказ. Редакции ничего не оставалось сделать, как снять подпись автора.

Н. А. Некрасов писал по этому поводу Толстому:

«Возмутительное безобразие, в которое приведена Ваша статья, испортило во мне последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства. Труд-то Ваш, конечно, не пропадет... он всегда будет свидетельствовать о силе, сохранившей способность к такой глубокой и трезвой правде, среди обстоятельств, в которых не всякий бы сохранил ее» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, с. 240).

Самого Толстого цензурная экзекуция над его произведением, такое явное насилие над волей и мыслью художника заставила задуматься о его будущей судьбе, о цели писательского труда. 17 сентября 1855 года он записал в дневнике: «Вчера получил известие, что «Ночь» изуродована и напечатана. Я, кажется, сильно на примете у *синих*. За свои статьи. Желаю, впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким

уж я никак не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее — без мысли и, главное, без цели» (т. 47, с. 60).

Готовя в 1856 году отдельное издание «Военных рассказов», Толстой частично восстановил прежний текст, сделав попутно несколько стилистических исправлений. Скованный цензурными условиями, он не мог полностью «реставрировать» первоначальный текст и в ряде случаев принужден был оставить «панаевские» варианты, лишь отредактировав их. Поэтому текст «Военных рассказов» нельзя рассматривать как канонический.

В настоящем издании текст печатается по Собранию сочинений в 20-ти томах, в основу которого положен текст корректуры, представленной редакцией «Современника» в цензурный комитет. Все цензурные купюры восстановлены по черновой рукописи. Учтены также исправления, внесенные писателем в текст «Военных рассказов».

Несмотря на цензурные искажения, рассказ произвел на читателей большое впечатление. Газета «С.-Петербургские ведомости» писала, что своими военными рассказами Толстой «становится на ряду лучших наших писателей верностью, теплотою, рельефностью своих изображений, типическим созданием лиц и характеров» («С.-Петербургские ведомости», 1856, № 21, от 26 января). Критик «Отечественных записок» отметил, что рассказ «полон жизни, чувства и поэзии» («Отечественные записки», 1855, № 10, отд. IV, с. 111).

Особенно высоко оценили рассказ Толстого литераторы. Тургенев, имея в виду обличительную силу рассказа, воскликнул: «Страшная вещь!» А. Ф. Писемский писал Островскому 26 июля 1855 года: «Статья написана до такой степени безжалостно честно, что тяжело становится читать» (А. Ф. Писемский. Письма, Изд-во АН СССР, 1936, с. 82). Панаев писал Толстому 28 августа 1855 года: «Все находят этот рассказ действительно выше первого по тонкому и глубокому анализу внутренних движений и ощущений в людях, у которых беспрестанно смерть на носу; по той верности, с которою схвачены типы армейских офицеров, столкновения их с аристократами и взаимные их отношения друг к другу,— словом, все превосходно, все очерчено мастерски; но все до такой степени облито горечью и злостью, все так резко и ядовито, беспощадно и безотрадно, что в настоящую минуту, когда место действия рассказа — чуть не святыня, особенно для людей, которые в отдалении от этого места,— рассказ мог бы произвести даже весьма неприятное впечатление» (цит. по т. 59, с. 330—331). Однако, как мы видели, рассказ был понят правильно и воспринят с большим энтузиазмом.

Стр. 103. *...приносят нам «Инвалид»...* — «Русский инвалид» — официозная газета, в которой публиковались военные сообщения.

...на эс в беседку... — Эс — скамейка в форме латинской буквы S, на которой сидят, обернувшись друг к другу.

Стр. 107. *...бесконечная повесть «Снобсов» и «Тщеславия».* — Имеются в виду книги английского романиста В. Теккерея (1811—1863) «Ярмарка тщеславия» и «Книга снобсов».

Стр. 110. *Ложемент* — пехотный окоп для стрельбы.

Стр. 115. *Люнет* — укрепление, открытое с одной стороны.

Стр. 119. *...сикурсу не подают.* — *Франц.* secours — резервы, подкрепление.

Стр. 125. *Банкет* — приступок у крепостного вала или бруствера для стрельбы из ружей.

Стр. 129. *Это была бомба с элевационного станка...* — то есть с орудийного станка, приспособленного для стрельбы под большими углами возвышения.

Стр. 130. *«Splendeur et misères des courtisanes»...* — «Блеск и нищета куртизанок», роман О. Бальзака (1799—1850).

Севастополь в августе 1855 года. — Опубликовано в журнале «Современник», 1856, № 1, впервые с полной подписью автора «Граф Л. Н. Толстой».

Рассказ начат в Крыму 19 сентября и закончен в Петербурге 27 декабря 1855 года.

Рассказ «Севастополь в августе 1855 года» почти документально воспроизводит обстоятельства последнего штурма Севастополя и даже точно обозначает воинские подразделения и место их боевых действий. Несомненно, что и за главными действующими лицами рассказа — братьями Козельцовыми — стоят реальные лица, но они до сих пор достоверно не установлены.

Рассказ от цензуры почти не пострадал. Но, подготавливая к печати отдельный сборник своих военных рассказов (1856), Толстой внес в текст рассказа ряд важных исправлений, а также дополнил его новой концовкой. Вся эта авторская работа учтена в Собрании сочинений в 20-ти томах, по которому рассказ и печатается в настоящем издании.

Критика оценила рассказ как лучшее в русской литературе повествование о последних днях героической обороны Севастополя. «Типы солдат,— утверждали «Петербургские ведомости» (1856, № 52 от 6 марта), — очерчены также художнически... их разговоры и шутки — все это дышит истинною жизнью, неподдельною натурою». Н. А. Некрасов писал в «Современнике», что

автор рассказа «наделен талантом необыкновенным»: «меткая, своеобразная наблюдательность, глубокое проникновение в сущность вещей и характеров, строгая, ни перед чем не отступающая правда, избыток мимолетных заметок, сверкающих умом и удивляющих зоркостью глаза, богатство поэзии... и, наконец, сила — сила, всюду разлитая, присутствие которой слышится в каждой строке, в каждом небрежно оброненном слове...» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. IX, с. 372—373).

Стр. 153. *...он по команде получил запрос...* — Военные могли подавать всякого рода заявления только своему непосредственному начальнику, который передавал их своему начальнику и так далее — до той ступеньки должностной лестницы, от которой зависело разрешение данного вопроса; ответ шел тем же порядком.

Стр. 155. *...здесь Тотлебен...* — Тотлебен Э. И. (1818—1884) — руководитель строительства оборонительных укреплений в Севастополе.

Стр. 159. *...сам Пелиссье.* — Пелисье Жан-Жак (1794—1864) — командующий французских войск во время Крымской войны.

Горчаков придет... — Горчаков М. Д. (1793—1861) — главнокомандующий Крымской армии.

Стр. 165. *...амунишные получил...* — то есть получил амуничные деньги, выдаваемые солдатам на ремонт казенной одежды.

Стр. 169. *...вот и полный выслужил* — то есть выслужил полный пенсион, полагавшийся инвалидам.

Стр. 179. *...бьет из-за шанцов...* — Шанцы — окопы для прикрытия от огня противника.

Стр. 201. *Хандшпуг* (гандшпуг) — деревянный или железный рычаг, употребляемый в артиллерии для передвижения орудия при наводке.

Стр. 204. *...у флотских, только что выбивших закладки в кораблях...* — Закладки в кораблях — затычки, закрывающие специально сделанные на случай необходимости потопить корабль отверстия в днище корабля.

Метель. — Опубликовано впервые в журнале «Современник», 1856, № 3.

Замысел рассказа возник у Толстого 24 января 1854 года, когда, возвращаясь с Кавказа, он попал в Донской степи в снежную метель и, по его словам, «плутал целую ночь». Однако к работе над рассказом он приступил лишь через два года, в январе 1856 года, и закончил его 12 февраля 1856 года в Петербурге.

И. С. Тургенев в письме к С. Т. Аксакову от 27 февраля 1856 года назвал рассказ «превосходным» (Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 2, с. 340). В ответном письме С. Т. Аксаков писал: «Скажите, пожалуйста, графу Толстому, что «Метель» — превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих: не один раз испытал я ужас зимних буранов и однажды потому только остался жив, что попал на стог сена и в нем ночевал» («Русское обозрение», 1894, № 12, с. 583). А. В. Сухово-Кобылин по прочтении рассказа записал в дневнике: «Метель» Толстого — превосходная вещь. Художественная живость типов» («Литературное наследство», № 51-52, 1949, с. 519). А. И. Герцен считал, что рассказ «Метель» — это «чудо» (Письмо к М. К. Рейхель от 18 июня 1856 г. — Собр. соч. в 30 томах, т. 26. М., 1962, с. 11).

Рассказ печатается по тексту «Современника», воспроизведенному в Полном собрании сочинений Толстого.

Два гусара. — Опубликовано впервые в журнале «Современник», 1856, № 5, с посвящением сестре писателя — М. Н. Толстой.

Повесть написана в Петербурге в течение одного месяца — с 12 марта по 11 апреля 1856 года. Первоначально она носила заглавие «Отец и сын», но затем, по совету Некрасова, была переименована в «Два гусара».

Еще в рукописи повесть была прочитана автором Тургеневу, который, по словам Толстого, «хлопал себя по ляжке и говорил, что прелестно» (Письмо Толстого к сестре от 14 апреля 1856 г. — т. 61, с. 372). Н. А. Некрасов в эти же дни писал В. П. Боткину: «Толстой написал *превосходную* повесть «Два гусара», она уже у меня и будет в 5 № «Современника». Милый Толстой! Как журналист я ему обязан в последнее время самыми приятными минутами...» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, с. 272).

По выходе в свет, повесть «Два гусара» получила новые похвалы. Н. Г. Чернышевский расценил ее как «шаг вперед» в творчестве писателя и с одобрением отметил сцену, в которой изображена «чудная фигура девушки, сидящей у окна ночью» и томящейся «предчувствием любви» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. 3, с. 430). Н. А. Некрасов писал Тургеневу 24 мая 1856 года: «Скажи Толстому, что его последняя повесть нравится,— мы с Ковалевским слышали много хороших о ней отзывов...» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. X, с. 275).

Стр. 232. *...Жомини да Жомини, а об водке ни полслова...* — Эпиграф взят из стихотворения «Песня старого гусара» известного

партизана, поэта Дениса Давыдова. Жомини Анри (1779—1869) — французский стратег и военный писатель.

...мартинисты... — одно из течений масонства, получившего название по имени французского философа — мистика Сен Мартена (1743—1803) и его учителя Мартинеса Пасквалиса.

...тугендбунда... — От *нем.* Tugendbund — буквально «союз доблести» — патриотического общества, созданного в 1808 году в Кенигсберге в целях возрождения национального самосознания в период французской оккупации Германии. Тугендбунд послужил образцом для некоторых тайных обществ в России.

...во времена Милорадовичей... — Милорадович М. А. (1771—1825) — генерал, участник войны 1812 г.

Стр. 253. *...мотивы из «Восстания в серале»* — балета на музыку Теодора Лабарра (1805—1870).

Из кавказских воспоминаний. Разжалованный. — Опубликовано впервые в журнале «Библиотека для чтения», 1856, № 12, под заглавием «Встреча в отряде с московским знакомым. Из кавказских записок князя Нехлюдова».

Рассказ был задуман еще в 1853 году на Кавказе, но написан в Петербурге в ноябре 1856 года. В основу его легли наблюдения Толстого над разжалованными из дворян в рядовые, которых он встречал на Кавказе. Таковыми были его знакомый по Москве А. М. Стасюлевич, лишенный дворянского звания за «неодобрительное поведение» при исполнении обязанности караульного офицера, и два петрашевца — А. И. Европеус и Н. С. Кашкин, разжалованные за участие в тайном революционном кружке.

Цензура отнеслась к рассказу с большой строгостью. «Разжалованного» не пропускают,— отметил Толстой в дневнике 2 декабря 1856 года (т. 47, с. 103). Цензура потребовала: 1-е: переменить заглавие, 2-е: смягчить резкие выражения об офицерах и вообще кавказцах, 3-е: показать от лица автора, что он возмущен был злостными отзывами Гуськова о его товарищах и храбрых воинах» (Из письма А. В. Дружинина к Толстому — цит. по т. 3, с. 313). Автор был вынужден в рассказе кое-что смягчить, но это не удовлетворило цензора, который, в свою очередь, также вычеркнул ряд мест. Выброшенным, в частности, оказалось следующее рассуждение Гуськова: «Все дурное я принимал к сердцу, бесчестность, несправедливость, порок были мне отвратительны, и я прямо говорил свое мнение, и говорил неосторожно, слишком горячо и смело». Выброшен был и заголовок «Разжалованный». Позднее Толстой не восстановил выброшенных мест; при его жизни рассказ

печатался по тексту первой публикации. По этому тексту рассказ печатается и в настоящем издании.

В литературных кругах «Разжалованный» успеха не имел. Как писал В. П. Боткин И. С. Тургеневу, рассказ «прошел почти незаметным» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка». М.—Л., 1930, с. 112). Лишь анонимный рецензент журнала «Сын отечества» (1857, № 2) похвалил автора за «мастерски обрисованное» лицо главного героя и за правдивое изображение «других типов кавказцев».

Стр. 292. *...монетов тысячу спустил...* — Монет — рубль серебром.

...что ему Воронцов подарил... — Воронцов М. С. (1782—1856) — наместник Кавказа.

Стр. 293. *...не выиграл ни абаза.* — Абаз — восточная серебряная монета.

Утро помещика. — Опубликовано впервые в журнале «Отечественные записки», 1856, № 12.

Повесть «Утро помещика» отдаленно связана с неосуществленным намерением Толстого описать четвертую «эпоху жизни» — «молодость» — героя своей ранней трилогии Николеньки Иртеньева, и непосредственно родилась из другого неосуществленного замысла — «Романа русского помещика».

18 июля 1852 года Толстой записал в дневнике: «Обдумываю план Русского помещичьего романа с целью» (т. 46, с. 135). Эта запись знаменует начало работы над произведением, «целью» которого было изображение помещика, посвятившего себя улучшению положения крепостного мужика.

В течение лета 1852 года Толстой, как об этом свидетельствуют его дневники, усиленно обдумывал план произведения, а с сентября начал писать. В это время писателем владеет и другой большой литературный замысел — «четыре эпохи жизни», который впоследствии будет реализован в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Разграничение между обоими произведениями намечается такое:

«4 Эпохи жизни составят *мой* роман до Тифлиса. Я могу писать про него, потому что он далек от меня. И как роман человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен, хотя не догматический. Роман же Русского помещика будет догматический» (Запись в дневнике от 30 ноября 1852 г. — Т, 46, с. 150—151).

По мере того как создаются первые главы «Романа русского помещика» и постепенно вырисовываются контуры всего произведения, его значение в глазах автора возрастает. 11 декабря 1852 года Толстой записывает в дневнике:

«Решительно совестно мне заниматься такими глупостями, как мои рассказы, когда у меня начата такая чудная вещь, как *роман Помещика.* Зачем деньги, дурацкая литературная известность. Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полезную вещь. За такой работой никогда не устанешь. А когда кончу — только была бы жизнь и добродетель, — дело найдется» (т. 46, с. 152).

В процессе дальнейшей работы, продолжающейся с перерывами в течение всего следующего года, многократно уточняется главная идея романа. В 1853 году в «Предисловии не для читателя, а для автора» она формулируется так:

«Главное основное чувство, которое будет руководить меня во всем этом романе,— любовь к деревенской помещичьей жизни. Сцены столичные, губернские и кавказские все должны быть проникнуты этим чувством — тоской по этой жизни. Но прелесть деревенской жизни, которую я хочу описать, состоит не в спокойствии, не в идиллических красотах, но в прямой цели, которую она представляет,— посвятить жизнь свою *добру,*— и в простоте, *ясности* ее» (т. 4, с. 363).

Отделка романа продолжается и в начале 1854 года, когда заканчивается вторая редакция первых его глав, но затем в работе наступает длительный перерыв в два года и десять месяцев. Этот перерыв связан как с обстоятельствами жизни писателя (отъездом в Дунайскую армию, затем в Севастополь), так и с трудностями, с которыми Толстой встретился при попытке осуществить свой «догматический» замысел (об этом см. выше).

Через год после приезда из Севастополя в Петербург, в ноябре 1856 года, писатель снова возвращается к работе над своей незаконченной рукописью, однако с этого времени он уже работает не над продолжением романа, а над повестью «Утро помещика», которую создает, частично используя и перерабатывая ранее написанные главы. Работа эта завершается в декабре 1856 года, когда автор вносит в корректуры «Отечественных записок» свои последние исправления.

Цензурным искажениям повесть не подвергалась.

«Утро помещика» было встречено дворянско-либеральной критикой весьма сдержанно. П. В. Анненков нашел ее «посредственной». Такого же мнения был и В. П. Боткин, писавший Тургеневу, что «Утро помещика» «впечатления не произвело, хотя некоторые лица мужиков очень хороши» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев,

Неизданная переписка». М.—Л., 1930, с. 112). По-иному оценил повесть Н. Г. Чернышевский. Он посвятил ей значительную часть своих «Заметок о журналах» в 1-м номере «Современника» за 1857 год и отозвался о ней с большой похвалой.

Новая повесть Толстого, утверждал Чернышевский, содержит «очень много страниц, дышащих правдой». «...Если бы мы захотели указать все удачные лица мужиков, все правдивые и поэтические страницы, нам пришлось бы представить слишком длинный перечень, потому что большая часть подробностей в «Утре помещика» прекрасны» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 685).

По мнению критика, «Утро помещика» свидетельствует о значительном расширении жизненной среды в произведениях молодого Толстого, о новых гранях его таланта. «В новой сфере его талант обнаружил столько же наблюдательности и объективности, как в «Рубке леса». В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата» (там же, с. 682). Удачным подбором выдержек из повести Чернышевский подчеркивает ее основную мысль, состоящую в непримиримости интересов крестьян и господ.

Эту идею чутко уловил и И. С. Тургенев, писавший А. В. Дружинину 13 января 1857 года: «Главное нравственное впечатление этого рассказа (не говорю о художественном) состоит в том, что пока будет существовать крепостное состояние, нет возможности сближения и понимания обеих сторон, несмотря на самую бескорыстную и честную готовность сближения — и это впечатление хорошо и верно» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 3, с. 85). Тургенев находил, что «мастерство языка, рассказа, характеристики великое» (там же).

Стр. 315. *...пробежав главу «Maison rustique».*— «Maison rustique du XIX siècle» («Ферма XIX столетия») — трактат французского ученого Ж.-А. Биксио (1808—1865), вышедший в свет в пяти томах в 1837 г. и затем несколько раз переиздававшийся.

Стр. 316. *...виднелось одно... волоковое оконце с полуоторванным ставнем, и другое, волчье, заткнутое хлопком.* — Волоковое окно — для выхода дыма в курных избах (избах без труб); волчье окно — небольшое окно, выходящее не на улицу; хлопок — охлопье, пакля.

Застреха — продольный брус в крыше крестьянской избы, в который втыкаются кровельные доски.

Стр. 319. *Накатина* — бревно, горбыль; накатывается на верхний потолок, засыпанный землей.

Стр. 320. *Герардовские избы* — избы, построенные по типу, изобретенному в свое время сельским хозяином А. И. Герардом (ум. в 1830 г.).

Стр. 327. *...столовый запас тоже сбирать больше стали...* — Столовый запас — податная повинность крестьян доставлять корм для скота помещика.

Стр. 346. *Осик* — огороженный участок земли, где стоят улья.

Стр. 350. *Вот нынче она с калошкой идет...* — Калошка — цветень, приносимый пчелами на ножках.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Лев Николаевич
Толстой

Собрание сочинений
том 2

Редактор
Г. Колосова

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
О. Ярославцева

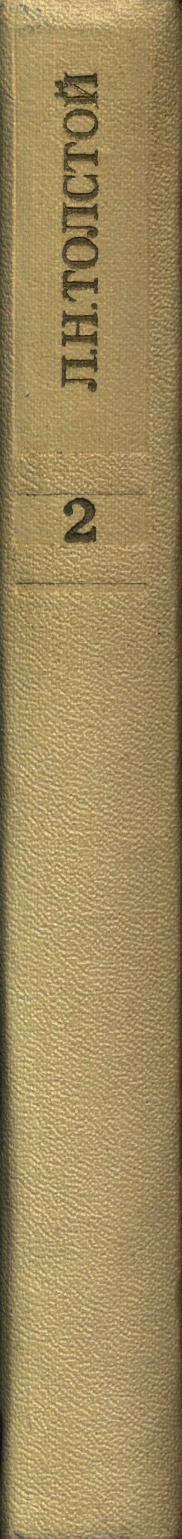
Корректоры
Р. Пунга и А. Юрьева

Сдано в набор 16/VIII-1972 г. Подписано к печати 7/XII-1972 г. Бумага типогр. № 1 84×108 1/32 — 12,5 печ. л. 21 усл. печ. л. 22,03 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ 437. Цена 1 руб.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78. Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Ленинград, Гатчинская ул., 26.

1 p.


Л.Н.ТОЛСТОЙ
2